

Иосиф Миги́ров

---

ИСЧЕРПАЮЩИЙ  
ЧЕЛОВЕК





Иосиф Мигиров

---

ИСЧЕРПАЮЩИЙ  
ЧЕЛОВЕК

Роман «Исчерпанный человек» — о судьбе уродца, родившегося в тюрьме, скитавшегося по детским домам, приютам и в итоге совершившего тяжкое преступление. Но природа наделила этого физического уродца нестандартным видением мира, благородной душой.

Роман «Век откровения» повествует о людях, которые сегодня сжигают книги, а потом и дома, где создаются книги. События, описываемые в романе, хотя он и появился на свет несколько лет назад, повторяются в нашей сегодняшней жизни: танки, въехавшие в город, обезумевшие от злобы толпы, взятие Дома Правительства, межнациональные конфликты...

Произведения написаны ярко, выразительно, затрагивают самые болевые точки нашей жизни.

Иосиф Мигиров — выпускник Литинститута, первый профессиональный литератор из горско-еврейской диаспоры Кабардино-Балкарии, член Союза писателей СССР, автор трех книг.

Книга выходит в авторской редакции.

М  $\frac{4702010200-007}{Т43(03)-95}$  Без объявл.

ISBN 5-88195-122-0

© Издательский центр «Эль-Фа», 1995



У одного из редакторов издательства «Эльбрус» был верный способ избавиться от сомнений относительно какой-либо рукописи: если он не знал наверняка издавать ее или «резать», он отдавал рукопись на закрытое рецензирование. Часто мне... Вот так однажды попали ко мне рассказы выпускника Литинститута Иосифа Мигирова. Я взялся за чтение с намерением исполнить свою неблагодарную миссию, но чем больше я вчитывался в рассказы Мигирова, тем больше убеждался в том, что на этот раз мне в руки попали вещи совершенно незаурядные.

Так я познакомился с этим интересным писателем, первым профессиональным литератором из немногочисленной горско-еврейской диаспоры, которая не одно столетие живет в Кабардино-Балкарии. Конечно же, определение первый уже предполагает уважительное отношение к человеку, ибо первому всегда труднее, да и быть первым почетнее. Но здесь тот случай, когда писатель заслуживает самого большого почтения независимо от этого.

И вот издательский центр «Эль-Фа» готовит к выпуску книгу Иосифа Мигирова «Исчерпанный человек», куда вошли романы «Век откровения» и «Исчерпанный человек».

Иосиф Мигиров обладает своеобразным художественным видением. Его манера письма оригинальна, но никак не ради самой оригинальности, а в силу особенности мировосприятия. Утверждают, что переломные периоды в жизни общества характеризуются мощными всплесками псевдоискусства во множестве разновидностей. Тем отраднее, что в наше время появляются новые авторы, верные вечным законам литературы как высокого искусства слова.

Герои Мигирова — люди того мира, на который если обращалось внимание наших писателей, то разве что в поисках закрученного детективного сюжета. Это те, кого принято с неприкрытым оттенком презрения именовать мещанами. Но писателя интересуют не криминальные истории и не пресловутая «соцреалистическая идейная эволюция, а душевные переживания, искания обычных людей».

Что не дает покоя Двухнику из романа «Век откровения» и почему преследуемый им и уничтожаемый Богдан счастливее его? Ответ на этот вопрос и простой, и в то же время невероятно сложный, ибо исчерпывающего ответа мы не найдем. Богдан, человек из среды тех, кого мы привыкли считать хапугами (он по профессии мясник — одно это чего стоит!), наделен от природы чистой душой. Мало того, он в этой суматошной жизни среди всех неизбежных в его кругу обманов и измен сумел сохранить свою благородную душу, неприязательность и чистоту. Иными словами, именно то, что давным-давно разменял тысячи раз человек по имени Двухник. И никогда победителю Двухнику уже не возвыситься духом до побежденного им и уничтоженного, но при этом оставшегося со своей цельной душевной красотой.

Для героев Мигирова характерны духовные искания. Но они преподносятся не в виде псевдоглубокомысленных философских истин. Суждения о жизни, о ее сути, о человеке рождаются исподволь, они соседствуют с обычными житейскими пересудами, чем достигается их неподдельная жизненная глубина.

При этом важно отметить, что до отдельных, но жизненно важных обобщений поднимаются (если так можно сказать) и те, к кому

автор стремится пробудить наши симпатии, и те, кому в этих симпатиях должно быть отказано. Встречаются и вступают в контакт не просто люди, а мировоззрения, целые миры. Не всегда они имеют выраженный знак «плюс» или «минус». Нередко человек считает себя, свой образ жизни, свое собственное понимание правильными, и это уравнивает его отношения с миром. Другой все же подсознательно понимает собственную несправедливость, тяготится этим, но не может ничего поделать со своей природой. Это пробуждает в нем злобу, неприятие. Его одолевает желание видеть в душах других то же отношение, что и в нем самом. Сталкиваются разные миры, и, если они оказываются чуждыми друг другу, злобе становится тесно рядом с добром. Зло обезумевает от ненависти к чистоте души. Но драма заключается в том, что расправа с добром не приносит успокоения... Как не приносит озлобления в душу доброго человека.

Говоря об этом романе, не могу скрыть того, что читая рукопись, с каждой страницей я все больше удивлялся тому, как автор угадал наш сегодняшний день: и танки, въехавшие в город, и обезумевшие от злобы толпы, взятие Дома Правительства, и национальная рознь, которой пропитано наше время — все это автор как бы предвидел и предупреждал. А ведь роман написан пять лет назад. Я бы его так и назвал: роман-предупреждение, роман-мольба.

К сожалению, после многих блужданий по московским издательствам роман так и не был опубликован в столице. Отказ мотивировали одним и тем же: «...таких событий в нашей стране произойти не может».

К сожалению, произошли. Не будем наивными, но все же зададимся вопросом: может быть, и жизнь наша была иной, если бы разного уровня власти имущие прислушивались к голосам художников.

Правда, нужно сделать оговорку, роман был одобрен главным редактором журнала «Дружба народов» С. Баруздиным. И, видимо, только смерть его помешала публикации: поменялась команда редакции, и рукопись вновь оказалась «за бортом».

У книг тоже свои судьбы... Но, впрочем, роман «Век откровения» актуален и сегодня.

Роман «Исчерпанный человек» философичен с самого названия. Но, кажется, мудрые рассуждения о жизни, о сути бытия, о месте человека в этом огромном и нередко страшном мире, об извечной борьбе добра и зла в этом романе еще теснее переплетаются с обыденной жизнью заурадных, обычных людей. Людей, которые не блещут яркостью своего дарования, не определяют хода истории, не хватают с неба звезд, но в то же время составляют основу той громадной живой и хаотично мыслящей массы, которую именуют человечеством.

Главный герой Иче (сокращенное от сочетания «исчерпанный человек») личность и незаурядная, и во многом противоречивая. Природа создала его уродцем, но, как бы спохватившись, одарила практическим умом и благородной душой. Маленький, презираемый бездушными преуспевающими людьми, рожденный в тюрьме от неизвестных родителей и выросший в сиротских домах, он живет в своем мире со своими собственными измерениями. Там действуют не те или не совсем те обычные нормы поведения, которые внедряются в наше сознание официальными государственными органами.

У Иче свой собственный кодекс чести, свои представления и об уголовном кодексе. Тяжелая жизнь научила его своим нормам и правилам, и они, оказываются, бывают подчас нравственнее, чем те, по которым официально живет (или считается, что живет) наше общество.



Видимо, дело в том, что всякие общепринятые, а тем более постулированные кем-то свыше нормы не в состоянии быть универсально справедливыми для всех людей и во всех случаях. Более того, гребя всех под «одну гребенку», они коверкают жизни многих тех, кто не подпадает под стандарт, как древнегреческий Прокруст обрубал одних и разрывал связки, пытаясь вытянуть до избранных им размеров, у других. Иче преступает каноны этого прокрустова ложа, он даже совершает тяжкое преступление. Но когда он, находясь в лагере, создает спектакль по мотивам пережитого, совсем не случайно, даже выдавшие виды ээки чистосердечно рукоплещут ему, притом с особым усердием в сцене суда, когда герой произносит последнее слово.

У некоторых эта сцена даже вышибает слезу. Но это не та сентиментальная слеза, на которую, как говорят, не скупы даже закоренелые преступники. Это переживание за собственные искореженные судьбы. Может быть, всего один эпизод может показаться чуть-чуть натянутым: когда беглый преступник Виталий пристреливает своего «кореша» Ноздю вместо того, чтобы с общего согласия позволить тому прикончить Иче. Но и здесь нельзя отказать автору в том, что данная ситуация глубоко мотивирована: в человеке в последний момент все-таки побеждает добро. Возможно поэтому автор, передавая ощущения своего героя, возвращающегося в лагерь, откуда он ранее бежал и где его несомненно ожидают неприятности, говорит, что Иче ощущал себя счастливым. Хотя в этом ощущается некоторая горькая ирония.

Если сказать, что все описанное в романе является художественным отражением действительности, означает и жизнь обеднить, и роман толковать односторонне. Но все же есть в сюжете «Исчерпанного человека», в сложных переплетениях судеб, казалось бы, сюрреалистических эпизодах со всем вместе нагое, что невольно вызывает ассоциации с нашим неустроенным, подчас до ээковски нецивилизованным житьем-бытьем.

Отвечая на вопрос, верит ли он в Бога, Иче говорит, что Бог был, но он умер, как зерно в земле, чтобы из него пророс наш мир. Бог умер, но память о Боге и есть Бог. Видимо, частица этого Бога вместе с природой вселяется и в таких, как сам Иче. «Бог умер, но память о Боге и есть Бог». Признаюсь, меня поразила эта мысль. Ведь это новый философский портрет нашего времени. Здесь мы, как на ладони, и отсюда наша Свобода или Несвобода. Роман, вообщем-то, об этом и написан (вспомним, что главный герой Иче рожден в тюрьме). Но вопрос Свободы здесь дан через «самый главный философский вопрос»: «стоит ли жизнь, чтоб прожить ее, или не стоит», который, в свою очередь, подан и освещен по-новому и неожиданно.

Впрочем, читатель, если он не будет просто пробегать по острому сюжету (а он держит в напряжении до последней страницы), будет иметь возможность и получить подлинное удовольствие от искусства, с которым написан роман, и, совершенно не напрягая зря свой разум, поразмыслить о многом, что, быть может, когда-то и самого тревожило, но до сих пор не оформилось в проблему. И что не менее важно, оба романа написаны таким образным языком, что уже от него читатель получит истинное наслаждение.

И еще. Много талантливых имен дал еврейский народ. Верим, что в этом красивом ряду Иосиф Мигиров займет свое достойное место.

**Адам Гутов,**  
доктор филологических наук

# ИСЧЕРПАНЫЙ ЧЕЛОВЕК

---

Роман

*Дорогой Нине посвящаю*

*Часть первая*

О Б Р У Б Ы Ш

1

Распалось лето. Огромной медузой растеклось небо и холодной плотью гасит осеннее солнце. Ослабшее, оно уже доступно взгляду, его чуть дымящий диск, отчужденно свернувшись, кажется отрешенным от жизни, людей и зверья.

Распалось единство мира. Все одиноко, чуждо друг другу, словно в заброшенной комнате наспех разбросаны случайные предметы. И вся комната медленно ходит из стороны в сторону, как подвешенный на ветру старый стеклянный фонарь.

Монотонный и протяжный звук плывет по комнате, со временем слабеет, но возникая вновь, тянется отчетливо и тоскливо...

В эти дни разъединенной природы ты вдруг с большей печалью осознаешь, что ведь было Единство, но вот распалось, и упущена в нем неповторимость твоей жизни.

И в эти же прощальные дни с пробужденным сердцем, как никогда, с болью ты понимаешь, что, может, не так любил и не был любим, не то искал и легко отрекался от истинного.

Расплата.

2

Книга не шла. Мужичок в шутовском колпаке, читая написанное, усмехался: «Да-а, ...прощальные... разъединенной... Какой ход!»



Он нервничал, настигал во всех углах, я убежал от него и походил на дворнягу, заброшенную в лабиринт.

Выход напрашивался сам собой — пил я несколько дней.

Но жди у моря погоды.

Очевидным становилось другое: или, закрывшись на кухне, пустить газ, или же вылезать из «штопора».

Но на небесах книги писать незачем, и я стал добросовестно «завязывать», с тоской поглядывая в сторону своего стола.

Когда «штопора» как будто и не было и снова (как после всяческих «штопоров») очень жадно хотелось жить, в одну из ночей я проснулся от мгновенного сна: из мрака выплыло красивое благородное лицо старца. Седобородый, с пышной шевелюрой старик улыбнулся мне, но в ту же секунду растворился в темноте...

С разинутыми глазами я долго разгадывал его улыбку, старательно смыкал веки, надеясь, что старец все же вернется и раскроет цель своего неожиданного визита.

Но седобородый, видно, не имел возможности на два посещения подряд, да и потом, наверное, многовато, чтоб такие лица тебе и улыбались, и тут же растолковывали свою улыбку.

«Это к добру», — напросилось ночное заключение, на душе стало хорошо несмотря на то, что в этом мире все равно все к добру.

На следующий день, покружив над своим столом, я двинулся в путь. Разумеется, я шел развеяться от всяких мыслей, хотя человек с бубенцами еще со вчерашнего дня наверняка знал: я иду в кафе.

Я сидел за стаканом «белой», глазел то в окно, то на нетронутый стакан, гордясь, что у меня имеется вот такая неизбывная сила воли и я уже несколько минут спокойно смотрю на водку.

Вполне убедившись, что я сильный мужик, я позволил себе за это выпить. Подняв стакан, я увидел Его.

Он сидел за соседним столом. Большеголовый, с коротким, словно обрубленным телом, и такими же короткими ногами, которые как-то детски свисали со стула не доставая до пола.

Это не был карлик, а из тех типов, рожденных обыкновенными людьми, но получивших в наследство болезнь роста. Их не очень много, и если они в чем-то похожи, то большими, чуть одутловатыми головами, коротким туловищем и кривыми ногами.

Он еле заметно усмехнулся, пригласил за свой стол:

— Не узнал?

— Узнал.

— Тему дать? — неожиданно спросил он.

— Да нет,— поблагодарил я. — Если б на этой земле ничего не имелось, если б она была голая, как лысый череп, но на ней росло одно единственное дерево, а под деревом сидел человек, и этого хватило б, чтоб накатать мильон комедий.

— А без человека?

— Какая ж комедия без человека.

— Шут,— усмехнулся он. — Кто игры не принимает, а не играть не может, тот шут.

### 3

Мы вышли из кафе.

— А ведь мы очень похожи,— рассмеялся он.

— Разумеется.

— Брезгуешь быть на меня похожим? Наверняка, не очень приятно топтать рядом с таким обрубышем,— он спокойно произнес «обрубышем».

— Я не брезгливый. — Я посмотрел на него сверху.

— Брезгуешь. Но, может быть, и я бы брезговал. А ты потерпи. Мы ведь с тобой, можно сказать, братья по крови. — Он снова рассмеялся.

— А почему бы и нет,— в тон ему подбросил я.

— Можно бы и познакомиться. Честь имею — Иче. — Неуклюже переваливаясь с ноги на ногу, словно цирковой медведь на коротких задних лапах, он подошел к черному под свой рост манекену и навесил на его тряпичную шею табличку: «Иче. Исчерпанный человек».

— А что, книжку-то ведь так можно и назвать,— словно за меня подписался обрубыш и дальше нараспев проговорил: — В заброшенной комнате наспех разбросаны случайные предметы... «Места заключения» — вот как это называется. — Он облокотился о точно скопированный с него манекен.

— Исчерпанный человек в местах заключения,— он приятельски подбросил мне еще один вариант и усмехнулся: — Как заключение — так в заключение!... Запиши! — Весело похлопал по черному тряпичному животу манекена и потом вдруг толкнул его. Тот, качнувшись на коротких ногах, завалился на землю. Иче устроился на его бедре, опустил глаза.

В мир вползла гнойная тишина.

Но вдруг стук по стеклу. Мы оглянулись. В узком зарешеченном окне стояло обросшее щетиной лицо: парень лет тридцати с воспаленными глазами смотрел из-за решеток, и комната за его спиной казалась черной пастью огромного хищника.

Парень старался протиснуть голову меж железных прутьев, тарабанил по стеклу и тыкал пальцем в окно.

Мы подошли.

— Дайте мне стеклышко,— глухо проникал на улицу его голос.— Дайте стеклышко, побриться бы надо.— Рука за решеткой прошла по заросшей щеке.

Иче в упор посмотрел на меня, словно приставил к стенке.

Из-за здания выкатила вереница женщин, одетых в полурасстегнутые синие халаты. Впереди топала мужеподобная упитанная баба в белом.

Каждая из женщин несла синее ведро с надписью из белых корявых букв: «Пал. № 3».

Шедшая в середине, глянув на Иче, гордо ткнула себя в увесистую грудь:

— Я любовница президента! — И лихо повторила: — Президент мой любовник!

Замыкала эту синюю растрепанную вереницу тонкая женщина с ярко накрашенными губами; с проседью в жидких волосах.

Проходя под окном, где небритый парень все еще просил стеклышко, неожиданно пошла на Иче.

Громко скрипело, покачивалось вдоль ее тонкой ноги облупленное синее ведро.

Она стала близко, в полушаге от сидевшего на манекене обрубыша, с многозначительной улыбкой оглядела шутовской колпак на его голове, взглянула на меня. Пристальные проникающие глаза.

И снова взгляд — выстрел на Иче.

— Федоровна! — басом окликнула ее женщина в белом. — «Федоровна!» — мол, шагом марш сюда.

Яркие губы Федоровны по-прежнему расплывались в многозначительной улыбке. Она вдруг сняла с головы Иче колпак и заботливо надела на меня. Подправила. Возилась, словно девочка с куклой.

Обрубыш расхохотался.

— Дьявол! — Федоровна отмахнулась от него, как от прокаженного, и заспешила вслед за своими.

— Стеклышко подайте,— доносилось из зарешеченного окна.

Я стоял, словно застопоренный, боясь шевельнуть головой: при малейшем движении на моем колпаке предательски позванивали колокольцы.

Я стащил его.

— Что, не нравится? — хмыкнул обрубыш.

— Не очень.

— Шут — промежуточное состояние каждой души, — расставил Иче, — правда, для некоторых постоянное.

— Ты сожрешь себя. Себя и сам!

— Что-то ж должно и мне перепасть... — усмехнулся он, но через мгновенье похолодел лицом. — Человек и смеется потому, что в горле у него стоит плач...

#### 4

Шальная ночь, как одинокая богачка, осыпав себя звездами, раскинулась над миром.

Людской муравейник стихал.

Последние звуки, вспорхнув, гасли над ним, словно птицы в чуткой и темной ловушке.

Лишь на трассе, обегавшей притихшие дома, надрывно ревя и надвигаясь быстрыми фарами, изредка проносились запоздалые автомашины.

Неожиданно появлялись и скоро таяли в ночной мгле.

Далеко за полночь на трассе появилась одинокая фигура. Переваливаясь с ноги на ногу, как цирковой медведь на коротких задних лапах, свернув к обочине, замерла.

Иче вернулся.

С минуту он вглядывался в ночную темень. Узнавая притихшие дома, смотрел на них, как хозяин на свой старый, поневоле покинутый двор.

Иче устало опустился на бордюр, от большой головы и короткого туловища на тускло освещенной дороге вытянулась причудливая тень.

Он сидел ссутулившись, опустив глаза к земле.

Сколько дней и ночей он не был здесь? Даже если посчитать годами, наскребется немало.

А было словно вчера.

...Иче поставил на кон последние деньги. Старый картежник, которого называли только по кличке Джон, поднял ставку. Иче оставалось или сбросить карты, или вскрыть. Он вскрыл.

Джон увидел его двух валетов, джокера и, нарочито вздохнув, выложил трех королей.

Иче с минуту сидел свесивши голову, глянул в упор, расставил:

— Мы еще сыграем!

Прозвучало, как клятва: все равно сломаю тебя...

...Тогда ему только-только набежало семнадцать. Сколько же времени пролетело! И где сейчас Джон? Жив ли? Или играет уже в «ином» казино?

«Мы еще сыграем»...

Иче вернулся, наверное, чтоб сыграть.. Но это уже пошла другая партия, с другими ставками, картами, банками.

...Как, интересно, старик? А гениальный актер? Как они все?

Обрубыш поднял с земли два маленьких камня, по-жонглировал ими одной рукой.

Вспомнился один из советов актера: «Хороший игрок — непредсказуемый игрок». Если Иче и сможет сейчас усечь какого-нибудь карточного маэстро, то во многом он обязан актеру...

Обрубыш выбросил камни, поднялся. Сойдя с трассы, исчез у первых крайних домов.

Исходив несколько улиц, словно испив разлуку, он направился к своему давнему прибежищу — дому Ильи. Иче знал, что калитку старик никогда не запирает, а дверь дома открывалась просто: нужно оттянуть ее, просунуть ладонь в щелку и подбить крючок. Когда-то Иче этим пользовался не раз. Но осталось ли все по-прежнему? А, может, старик поставил себе новый дом? Тем лучше: будет где поселиться; хотя и раньше в маленьком домике Ильи для него всегда находилось место.

Впервые у старика Иче появился после своего очередного побега из специнтерната для детей-инвалидов. Интернат больше походил на колонию: детей били, сажали в изобретенные здесь одиночки, травили препаратами.

Маленькая тюрьма для брошенных детей.

«Нетрудоспособные» — значились они в официальных бумагах, хотя многие из них ничем не болели. Это были бесхозные, никому не нужные существа, от которых если и можно было как-то отмахнуться или сделать вид, что их не существует, то только упрятав в такие спецзаведения.

Что же до диагноза, то кому только нельзя в этом мире навесить ярлык. Только бы приказали.

В этот интернат Иче попал из другого — Дома ребенка: своеобразной первой ступени в жизни маленьких существ, брошенных родителями.

В Доме ребенка держали до определенного возраста, а потом шла сортировка: кого в специнтернат, а кого сразу в Дом инвалидов. Для нормальных детей это было началом страшного лабиринта, откуда редко кто мог выкарабкаться.

Иче несколько раз бежал, но вычислить его не составляло больших трудностей, и он снова оказывался за высокими заборами с колючей проволокой.

В четвертый раз он и встретил старика.

...Бежав из интерната, Иче набрел на толпу людей с сумками, мешками, инструментами. Они беспорядочно выстраивались вдоль дороги и, как только подъезжала какая-нибудь машина, толпой накидывались на нее.

Потом Иче узнал, что это столпотворение называлось «биржей труда».

Старик подошел туда пешком. Он долго наблюдал со стороны за курящим мешочным людом, словно кого-то выискивал. Когда он подошел ближе и сказал, что ему нужно, его обступили со всех сторон.

Иче с тоской смотрел на уплывающую работу, а значит, и деньги.

Но тогда ему было шестнадцать, он числился в беглых преступниках, и у него не было ни жилища, ни куска хлеба.

Самый низкий в толпе, но с сильными руками и плечами, он протиснулся сквозь гомонящее кольцо, схватил старика за руку. Тот удивленно глянул сверху.

— У меня нет денег и нет еды,— Иче всегда помнил, как, произнося эту фразу, он давил, сглатывал слезы, как собственную блевотину.

Толпа, не ожидавшая такого от забавного обрубыша, с любопытством замерла.

— У меня сильные руки! — Он сжал запястье старика.

— А ведь сомнет, как яйцо! — улыбаясь, Илья помассировал кисть. — Бросать землю сможешь?

— Я все смогу! — отрубил Иче.

Старик снова с улыбкой осмотрел его и хлопнул по плечу:

— Ну, пошли, «все смогу».

## 5

Не давала покоя ночь, ворочала с боку на бок, точно крутая река тяжелый камень. Тревожило сердце. С чего эти боли? Илья был крепок: строитель, трудов не боялся и, если надо было, подрабатывал на земле: кому под фундамент траншеи выроет, кому колодец. И многолетняя связь с землей сработала его крепким и сильным, как виноградную лозу.

Жил он в саманном домике. Две комнаты и коридор шаг на два выходили друг в дружку, и весь дом казался



потрепанным игрушечным вагончиком. Думал Илья поднять новые стены, но погибла жена, сбита́я автомашиной, и что-то сдавило, пригнуло душу. А потом, когда выжгло боль и даже вспоминалось о жене с улыбкой, дни пошли какой-то забытой тропой, и раз за разом откладывалась стройка до неизвестного «придетвремени»: с весны на весну, точно в ожидании чего-то неизбежного, что обязательно придет и разом изменит судьбу дома и старика. Потом, когда сын повзрослел, пришло решение начать стройку с ним. Пусть положит и свой труд: когда строишь своими руками — дом роднее. Теперь сын был в армии, и до конца службы оставалось чуть больше полугода.

Из родных у Ильи кроме сына были еще две сестры старше него. Но те жили каждая для себя, старика не признавали, особенно в последнее время, когда стали жить побогаче.

Так и разматывались стариковские дни. Впрочем, стариком он не был — все пятьдесят три, и до старости еще нужно было дожить. Но то ли от неухоженной жизни и одиночества, то ли совершенно седой головы и рассеченного морщинами лица, а наверное, от всего вместе Илья был записан в этот возраст.

Одиночество научило его разговорам вслух и сосредоточенной думе. И когда попадалась мысль, то подступал он к ней вплотную, добирался до неотвечного, точно копая колодец, штык за штыком погружался в землю...

...Не спалось старику. Хотя прошел и этот сердечный приступ, не уходили мысли. О многом думалось в эту ночь: о доме, сыне, о накопленных за долгие годы деньгах, о работе. На днях предложили вырыть колодец. И он согласился. А эти сердечные боли... Пройдут. Заживет как на собаке.

## 6

Иче стал под фонарем на знакомом перекрестке.

Тишина.

Ничего здесь не изменилось... Через несколько дворов дом Ильи.

Гулко ударило сердце.

Протащив по лицу рукой, словно пытаюсь стереть непослушную улыбку, он двинул по ночной улице.

Двор старика он узнал не сразу: Илья выложил новый кирпичный забор.

Иче попробовал засов калитки. Прогредев на всю улицу, засов поддался, и Обрубыш вошел во двор.

Все тот же приземистый домик с лампочкой над маленьким крылечком ютился под черными небесами, как прикорнувший старый заяц.

На дверях замка не было. С улыбкой, как много лет назад, Иче оттянул ее, просунул в щелку ладонь и подбил крючок.

Запах стариковского жилья ударил в ноздри, шемяще напомнив о прошедшей юности.

Иче всмотрелся в полумрак, прошел в комнату, склонился над постелью: Илья спал.

Первым желанием было растормошить старика, обнять, говорить ему какие-то добрые слова, но, глянув на дверь во вторую комнату, поразмыслив, Иче вышел из домика, постучал в окно:

— Илья!

Позвал громче.

— Кто? — донесся из темноты окна хриплый голос.

— Свои,— Иче с улыбкой глянул в землю.

В доме послышались тяжелые шлепки шагов, к темному окну прильнуло сонное заросшее лицо. Замерло. И от удивления вдавилось в стекло. В расширившихся зрачках отразилась головастая низкорослая фигура, вырезанная из ночи светом лампочки. Словно вылупилась из мрака.

Неверящие глаза старика вдруг ожили, в следующую секунду черная рама окна опустела, будто в мгновение вынули портрет.

В доме что-то загрохотав ударились об пол, вспыхнул свет, распахнулась наружная дверь, и на пороге стала сухощавая, но еще крепкая фигура старика. Он был без майки, в штанах и босиком.

Лампочка над крыльцом подзолотила его медную литую грудь.

— Иче-е? — все еще не веря в эту неожиданную встречу Илья замер на ступеньках.

— «У меня нет денег и нет еды»,— с лукавинкой смотрел обрубаш.

В ту же секунду в ночи покатыл их безмятежный громкий смех.

Поднялся беспорядочный лай всегда готовых к бреху собак.

Старик, пригнувшись, обнимал крепкого коротышку, которого не видел Бог знает сколько лет.

— Вспомнил, Илья? — припав к старику, глухо говорил Иче. — «У меня нет денег и нет еды». Вспомнил?

— «У меня сильные руки»,— подбросил старик, и они снова счастливо рассмеялись.

Лай собак рассыпался по всей округе, но обрубыш и возвышавшийся над ним Илья уже входили в дом.

Первым делом, когда они вошли в комнату, старик, окинув ее взглядом, улыбнулся:

— Узнаешь этот курятник? — и словно оправдался. — Ниче-его, ему уже немного осталось. Скоро приедет сын, он у меня ведь солдат... Помнишь Ромку моего?

— Конечно... Плаксунишка был такой...

— О-о! Он теперь жених! Что надо! Вот как только приедет — новый дом поставлю. Хороший дом... А пока мне и этой скорлупенки хватит... Нам хватит, — с улыбкой поправил себя Илья.

— Спасибо, — понял его Иче.

В комнату вломилась тишина.

Став напротив обрубыша, старик положил на его плечи спокойные руки и снова, будто в первый раз, осмотрев, одобряюще пробасил:

— Заматерел мужик! Заматерел!

— Ну... — Иче развел руками, мол, куда денешься — жизнь.

— Давай проходи. И вообще, это твой дом. Всегда твой, — старик поднял опрокинутый стул, поставил возле окна у небольшого квадратного столика. — Садись, я сейчас...

Илья засуетился, замелькала, наполнив комнату, его крепкая фигура, откуда-то вынырнула бутылка водки, зашипела на кухне сковорода.

Они сидели в маленькой комнате друг против друга возле ночного окошка, пили за встречу, за старые добрые времена, за то, чтобы, наконец, в их жизни все стало на свои места.

— А чем жил? — Закурив, старик пустил к потолку клубы дыма.

Иче задумался, вытащил из кармана брюк почти новенькую колоду карт, проделал несколько пасов. Грубые пальцы вдруг стали неожиданно быстрыми, казалось, это не руки, а какой-то компьютер ловко, веером рассыпал легкие картинки и невидимым движением собирал вновь. Одну карту, восхитив старика, Иче вытянул у него из-за пазухи.

Старик заворожено смотрел за этим импровизированным представлением.

Иче сбросил на стол колоду.

— Вот так, Илья... Делал, что придется. И это тоже... Тот внимательно посмотрел на него.

— Я почти все деньги в Дом ребенка посылал,— словно за что-то оправдался обрубьш. — Родные пенаты ведь.... Кстати... Нужно поехать и узнать... Денег немало было... А вообще, и землю приходилось бросать. Вспоминал тебя.

Старик польщенно покивал.

— Работенка какая-нибудь есть? — вдруг спросил Иче.

— Есть. Колодец надо вытянуть.

— Напарник тоже есть?

— Есть,— лукаво глянул старик.

— Я? — тоже с хитрецей глянул Иче.

— Ну, а кто же!

Иче тепло сжал покоившуюся на краю стола большую руку Ильи.

— Надо поднакопить денегат... Хочу бросить здесь якорь. Хорош... По свету я нагулялся... Куплю дом... Знаешь, Илья, мечта у меня... Хочу кого-нибудь оттуда к себе забрать. Воспитаю может.... Какого-нибудь пацаненка... — он смолк и словно с трудом выговорил:

— Усыновлю... Как ты меня,— и уже бодро раскинул: — Эх, и загуляет по миру твоя фамилия!

Илья кивнул, не сумев скрыть удовольствия:

— Бог воздаст тебе добром! — тепло пробасил он.

— Возда-а-аст! — задумался обрубьш, свесив большую, коротко стриженную голову.

Молчали.

— У тебя седина! — уважительно проговорил старик, уперся о стол локтями, утопив в ладонях заросшее лицо.

— А куда ей деваться!... Слышь, Илья, а... Джон... как?

— Да Бог его знает! Поигрывает, наверное. Он без карт, как вор без ночи... Будешь играть? — старик смотрел на ломтик хлеба.

— Я ему пообещал,— с иронией Иче вспомнил свое прощальное «мы еще поиграем» — А... актер? Как живет актер?

— Давно не видел. Да и знал-то я его через тебя. Один раз проигрался он сильно. Деньги приходил занимать. Я занял. А потом он повадился...

— И что, не отдавал?

— Отдавал... Ничего не скажу... отдавал. Как крупняк выиграет — отдаст. Но сам понимаешь... Надоело мне это... Короче, я ему сказал, чтоб б не приходил... Я не прав?

— Прав. Кто ж тебя обвинять станет. У тебя заботы... Дом... Сын... Одному такую тачку нелегко тянуть. — Иче повозил по столу ножом и неподдельно выдохнул. — Жалко мне его все-таки. Он меня многому научил,— Иче кив-

нул на карты. — Не раз его советы выручали. Я не хвастаюсь, Илья, но сейчас не каждый меня уест... Актеру спасибо. Подучил... — Обрубьш взял колоду, постучал пальцем по столу. — Театры свои, интересно, он не забросил? — в раздумье, словно у себя, спросил он и качнул головой. — Чего только не бывает с людьми в этой жизни... Известный человек... золотая башка, а вот видишь, на картах ломается... Болен игрой.

— Да, у каждого свое,— поддержал старик. — У кого карты, у кого водка — у всякого свое.

— Надо всех проведать. Деньжат поднакоплю, в Дом поеду. Потом в интернат... В свой... Помнишь?...

Молчаливо и понимающе кивнул старик, но вдруг ожил: — Ты соседа моего помнишь? Мальчонка был... — он кивнул в окно в сторону соседского двора. — Тогда ему лет одиннадцать было. Назар.

— Помню.

— Так у него и машина есть. Подвезет, если что... Я сам скажу,— порешил старик. — А он хороший парень. Свойский. И «бабки» хорошие делает.

— Помню я его. Маленький был, а хитрющий... Сейчас, наверное, уже и свои детишки завелись. Ведь почти десяток лет убежало...

— Да-а, время...

Они еще долго вспоминали, строили какие-то планы, начали вторую бутылку.

Незаметно приземистое окно стало светлеть. В лампочке, свисавшей с потолка, казалось, поубавили света.

Старик выключил ее, и они с Иче разошлись по койкам.

Может быть, впервые за все эти долгие годы Иче засыпал с мягкой улыбкой на больших, резко очерченных губах.

## 7

В окне уже всю разгулялось утро: в чутком воздухе разносилось щебетанье птиц, в форточку влетали уличные голоса, шум пронесившихся автомобилей.

Домик Ильи, обнажая скудную обстановку, налился светом. В двух комнатах стояло по железной кровати. В первой к низкому подоконнику жался стол с испещренной полинялой клеенкой, в углу на тумбочке маленьким экраном чернел допотопный телевизор. Во второй комнате стоял старый скрипучий шифоньер и зеленый, обитый железом сундук.

Старик проснулся. Первой же мыслью подумалось об Иче. Илья приподнялся на локте, глянул в дверь второй комнаты. Тихо. «Наверное, бродяжка еще спит».

С улыбкой старик снова вытянулся на заскрипевшей койке.

Обратив к низкому потолку заросшее недельной щетиной лицо, с минуту полежал и потом неспешно начал одеваться. Зачесалась борода. Старик поскреб жесткую седую щетину и проворчал:

— И бороду не брею... Давно так не обрастал.

Илья заглянул в комнату Иче. Никого. Кровать стояла заправленной.

Старик распахнул дверь. Утро освежило мускулистую грудь, крепкие плечи и бицепсы. Он посмотрел в голубое небо и одобрительно проговорил:

— Хороший будет день.

Гремя чайником, Илья направился к крану набрать воды и перед домиком увидел Иче: сидя на кирпичках, сдвинув колени, он грелся на солнце.

— Путешественникам привет! — козырнул Илья.

— Привет, привет. — От солнечного тепла Иче блаженно жмурил глаза. Как кот на крыше.

— Сейчас чайку поставим. — Старик склонился над водопроводным краном.

Завтракали под разлапистым ореховым деревом. На столе ароматно дымились два стакана чая, на тарелке лежали ломтики хлеба и сыра.

Блики пробившегося сквозь листву солнца золотили бронзовый цвет чая, празднично играли на белых округлых боках чайника. Старик невольно залюбовался, потом расправил плечи и сладко выдохнул:

— Теплота!... День-то какой — жить да радоваться! А знаешь, Иче, в такие дни кажется, что ты будешь жить всегда, что ты бессмертен... У тебя бывает такое?

— А никто и не верит в свою смерть, — отсутствующе произнес Иче.

Над столом звонко зависла неожиданная пчела, покружив над сахарницей, резко ушла на старика. Тот настороженно замер. Переметнувшись за спину Ильи, пчела в секунду растворилась в солнечном свете.

— Бессмертия хочешь? — Иче, задумавшись, ссутулился на лавке.

— А кто ж его не хочет?

— Я не хочу. — Обрубьш качнул короткими, не достигающими до земли ногами.



— Бессмертие страшнее смерти... Человек не потянет его. Бессмертие — это вечная пытка вопросами. А что может быть страшнее вопроса? Вопрос — это вампир... Человеку не выдержать бессмертия. Это будет не земля, а сумасшедший дом. И не просто, а бешеный сумасшедший дом. Лучше смерть, чем сумасшествие. — Иче хлебнул из стакана.

Старик, молчаливо приглядываясь к нему, закурил.

— А если я буду знать,— глядя на Илью, продолжил он,— что бессмертие сладкая штука, то я его не хочу вдвойне. Потому что я не хочу, чтоб всякая сволочь жила всегда. Я не хочу, чтоб те воспитатели в интернате, которые издевались надо мной, над другими больными детьми, которые травили нас лекарствами, вечно наслаждались жизнью. Их нужно казнить, а не бессмертие давать. — Иче посмотрел куда-то поверх соседского дома:

— Человек не создан для бессмертия.

— Но ведь есть и хороший люд...

— Хорошие люди как раз и не выдержат бессмертия. Они заболеют. Это сволочи, может быть, и надо его. Сволочи все равно: есть ли на земле страдания, нет ли их, есть ли какие-то тяжелые вопросы, нет, мрази нужно только одно: набивать требуху и сношаться. А страдания других им даже, как паутина для паука — добычу ловить. — Иче помолчал, но вдруг улыбнулся. — Но вместо Творца тебя б я бессмертным сделал.

— Если и есть один хороший человек, то и он пусть свихнется? — Илья хитро сщурил глаза.

— Вот-вот! — И они оба рассмеялись.

## 8

В длинной спальне три больших окна. Сквозь прозрачные занавески втекал желтый лунный свет, высвечивая в полумраке два ряда коек.

Изредка какой-нибудь блик срывался на белый холмик кровати, словно прощупывал: спят здесь или нет.

В каждом ряду по пять спаренных коек. Десять девочек на одной стороне и десять — на другой.

Больше похоже на казарму.

Сон в ней не спокоен: временами то в одном конце, то в другом возникает жалкий стон, невнятное бормотанье слетает с белых подушек, болезненный крик. Лунная тишина, как дворняга, вскидывает настороженную голову.

За полночь сон становится вязче.

Оксана не знала времени, но по сну в спальне чувствовала, что сейчас уже можно было подняться.

Лишь бы бесшумно прошмыгнуть мимо Катьки.

Ее кровать стояла отдельно у стены, недалеко от двери, как контрольный пункт.

Восемнадцатилетняя Катька, жилистая, как мужик, и злая, точно интернатовская шавка Зоська, держала себя атаманшей. Девушки боялись ее мужских кулаков, корявых пальцев, которыми она запросто, как рогатиной, могла ткнуть кому-нибудь в глаза, или, вцепившись в волосы очередной жертвы, влепить ее головой о стенку.

Катька имела арсенал своих казней, безропотных палачей и осведомителей, в основном, из больных и слабых.

Воспитатели об этом знали и, наверное, поэтому не списывали ее в Дом инвалидов для устрашения и поддержания порядка среди девушек.

Оксана подняла голову, прислушалась к дыханию соседки.

Спит.

Достав из-под подушки ученическую тетрадь, села на кровати. Сунув под короткую ночную рубашку, пристроила за резинкой трусов...

Босиком, вполуслепую, на цыпочках пошла по длинному проходу.

Самое страшное — дверь возле койки атаманши: если Катька проснется от ее скрипа, все планы сорвутся.

Но все обошлось. Оксана выскользнула в тусклый освещенный одним фонарем коридор, легкими босыми ножками пошла по желтому холодному кафелю.

У двери в девичий туалет еще раз оглянулась: в коридоре ни души, тихо и на лестнице, сбегавшей на первый этаж.

В туалете было темно. Оксана нащупала выключатель. Под самым потолком засветилась тусклая лампочка.

Оксана закрылась в кабине. Сев на деревянную крышку унитаза и стянув на овальные коленки короткую рубашку, пристроила на них тетрадь.

Склонилась над ней. Рассыпавшийся короткий волос шелковистыми прядями стекал по щекам касаясь уголков слегка влажных медовых губ.

Она еле слышно и забавно шевелила ими, вскидывая к потолку убегающие глаза, что-то торопливо записывала.

Оксана сочиняла письмо «председателю ООН».

Она писала о своих пятнадцати горемычных годах, о том, что больше всего на свете ей хотелось бы выйти на волю и увидеть маму.

Но и то и другое было невозможно: чтобы оказаться на свободе, ей нужны были документы, которые ей никто и никогда не даст. Убежать тоже нельзя: во-первых, куда без документов, а во-вторых, если поймают, то засекут до смерти. И потом сдадут в Дом инвалидов.

Имелась еще и другая возможность: выскочить за кого-нибудь замуж. Но кто таких, как она (если они даже не больны и сто раз красивы), возьмет в невесты? Кому охота брать жену из такого заведения?

По второй причине она тоже не могла выйти отсюда. Мама у нее умерла при родах, как и у многих девочек из этого интерната.

Оксана просила «председателя ООН» помочь ей и напрочь забыла, что окно туалета было освещено уже много времени и что это мог заметить ночной сторож из своей дежурки.

Сторож, пятидесятилетний хромой пьянчужка, и заметил этот долго горевший свет.

С любопытством он поднялся на второй этаж, войдя в туалет, стал подле закрытой двери кабины. Потянул.

Оксана пугливо сунула тетрадь под рубашку.

— Кто здесь? — Сторож дернул дверь.

Еще раз.

— Я. — Оксана боязливо притаилась у двери.

— Открой сейчас же!

Она дрожащими пальцами отодвинула задвижку.

Сторож рванул дверь.

В кабине перед закрытым унитазом пугливо поеживалась босая девушка с обнаженными стройными ногами.

Хромой облапал взглядом налитое девичье тело, холмики груди с проступающими под тонкой материей шишечками сосков.

С жадно загоревшимися глазами он, шумно сглотнув, шагнул на нее. Оксана отшатнулась, вжалась спиной в железную перегородку.

— Что это? — Хромой кивнул на выпиравший из-под рубашки уголок.

— Ничего. — Она обхватила руками живот.

— Покажи.

— Это так, — бумажки. — Она инстинктивно заслонила от сверкающих глаз ладонями.

— Да ты не бойся, — вдруг смягчившись, прохрипел хромой. — Покажи. — Лапающими ладонями он заскользил по ее ногам, вскинул рубашку.

Увидев заложенную за резинку трусов тетрадь, задрожавшими пальцами потянулся было к ней, но девочка, опе-

редив, вытащила ее сама, стянула книзу полы короткой ночной рубашки.

Сторож выхватил тетрадь из слабого кулачка, все еще трясущимися пальцами раскрыл ее.

— «Председателю ООН». — Вслух пробежавшись по строчкам, посмотрел на жавшуюся к перегородке испуганную голову. — Ишь ты куда замахнулась. В Америки пишем? На свою родину жалуемся?! А если я с этим посланцем да к директору?!

— Отдайте!

— Нет, моя ягодка! — он подразнил тетрадкой перед ее лицом. — К директору.

— А знаешь, — он вдруг вкрадчиво приблизился лицом, — я тебя, наверное, спасу. Не выдам. И тетрадку отдам. — Хромой провел ладонью по плечу. — И никакой директор не узнает. Ты только поддержи здесь. — Он торопливо расстегнул штаны. — Это ж не больно. Многие девочки здесь даже и целуют. Посмотри. — Он хотел было подвести ее ладонь к паху, но Оксана испуганно закричала.

Хромой придавил ей рот.

Оксана, оттолкнув его, вырвалась в коридор, плача побежала к спальне.

## 9

Родные места встречали Иче тепло, к вечеру он возвращался домой сытый, хмельной и с еще одной галочкой в своем списке испытанных радостей.

Не получилось только повидать актера. В карты он играть не приходил, а в дом к нему обрубыш никогда не хаживал: кто такой, он, обрубыш, чтобы гулять по домам знаменитостей, какими бы игроками или кутежниками они не слыли.

Но нет проблем. Тем более сейчас, когда нелепыми и невозможными казались все людские потери и горести: ведь он после долгой разлуки в родных местах.

И ничего здесь не изменилось: все те же улицы и переулки, те же привычки и обычаи, разве что поднялись новые высотные дома да появилось много незнакомой молодежи и новых старцев,

Прежним остался и этот угловой дом.

Подходя к нему, Иче невольно подобрался: из черного окна, наполовину задвинутого серой, видно, давно не стиранной шторой, смотрело женское болезненное лицо. Седые пряди, стекавшие с висков, неприятно змеились вдоль впалых щек. Глаза смотрели цепко, точно пытались что-то вызнать в прохожих.

Все, как много лет назад. Как будто Иче никуда и не уезжал. Прицельно бьющий взгляд точно сбрасывал в другой мир. И хотя это длилось всего несколько мгновений, невольно забывалось, что есть солнце, тепло, свет, радость. Лицо в окне было каким-то напоминанием: знай, что есть судьбы неисправимо несчастливые, что есть неизлечимая боль и нужно прийти к состраданию, знай, что этот мир не стоит и гроша и — мир богат.

10

...В огромном стремительном колодце неотвратимо приближались красные выпученные глаза огромного паука. Уверенно перебирая лапами, паук подтягивал к себе добычу — скрученного паутиной головастого человечка. Пытаясь разорвать ее, человечек напрягал руки, плечи, но, жестко опутанные, они были беспомощны, и тело неудержимо приближалось к выпученным глазам.

— Что милей всего? — Скрипучий голос требовал отгадки.

— Любовь! — отвечал человечек, рвал плечами, но выпученные глаза придвинулись ближе.

— Мать!

Но уже слышалось дыхание паука.

— Сын! — Но красные огромные глаза стали над головой.

— Жизнь! — крикнул человечек, паутина резко замерла, и оглушительный рваный хохот вырвался из неподвижной головы, разнесся по колодцу.

— Жизнь! — в холодном поту повторил человек.

Неподвижная голова все также выбрасывала леденящий смех, но паутина дрогнула, подобно сети стала распускаться ко дну колодца, человечек рванул плечом, высвободился...

...Комната качнулась в полумраке, всполошенный взгляд Матвея ударился о стену, скользнув по комнате, различил предметы.

«Сон! Это был сон!» Стало легко и спокойно. Старый сон, снившийся уже много раз. Но все ушло с ним: и тот паук, и душившая паутина, и мрак стремительного колодца. В душе поднялось счастливое осознание, что есть жизнь и ты живешь. Просто живешь. Но продолжалось это несколько мгновений: слабый свет, растекавшийся по лачуге старика, вдруг щемяще-остро напомнил, что есть этот развалившийся дом, есть кем-то придуманная уродливая людская жизнь и есть в ней он, Иче, бездомный уродец, для чего-то остающийся жить.

И теперь уже с усмешкой вспомнилось пробуждение, то счастливое состояние, словно спасся он от неминуемой гибели.

«Откуда в человеке такая любовь к жизни? — подумалось холодно. — Что в ней, в этой неизбежной тоске? Что заставляет дрожать за нее, как нищий дрожит за копейку? За копейку, которую он, может, выпросил на четвереньках? Откуда эта любовь? Неистребимая, жадная до отвращения?... И как испугался?... А потом какое было счастье, что это всего лишь сон... Паук... Знает свое дело...»

Невидящими глазами Иче смотрел в ночной потолок.

Сумрачная комната показалась какой-то ямой, над которой зависли гогочущие рожи. Они заглядывали на дно, где он жалко метался по углам, как пойманная зверушка в поисках выхода.

На зверушке был шутовской двурогий колпак с бубенцами.

Иче раздраженно переметнулся на бок, но тот зверек все еще кружил по дну ловушки. И жалко подрагивали на колпаке бубенцы-колокольцы.

Шут. Кто-то держал его за шута.

Свесив короткие ноги к полу, Иче сидел на койке, обхватив руками большую, как колокол, голову.

**Хохот над ямой разносился по всей подлунной.**

## 11

К человеку из светских кругов в таких компаниях отношение определенное: смотря по игре. Если тебе сопутствует удача, одно из двух тебе обеспечено: либо ненависть самих же картежников, либо уважение.

Но если ты нефартовый, то все твои гражданские титулы, как дровишки для поджарки твоих же двух пяток: от презрения тебе не откупиться...

Люди любят и жаждут падения другого. Для многих это утешение от собственного ничтожества.

Такие будут говорить о помощи упавшему, но оступившегося брата добьют, они же на всех углах могут распинаться: «Не завидуй!» — но успеха своему же близкому человеку не простят и могут дойти до откровенной мести.

Актер для игроков был, как безличная полинялая игрушка, на которую если и обращают внимание, то когда случайно споткнутся.

Он это понимал, но карты бросить не мог и из года в год мыкался по всем дворам и комнатам за своим картежным кланом. Их насчитывалось человек тридцать — по-



стоянных игроков — такой нелегальный клуб, «члены» которого изредка обновлялись: уходили старики, появлялись молодые.

Иче с первого дня возвращения негласно вошел в ветераны. И хотя играл не часто, занимал в этом братстве свое место.

## 12

На этот раз (прежнюю квартиру «накрыла» милиция) игра переместилась в дом семидесятилетнего старика Наума. Игроки для этого сняли зал и комнату со двора. В зале поставили стол. Вторая комната скрывала двух полуголых девиц: вдруг кому-то захочется и этого. Старик Наум, видно, знал, что хорошее дело тогда хорошее, когда прилично обставлено.

В субботние вечера обычно собирался «цвет»: ставки делались крупные.

Стол стоял под яркой люстрой с кольцом наблюдателей за спинами игроков. Когда открывалась дверь, несколько голов, как по команде, поворачивалось в ее сторону, и порой сыпались шутки.

Актера Иче узнал сразу. Тот стоял в стороне от замерших спин и несколько воровато пересчитывал купюры. Посчитав, приложил в раздумье палец к губе, долго о чем-то размышлял и затем снова стал перебирать банкноты.

Иче, с улыбкой глядя на старого знакомого, которого не видел столько лет, взялся за деньги, словно хотел их вырвать.

Замерла от неожиданности рука актера, он, вскинув глаза, застыл. Все еще держа на весу деньги, покачал головой:

— Господи! А поседел! Неужели ж это тот мой юный Иче?! — Он широко разбросал руками и, нагнувшись, нависнув над коротышкой, обнял его:

— Кто бы мог подумать! Сколько лет!

Головы вокруг стола обернулись.

Джон, сидевший за игрой с сигаретой в зубах, сощурив от дыма глаз, пробасил:

— Не виделись еще? — и снова ушел в свои три карты.

Актер держал Иче за плечи, с каким-то весельем смотрел на него. Они сели на диван возле двери во вторую комнату. Штора на ней приоткрылась, и высунулось пучеглазое лицо молоденькой девицы.

— Ах ты, мышка! — чмокнул воздух актер, шторка снова поехала на место, скрыв ярко покрашенные глаза,

губы, и сквозь колыхнувшуюся материю слышалось бойкое шушуканье.

...Иче с актером в игру вошли одновременно. Обрубыйш сел слева от Джона, откинулся на стуле. Мельком, но пристально глянули друг другу в глаза.

Играло шесть человек. Кольцо вокруг освещенного люстрой стола уплотнилось. К потолку поднимались седые лохмы дыма.

Актер, Джон и сидевший по его правую руку длиннолицый мужчина сделали по ходу.

Иче, упрятав карты в ладони, приоткрыл уголки каждой и сбросил.

Первый банк взял актер, с деланным равнодушием сгреб деньги, сложив их в аккуратную стопку. Придавил пачкой сигарет и зажигалкой.

Некая пирамидка.

Делая ход, актер приподнимал сигареты с зажигалкой, брал купюру и снова восстанавливал пирамиду.

Кто-то, проигравшись, встал. Его место тотчас заняли, игра не прерывалась.

Ставки росли.

Над игровым столом нависла чуткая тишина, лишь изредка прерывавшаяся женским хохотком из соседней комнаты да шагами старика Наума, подносявшего игрокам то чашку кофе, то чая.

Где-то к полуночи игравших осталось четверо: Иче, Джон, Актер и еще длиннолицый молодой мужчина.

Актер, бросивший игру, но решивший подождать Иче, занялся девицами: что-то декламировал под их смешки шутовским тоном. Потом одну из них за ненадобностью выставили, и она то валялась на диване, то бесцельно шлялась по залу, подрагивая большими, вываливающимися из бюстгалтера грудями.

На кону собралась кипа купюр.

Карты Джона лежали на столе перед ним. Подняв их, приоткрыл, что-то высчитывая, зыркнул исподлобья на Иче и небрежно сбросил на кон оклеенную крест-накрест пачку крупных купюр.

Иче окликнул полулежавшую на софе девицу. Она поднялась, поправив у промежности тонкие трусики, завихляла обнаженными бедрами.

— Что, мой зайчонок? — Стала подле Иче.

— Постой-ка рядом. — Он глянул на верхнюю карту и протасил по глади полированного стола две нераспечатанные пачки на кон.

Следующий тут же сбросил карты, поднялся. Второй после Иче, перебрав карты, тоже двинул к банку две пачки.

Джон, проследив за движением этой потекшей к кону руке, бросил игру, с побелевшим лицом вышел из-за стола.

Остались Иче и сидевший напротив длиннолицый мужчина с тонкой нитью усов. Тот выжидающе посмотрел на коротыша.

Щепкий напряженный взгляд: глаза в глаза.

подавив в себе страх, Иче повторил ход.

Длиннолицый, ссутулившись, долго смотрел на верхнюю карту, подложил ее под нижнюю, затем другую. Воспаленные глаза бегали от карт к выросшей горе денег:

— Ну, давай что-нибудь! — Раздвинув уголки карт, зло швырнул их. Две из них легли картинками кверху, третья, попав в кучу денег, смешалась с ними.

Иче почувствовал, как гулко ударило сердце: все! Эти деньги, эта гора денег, эти перетянутые крест-накрест тугие пачки принадлежат теперь ему!

Захотелось положить на эту горку денег голову, как припадают лицом к волнующей женской груди.

подавив непослушную улыбку, Иче откинулся на стуле, почувствовав затылком мягкие груди все еще стоявшей за его спиной девицы.

Длиннолицый, словно отключившись от окружающего, в каком-то подавленном раздумье вышел из-за стола. Не проронив ни слова, ссутулясь добрел до двери, забыв закрыть за собой, скрылся в ночи.

Следом деланно-неспешной походкой вышел Джон.

Иче с ликованием принимал это шествие побежденных им больших людишек, которые если не откровенно, то в душе считали его ничтожным и второсортным.

И сейчас он словно восседал на троне, а к его ногам побежденные враги сбрасывали свои опозоренные знамена.

Еще некоторое время он смаковал удовольствие от победы, оставаясь за столом, в центре которого возвышалась, поблескивая под люстрой, внушительная гора банкнот.

И плакали карманы Джона и остальных!

Девица, все еще стоявшая над ним, кошачьи мягко обняла его со спины, льстиво заурчала на ухо:

— Видишь, какая я удачливая?

— Удачливая, — суховатыми губами произнес Иче и кивнул на беспорядочно высившуюся кучу денег. — Сделай как надо.

Девница с готовностью села за стол, обеими желтыми под светом люстры руками стала сгребать деньги.

— Ух ты! Сколько их! — восторженно горели ее глаза. — Вот это я понимаю! — Казалось, будь это возможным, она окунулась бы в эту горку с головой и купалась в утоляющем шелесте купюр.

В дверях со швейцарской важностью стоял хозяин дома старик Наум.

— Дед, шампанского! — Иче великодушным жестом бросил короткой кукой.

— Слушаюсь! — лакейски козырнул тот.

— Дед! Шампанского! — Девнице за столом, видно, понравилась такая команда и она, словно брызгаясь, подбросила над столом кипу денег.

Шторка в соседней комнате раздвинулась, и в дверях стал взлохмаченный актер.

У него было устало-счастливое лицо, будто он хирург и только что вышел из операционной, где после сложнейшей операции спас чью-то висевшую на волоске жизнь.

«Хирург» звонко застегнул замок на ширинке и поактерски изящно вскинул рукой:

— Дед! Шампанского!

### 13

— До утра — здесь! — хозяйски распорядился Иче, угостив подошедшую к столу девицу звучным шлепком по обнаженному бедру.

— Баловник! — Она кокетливо вскинула подбородком.

Ее подруга, тоже в трусиках, бюстгалтере и туфлях на длинных голых ногах, лежала на софе, забросив на поднятую коленку ногу, и вертела острым красным носком туфли.

— Господа! Кушать подано! — В комнату с шипящей сковородкой втекла сутулая фигура старика Наума.

Иче, актер, хозяин и две девицы расселись за столом. Сковородка легла на середину, где еще недавно высилась стопка денег.

На люстре выкрутили пару лампочек, мягкий полумрак растекся по комнате.

Чокнулись за победу.

Пили.

...Суетился старик, поднося новые закуски, подновляя стол.

— Танцы! — Хлопнул в ладони Иче. Восседая во главе стола, с хмельными глазами, он походил на игрушечного

царька, приказы которого выполнялись тут же и с особым усердием.

Разметал тишину заголосивший на всю громкость магнитофон.

— Давайте! Голенькими! Только голенькими! — поговаривал Иче. Первой выпорхнула из-за стола пучеглазая с сигаретой в длинных пальцах. Вскинув руки, закрыла глаза и, словно в каком-то трансе, описала медленный круг. Выдернула из-за стола подругу, сбросив с себя бюстгалтер, завилась вокруг нее, скользя по ее телу длинными, как виноградины, сосками.

Старик Наум, подавшись вперед, остолбенел, глаза его округлились. Не мигая, он всасывался глазами в бьющие по воздуху обнаженные груди. Дрогнувшими руками он плеснул себе водки, залпом выпил.

— Эхма! Тра-ля-ля! — И бросился в круг к девицам, заюлил, завился подле них под громкий хохот.

Актер вытирал блестящие от слез глаза, громко сморкался.

Посмеивался на своем троне Иче.

— Давай, Марк! — С куражем он поднял бокал.

— Будем! — ответил тот сквозь затихающий смех.

Иче, опорожнив бокал, отшвырнул за спину, тот, ударившись о пол, со звоном разлетелся.

Старик Наум ползал в ногах обнаженных танцующих девиц, закатывал глаза, жадными руками скользил по голым бедрам, тянулся к грудям.

— Испить до дна! Исчерпать! Исчерпать себя и жизнь! Все остальное чепуха! — сквозь музыку расставил Иче, откинувшись на стуле. — Дай сигарету, Марк.

— Ты же не куришь, — просто сказал актер, но с готовностью раскрыл пачку и протянул Иче.

Сигарета в губах обрубыша показалась необычно длинной, сотворив из него головастого большого ребенка.

Иче неглубоко затянулся, выпустил разжеванные губами клубы дыма.

— Исчерпанный человек... Вот! — Он поставил локоть на стол, сигарета, зажатая меж двух пальцев исходила тонкой сизой струйкой. — Остальное... — он не договорил: одна из девиц, обдав его запахом духов, села на колени, прильнув волнующейся грудью.

Девушка осмотрела лицо Иче, пьяно проворковала:

— В первый раз с таким маленьким.

— У меня не маленький! — Иче отбросил сигарету. — У меня вот такой! — Он резко просунул между ее ног ру-

ку, и девица оказалась на ней, как на деревянной лошадке.

Но та, будто этого и ждала, обхватив толстую руку Иче своими двумя, сильнее прижала ее к промежности, закатила глаза.

Оборвалась музыка.

— Ну, ладно-ладно! — Иче выдернул кисть. — Иди. Я сейчас...

Сокрушенно выдохнув, она спорхнула с колен обрубывша, завихляла округлыми ягодицами, которые отсвечивали в полумраке, как золотистые апельсины.

Она вошла в соседнюю комнату, со звоном задернула штору. Скрипнула кровать. За подушкой скользнула вторая девица.

Старик Наум, полулежавший на красном паласе, враз лишившийся удовольствия гладить женские ножки, сокрушенно громко вздохнул:

— Эх! Трудно жить без пистолета!... Кстати,— развалившись на полу, как старый ленивый кот, он поднял глаза на Иче, будто к хозяйскому столу за рыбкой. — Кстати, генерал, пистолет тебе не нужен? Новенький! «Вальтер». Две обоймы...

Иче пристально посмотрел на валявшегося на красном паласе облезлого «кота»:

— Ну, давай. Посмотрим, что у тебя за пушка,— и усмехнулся. — Наумыч, у тебя, наверное, и танк имеется?

— Танка нет,— невозмутимо ответил Наум. — Но пару гранат — могу... Надо?

— Не надо. — Обрубывш с актером рассмеялись.

— Хозяин — барин... А то бы и гранаты можно... — Он кряхтя поднялся, через пару минут вернулся в зал с большим тряпичным свертком.

Расчистив перед Иче край стола, развернул зеленый бархатный лоскут.

Под светом люстры блеснуло черное вороненое дуло.

Иче с каким-то веселым удовольствием повертел пистолет в руках, пригладил сверкающий корпус:

— Симпатичная штучка! — не переставал он любоваться. — Марк, а почему люди так любят оружие... Я чувствую: у меня рожа, будто я не пистолет, а молоденькие девичьи сиськи ласкаю. Такие, знаешь, беленькие, упругие. А это не сиськи. Совсем не сиськи. И наоборот: сисечки тебя молочком накормят, жизнь дадут, а эта штуковина если угостит, то той жизни и не станет.

Старик Наум глуповато улыбался: возьмет обрубывш «товар» или не возмет.



Актер, сцепив на столе длинные холеные пальцы, слушал.

Иче церемонно, словно хрупкую вещицу, положил пистолет на бархотку.

— Я, человек, люблю это оружие потому, что я — шут! Мне нравится быть сильным, могущественным! Человеку нравится быть Богом! Вот я подержал пистолет и властелином себя почувствовал... Шут — человек!

— Так берешь? — не утерпел стоявший над ним Наум.

— Беру. Обожаю сисечки!

Договорились о цене.

— Положи в пакет, где деньги! — бросил Иче.

Наум заботливо, словно пеленал младенца, завернул пистолет в тряпицу, отошел от стола.

Спрятав оружие и деньги, вернулся за свой стол, с разрешения выпил рюмку и с хлюпающими глазами стал вслушиваться в разговор.

— Один мудрец определил, — говорил Иче, — миром движет любовь и голод.

— Любовь и голод движет миром! — с пафосом произнес актер.

— Миром движет страх. — Иче сложил на столе короткие костистые руки.

— Может быть, — дымил Марк.

— Миром двигал и движет страх. Но это движение в обратную сторону от пропасти. Человек не должен уходить от пропасти, он должен пройти через нее. Только тогда он от нее освободится.

Актер, словно забыв о своей сигарете, с нескрываемым удивлением, словно не узнавал что-то давно знакомое, смотрел на Иче:

— Ну, давай-давай, — с интересом растянул он.

— Я тебя понял, — усмехнулся незло Иче. — Да, от того Иче осталось одно имя. И действительно имя... Ну, ладно. Я просто тебе хочу сказать, чего бы хотел человек. Вернее, какая религия спасла бы его.

— И какая?

— Все религии грозят пропастью, внушают страх перед ней, уводят от нее и тем самым лепят из человека раба. Мы все рабы пропасти. Рабы страха.

— Может быть, может быть, — с любопытством пропел актер, облокотившись о стол.

— Скажи, Марк, если тебе будут принадлежать все самые красивые женщины, а одна, всего одна-единственная, но которую ты больше всех хочешь, не согреет твою душу, ты сможешь считать себя счастливым?

— Нет, конечно.

— Что скользнуло мимо, уже никогда не будет твоим. то, что ушло, ушло безвозвратно. И ничем этого не вернуть и не изменить. Так?

— А твой крестник не зря тебе дал такое имя.

— От него все и пошло... Ну ладно... Так все же: как испытать не принадлежащую, но желанную тебе любовь? Испытать до дна. Чтоб потом не было боли от несбывшегося?... Ты знаешь, что такое боль от несбывшегося?

— Ну, а кому как не актеру знать об этом? Эх, Иче, Иче! Какие роли я мечтал сыграть. И мог бы. Но сначала не давали, а теперь уже поздно. Уже «не испытать», как ты говоришь, эту «любовь»...

— Религия исчерпанного человека! Вот что могло бы спасти человека! И весь бы мир изменился!

Старик Наум непонимающими сонными глазами поглядывал то на актера, то на Иче, засыпая, клевал носом.

Иче проигрывал ножом, никелированное лезвие отбрасывало острые блики.

— Религия исчерпанного человека, только она может спасти людей,— продолжал обрубьш,— исчерпать в одной любви любовь всех самых красивых женщин. Не испив и одной капли, испытать всю разлитую в мире сладость и наслаждение. Короче, не имея — иметь, не возвращаясь — вернуться, не убивая — убить, не испытав ничего — пережить все!

— Ну ты даешь! — пропел актер. — И как же это: не переживая — пережить?

Вконец разомлевший от водки, Наум заснул, клюнув лицом, едва не вlepился лбом в свою тарелку. Тут же, выпрямившись, как робот, вопрошающе-сонными глазами прошелся по сумрачной комнате.

— Я — спать,— хмельно усмехаясь над собой, отмахнулся он, грузно выбрался из-за стола.

Иче смеялся. Актер, словно озабоченный какой-то навязчивой мыслью, вяло улыбнулся.

Старик плотно прикрыл за собой дверь.

Актер, по-прежнему о чем-то думая, жадно курил.

— Давай еще, что ли? — Он вдруг плеснул в рюмки, не дожидаясь Иче, торопливо стукнул своим бокалом о его и так же быстро выпил.

Курил глубоко затягиваясь, точно смаковал анашу.

— Если б это было возможно: «...не возвращаясь — вернуться...» — выдохнул он. — Если б это было возможно! — Он облокотился локтями о стол, сжав ладонями виски. — Если б это было возможно! — Он поднял на Иче

пьяные, затуманенные слезой глаза. — Но это невозможно! Ничего не вернуть. Никогда ничего не вернуть и не изменить. Вот ты сейчас сидишь со мной, пьешь, думаешь про меня, что я человек, а я не человек! — Он пьяно покачал пальцем. — Я гад!... Я от сына своего отказался. Он больным родился. Я никогда не говорил... А тебе скажу, хоть душу выложу... Тебе можно... Мы его в больнице оставили.

Иче замер, какая-то острая догадка прожгла мозг.

— Ну и что с этим сыном? — справился он с собой.

— Не знаю. Мы не спрашивали... Нельзя было его нам. Понимаешь, мы ведь видная семья,— стал нервничать он. — Ви-идная. Еще бы: муж — известный великий актер, жена тоже крупный начальник. Таким разве можно уродца?! Позор!... А с возрастом своих мертвецов любить начинаешь. Ищешь их... А, может, он и не умер? — тяжело выдохнув, он махнул рукой. — Расплата. А с другой стороны, подумай, что бы мы с ним могли сделать? Все равно ведь...

Но Иче уже не слышал. Маленькому царьку на троне вспомнился специнтернат, увиделись перекошенные в злобе лица воспитателей, которые, придавив его лицом к длинному обеденному столу, полосовали спину гибким прутом: за побег.

В ушах стал посвист этого тонкого, как трос, прута и показалось, что и сейчас спину выжгла боль от его обжигающего и рвущего кожу удара.

Иче торопливо сполз со стула, переваливаясь с ноги на ногу короткими ножками, засеменял к двери.

— А ты...? — пьяно удивился актер.

— А — я! — резко бросил Иче. Вспомнив про пакет с деньгами, достал его из-за тумбочки под телевизором и, так же не глядя на Марка, толкнул дверь.

— Так подожди, и я... — пробормотал тот. — Вместе и пойдем.— Он медленно, словно схватило спину, поднялся со стула.

Громко ударила дверь.

Актер, точно сбитый волной, осел на место, откинувшись на стуле, свесил руки плетями. Глаза его долго пьяно шарили под серым потолком сумрачной комнаты.

Актер наклонился к столу, налил водки.

Выпив, оттер ладонью рот и повернул лицо к соседней комнате:

— Эй, матрешки, а ну-ка идите к человеку... Спят... что ли... суки! Сейчас... — покачиваясь, едва не сорвав с двери шторы, он ввалился к девицам в комнату, но через

минуту под ругань и шум вылетел из нее и растянулся на полу у кромки красного паласа.

14

Не разбирая дороги, торопливо семенил по ночным улицам Иче.

Обрывки мыслей и воспоминаний казались прутьями, рассекавшими мозг.

Помахивая пакетом с деньгами, обрубыш почти бежал. Снова бежал.

Как бежал когда-то из специнтерната, как бежал от себя, и сейчас торопился уйти от уничтожавшего душу вопроса: Актер... Нельзя уродца... А вдруг этим уродцем был он — Иче. Уродца! Уродца! Уродца!

Обхватив гудевшую, как колокол, голову, не замечая и сам, сорвался на бег.

Бежал не видя пульсирующую под ногами тускло освещенную дорогу. Мысли теми же стальными прутьями рассекали мозг в кровь.

Маленький царек петлял в ночи, как черный жучок по извилистой дорожке.

Он хотел слез, но душа была пуста, как вылизанная миска голодного интернатовца.

Царек не заметил, как пляшущая дорожка уперлась в бетонную стенку.

Иче с разбега ударился о стену лицом, соскользнул на землю.

Пакет с деньгами и пистолетом, отлетев от стены, грохнулся рядом. Десяток купюр вывалились из него и лежали вразброс. Невдалеке тускло поблескивал выпавший из пакета «вальтер».

Иче поднял глаза к ночному небу, которое словно черная повязка, закрывала чьи-то глаза.

И снова он показался себе тем зверьком, который, попав в ловушку, метался по дну, разбиваясь о непреодолимые стены не находя выхода.

И над ямой катил хохот.

«За что, Господи?» — Царек сбросил взгляд с черной гоготающей бездны.

Шут. Жалкий смехотворный уродец. По-бе-дитель...

Иче сидел на земле, привалившись спиной к стенке.

Безмолвная и бесполезная ночь.

Пистолет.

Он только сейчас заметил, что уже с минуту неотрывно смотрит на черный призывный блеск оружия. Он потянул-

ся за ним. Со странным спокойствием стал рассчитывать, как лучше сделать это.

Приложил дуло к виску.

И вдруг в мозгу возник образ старца. Вспомнилась его спокойная странная улыбка. Как светящийся вдали маячок.

Что говорила она и куда звала?...

## 15

...Но как обычно бывает на этой земле?

Красивый хочет, чтоб красивым был только он.

Уродливый ищет уродство во всем.

Счастливый позавидует счастьем другого.

Несчастный пожелает страданий остальным.

Униженный жаждет падения всех.

...Кто знает из чего исходила злоба Катерины. Может быть, придумывая очередное наказание и повелевая, она казалась себе такой же нормальной, как и все свободные люди.

В предвкушении удовольствия, сцепив за спиной корявые руки, она вышагивала вдоль шеренги девушек, которые по ее приказу выстроились в спальне.

Перед шеренгой, как перед солдатским строем, опустив голову, стояла Оксана.

Катка вышагивала мимо сосредоточенных лиц, ее тапки во время ходьбы шлепали по босым пяткам, издавая чавкающий звук.

Она остановилась возле «виноватой», вцепившись в волосы на затылке, дернула к спине:

— Прямо гляди! — рявкнув, она обнажила желтый ряд мокрых от слюны зубов.

— Ворюга! — Катерина прошлась взглядом по шеренге, точно прощупала ее; болезненные одутловатые лица сменялись обыкновенными, нормальными, которые в этой череде казались случайными.

— Она своровала у Наташки носки! — докладывала Катерина.

— Я не воровала! — всхлипнула Оксана.

— А почему тогда в твоей тумбочке?

— Не знаю! Мне не нужны ничьи вонючие носки!

— Вонючие? Наташка, а ну давай!

Из шеренги вышла полная девочка со сползавшей по подбородку слюной. Протянула грязного цвета носки.

Катка поднесла их к носу, сморщилась.

— На кровать ее! — бросила «атаманша», и через секунду к Оксане метнулось несколько девушек.

Замелькали руки, посыпались возгласы. Ударил звук пощечины. Возня продолжалась несколько минут.

Оксана лежала со связанными руками и ногами.

Растрепанные «исполнители» переводя дыхание осматривали свою работу.

— Будешь жевать! — Катька швырнула носки в лицо.

И снова, точно охотнички на травле, на завязанную накинудись послушные исполнительницы.

Оксана стиснула зубы. Кто-то перехватил ей горло, чьи-то пальцы, стараясь разжать рот, дырявили губы.

Оксана рвала головой, уводила рот. Кто-то ударил ее по лицу, вцепился в волосы.

— Отставить! — вдруг стеганул от двери мужской голос.

— Прекратить самосуд! — Вскинув руку, интернатовский сторож Филипп захромал по длинному проходу к замершим над Оксаной девушкам.

— Пошли! — погнал он их и незаметно подмигнул Катьке.

Став над кроватью Оксаны, посмотрел на перевязанные руки и ноги.

— Не бойся! — хромой склонился над ней. — Видишь, я тебя спасаю. Сейчас развяжем. — Он потянул за конец веревки и тихо прибавил: — А тетрадку я пока никому... А то ведь я знаю: они могут тебя и в Дом инвалидов, если что...

Дорожки слез блеснули на ее щеках.

## 16

Работу на колодце договорились отложить дня на три. Сначала решили подыскать для Иче подходящий домик, и еще надо было съездить в Дом ребенка.

— Так торопишься туда? — поинтересовался старик.

— Надо про деньги выяснить. Ведь немало я их выслал. — Хотя это и было правдой, но в ту секунду обрубывш думал о недавнем разговоре с актером: «...в роддоме оставили... уродца нельзя...»

Нашлась и машина. Старик попросил соседа.

Утром, как и договорились, Иче с соседским парнем Назаром выехали к Дому ребенка.

Солнце карабкалось в небо, как тарантул.

За окнами автомобиля стремительно мелькали сонные тополя, серый асфальт с посвистом шелестел под колесами.

До селения, где находился Дом, набегало до шестидесяти километров. Дорога была по-утреннему свободной.

После нескольких минут езды разговорились.

Назар, сосед Ильи, пухлолицый парень лет двадцати двух, оказался словоохотливым, любившим, как понял Иче, всякую и любую информацию о дальних и ближних.

На его полной верхней губе росли негустые блестящие усики, которые временами он прилизывал, высунув кончик языка.

Про Иче он, видно, знал все, но только не мог понять, что у него за иностранное имя.

Разумеется, выпросил.

Иче рассказал о работавшем в Доме ребенка в его времена завхозе Акимыче.

Акимыч, добродушный мудрый мужичок, любил давать новоприбывшим младенцам необычные имена.

Правда, многих из роддомов привозили уже с готовыми документами. Часто это были имена самых популярных людей земли. В спальне рядом с кроваткой Майкла Джексона могла стоять кровать первого космонавта Юрия Гагарина, дальше располагалась еще какая-нибудь суперзвезда, но бывало и местного значения. В Доме могли оказаться и тезки: две Софии Лорен или два каких-нибудь американских президента. Случались и хоккеисты из НХЛ.

Такая вот прихоть почему-то находила на некоторых матерей, навсегда оставлявших младенцев.

А у завхоза Акимыча имелась своя система.

Развернув «свеженького» и безымянного младенца и отыскав в нем что-то характерное, иногда видное только его мудрому оку, Акимыч собирал из двух слов одно имя. Такая некая аббревиатура.

Если завхозу вновь прибывшее существо могло показаться добрым, оно тут же нарекалось Дорекком, то есть «добрый ребенок». Если перед Акимычем «распаковывали» девочку и у нее была ровная ножка, то получалось звучное и почти французско-итальянское Рона: «ровная ножка».

Встречалось и с китайским колоритом — Чиюн, то есть чистый юноша.

Для одного младенца после серьезного осмотра Акимыч почему-то решил сократить «исчерпанного человека».

И получилось Иче.

...Дом ребенка, двухэтажный особняк с черепичной крышей и двумя колоннами, находился у въезда в селение, в ста метрах от дороги.

Огромный сад окружал его, словно прятал от чьего-то глаза жуткую тайну.

На игровой площадке перед зданием возились маленькие дети: копались в песке, гомонили вокруг качелей, бегали, смеялись, воевали друг с другом и ничем не отличались от миллионов других. Если бы не клеймо в официальных бумагах: «Дети, временно лишенные родителей». Но за этой фразой стояло другое: дети, брошенные родителями. Невольный клан.

При виде вошедших на территорию Иче и Назара они побросали свои игры, вопросительно вытянулись, как болонки на задних лапках.

Они с надеждой смотрели на незнакомцев, ожидая, что, может быть, это пришли за ними и сейчас заберут «домой».

Иче невольно опустил глаза, в груди защемило. Он попытался припомнить, как много лет назад он так же выпрямлялся при виде входивших в ворота дядек и тетек, но вместо каких-то образов в груди стояла боль.

Под разлапистым ореховым деревом сидела молодая воспитательница.

Иче перехватил ее любопытный взгляд: наверное, интересно было смотреть на делегацию во главе с уродцем.

— Главная у себя? — подошел к ней Иче.

— Да.

— Вера Арнольдовна?

— Да. А что вы хотели?

— Да ничего. Вы меня девушка не знаете, конечно... Я из вот таких,— Иче кивнул на все еще следивших за ними детьми.

Поднимаясь по широким бетонным ступенькам, Иче выдохнул, словно от какого-то неожиданного волнения перехватило дух.

Назар остался возле воспитательницы.

Перед кабинетом главврача Иче собрался, хмыкнув, постучал.

— Да.

Он осторожно вошел и стал в дверях, как маленький, чего-то выпрашивающий человечек.

Пожилая женщина в очках и белом халате, сидевшая за столом, глянув, замерла.

— Иче-е? — точно не поверила она себе. — Какой ты стал взрослый!

Вера Арнольдовна поспешно вышла из-за стола, прижала к себе едва доставшего до ее груди человечка:

— Жив-здоров! Слава тебе Господи!



— Жив! — он поднял на нее потеплевшие глаза.  
Главврач усадила Иче на диван, устроилась рядом.  
Вспоминали.

— Спасибо за переводы. — Вера Арнольдовна положила ладонь на его руку. — Я все записала. Все расходы. До копейки. Твои денежки так помогали нам. Я сейчас тебе тетрадку дам. — Она было приподнялась, но Иче остановил ее:

— Не надо. Я это обязан был сделать. Вы меня здесь выходили, с того света, можно сказать, вытянули... что там мои копейки. — Он помолчал и, казалось, долго не мог начать, долго не мог решиться.

— Я тебя слушаю, Иче,— помогла она.

— Вера Арнольдовна,— вдруг заговорил он,— вы мне должны помочь. Я, вообще, верил про своих родителей, а теперь нет... Вера Арнольдовна, помогите... я хочу узнать правду... Документы... У меня есть одно подозрение... я знаю, что этого не может быть... но мне надо освободиться от этого.

Вера Арнольдовна поправила очки, опустила голову.

Комната рухнула в тишину. Стали отчетливо слышны проникавшие сквозь окно детские возгласы, крики.

— Я вас очень прошу... Помогите. — Иче непроизвольно сжал ее локоть, и, почувствовав это, извинился.

— Хорошо,— наконец, согласилась она и тут же глядя прямо в глаза предупредила:

— Только без всяких последствий!

Иче легко вздохнул, опустившись перед Верой Арнольдовой на пятки, как ребенок, положил голову на ее теплые ладони, покоившиеся на коленях, покрытых белым халатом.

— Вот-вот. Так и в детстве делал. Подойдешь и, как собачонка, на руки. — Она пригладила его большую с сединой голову. — Ну, ладно, вставай, как-никак прошли те времена.

Они вышли из здания.

— «Та» комната еще есть! — бросил он подбородком вверх.

— А куда ж ей деваться...

— А можно я товарищу покажу?

— Это — пожалуйста,— разрешила она.

Иче позвал Назара:

— Посмотришь внутри? Кто знает, может, уже никогда и не приведется...

— Конечно,— охотно согласился тот.

Они вернулись в дом.

На второй этаж вела деревянная лестница, покрытая зеленой, чуть истоптанной дорожкой. В первой большой комнате стояло три ряда детских кроваток. В углу, по левую сторону от двери, молодая женщина, придерживая грудь, кормила ребенка.

— Кормилицу наняли? — спросил Иче.

— Ох, с каким трудом! У нас еще одна ставка есть, но никто не хочет и не может... Исчезает в наше время молоко у женщин. Как подумаешь, страх берет: что будет!

Прошли вдоль кроватей. Запеленатые младенцы лежали, как обернутые в белое куклы.

— Майклы, Джексоны и Софии Лорен, — напомнил Иче Назару.

— Да, — вздохнула Вера Арнольдовна, — только горько все это.

Назар с любопытством осматривался.

Следующая комната была такой же просторной и светлой. В центре стоял большой манеж с высокими перилами. В нем лежали игрушки.

Отовсюду веяло порядком и уютом.

— Знаете о чем я всегда думаю? — Иче поднял глаза на главврача. — Почему отличается специнтернат от Дома? И люди вроде те же... Только там издеваются над детьми, а здесь выхаживают... В чем причина?...

— Ох, не знаю, — вздохнула Вера Арнольдовна.

— Отсюда заеду и к ним. Немного подарков им припас... Да и для ваших там... игрушки, конфеты. В машине только.

Она поблагодарила.

Вышли на лестничную клетку.

— Вот «эта» комната, — она кивнула на выкрашенную в белое дверь.

Вошли.

Широкое окно заливало яркое солнце. В комнате стоял большой манеж. Взглянув на него, невозможно было не содрогнуться от ужаса: на дне кишели огромные головы, скрученные ноги и руки, раздутые туловища. И все это, высвеченное солнечным светом, ползало, шевелилось, бессмысленно улыбалось и копошилось... И это тоже были дети...

Назар, не выдержав и десяти секунд, оглушенно подавив гортанный тошнотный звук, вырвался из комнаты и, словно преследуемый, сбежал по лестнице. Едва успев выскочить из дверей, надрывно заблевал на ступеньках.

Говорливый, он непривычно долго молчал в мчавшейся по трассе машине.

— Это все наркотики, пьянство, таблетки, которые принимают родители, чтобы освободиться от ребенка,— для чего-то пояснил Иче, глядя на пролетающие мимо деревья и столбы.

— Ради Бога! Ради Бога! — взмолился Назар. — И так теперь хватит на год... Жрать теперь спокойно не смогу. И надо ж было полезть туда!

— Ну ничего, зато будет, что вспомнить,— посмеялся Иче. — А то жил бы и не знал, что такое есть...

— Да лучше бы и не знать. — Назар, одной рукой придерживая руль, устало протер по лицу пухлой ладонью. — А там, куда мы сейчас едем, в этом специнтернате тоже есть такая комната? — Он на секунду оторвался от дороги, взглянул на утонувшего в кресле обрубаша.

— Там нет.

— Слава Богу.

— Там, конечно, есть и больные...

— Тогда я остаюсь в машине,— перебил Назар.

— Но в основном, здоровые... Знаешь какие девочки встречаются? Я когда-то влюблялся в одну...

— Ну и что?

— А что может быть? Она нормальная была, высокая... не как я...

— Что, правда красивые бывают?

— Бывают! — почему-то с гордостью ответил Иче.

— Тогда я в машине не остаюсь.

Рассмеялись.

## *Часть вторая*

### **О К С А Н А**

#### **1**

...Если судьба тебе уготовила этот специнтернат, здоровым и нормальным тебя считать уже никогда не будут. Пусть ты во сто раз умнее тех, кто на воле.

И потому здесь все для всех одно: спальня, класс и даже таблетки.

Учеба в интернате — для отвода глаз. И какое может быть учение, когда на одних и тех же уроках рядом с больными сидят здоровые, попавшие сюда лишь из-за того,

что после Дома ребенка они были бесхозными, никому не нужными существами.

Учителя, если что и делали с усердием, то получали зарплату.

И били.

Будь то мужчина или женщина, бить могли из-за пустяка, просто из привычки.

После занятий Оксана вышла во двор. Территория специнтерната, огромный прямоугольник, огорожена высоким забором с колючей поверху проволокой.

В этой «зоне» стояло одно двухэтажное здание, в котором размещались спальни, классы и столовая.

За ним, возле заборов, корежилось несколько старых деревянных построек: подсобки и склады.

Территория, беспорядочно обсаженная деревьями, походила на какой-то неухоженный сквер: вдоль заборов вперемежку с кленами и акацией лохматились макушки низкорослых кустов, всюду росли крапива и бурьян.

Оксана брела под деревьями, опустив голову, раздвигала носком туфли пожелтевшую траву. Раз-два нагнулась, что-то подняв, отбросила.

Оксана искала стеклышко. После угроз хромого Филиппа она выдумала себе спасительное оружие: если он снова начнет приставать, она тут же положит стекло в рот. И если хромой подступится еще хотя бы на шаг, она проглотит осколок.

Только нужно найти с острыми гранями, чтобы потом он больно резал внутри, и все видели ее мучения.

Осколок она упрячет в носок: так незаметнее и быстро можно вытянуть. Никто и глазом не моргнет — а стекло уже во рту.

В какую-то секунду Оксана с любопытством замерла: из домика-проходной, примыкавшей к железным воротам, вышел маленький, но взрослый человечек: головастый, с короткими кривыми ногами,

Следом затопал хромой сторож, раскрыл ворота, и на территорию въехала белая машина.

Головастый человечек сел в нее, и по асфальтовой дорожке она подкатила к двухэтажному зданию.

Со ступенек уже сбежали несколько ребят, вышли преподаватели. Мальчишки окружили коротыша, который подавал им из багажника ящики со сладкой водой, какие-то коробки и пакеты.

Продукты снесли в корпус. Вслед за ребятами зашли взрослые.

Что-то смекнув, Оксана подошла ближе, притаилась под деревом в метрах десяти от машины.

Незнакомцы не выходили.

Оксана осмотрела себя, одернув платье, шагнула было из своего укрытия, но снова стала за деревом.

Время шло медленно, как по ночам, когда приходит бессоница.

С возгласами в корпус вбегали девочки и мальчики. Выходили счастливые: каждый с печеньем и конфетами.

Ели одинаково — узко открывая рты, чтоб не откусить ненароком большой кусок — для продления удовольствия.

Разбредались по территории поесть свое угощение в одиночку. Чтоб никому ничего не дать.

Наконец, в сопровождении учителей обрубыш вышел. Осмотревшись на широком бетонном крыльце, увидел ее.

Они долго смотрели друг другу в глаза.

— А ты почему здесь! — Он удивленно сошел со ступенек.

Оксана стояла, прижав ладони к облежавшему бедра зеленому платью.

— Она что, глухонемая? — Иче обернулся на учителей.

— Да нет. Со странностями, правда, — ответили с крыльца.

Иче подошел к ней.

И снова — глаза в глаза.

— Я тоже здесь жил, — пояснил он. — А ты всегда такая молчунья?

Немая секунда.

Над головой, в листве деревьев, громко защебетали птицы.

— А вы писать умеете? — вдруг тихо спросила она.

Иче недоуменно оглянулся, но тут же улыбнулся.

— Вообще-то могу.

— Напишите от меня письмо председателю ООН! Пусть меня отсюда возьмут, — быстро лепетала она, глядя пугливыми глазами. — Меня бьют. И хотят, чтоб я... — она не договорила, стыдливо опустив глаза.

Обрубыш вдруг переменился лицом: вспомнилось, как однажды в этом же здании, привязав к скамье, его исхлестали ремнем.

— Кто тебя... — Но не успел спросить, в эту минуту их окружили учителя, что-то ласково залепетали, обняли поникшую девушку.

— Я еще приеду. — Он был намного ниже ее и смог заглянуть в опущенные глаза. Озорно подмигнул, и ей отчего-то стало смешно.

Улыбнулась и она, пригладив короткий, стекавший на плечи шелковистый волос.

— Иди угощенья возьми. А то ведь не останется,— улыбаясь в ответ, кивнул он и пошел к машине.

Отъезжая, приподнялся на переднем кресле, чтоб видеть в заднем стекле фигурку в зеленом платье.

Сторож прежде чем открыть ворота, стал возле дверцы со стороны Иче, наклонился к наполовину опущенному стеклу:

— Спасибо тебе, браток,— смотрел припухшими красными глазами.

— Да не стоит.

— А что эта девочка, под деревом, жаловалась что ли?

— Нет. А что? Ее кто-то обижает? — притворился Иче.

— Ну что ты? Разве ж можно таких... — Сторож вдруг льстиво и виновато улыбнулся. — Извини, браток, на бутылочку... не подбросишь.

Иче подал ему в приоткрытое окно.

— Спасибо! Спасибо! — закланялся тот и прохромал к воротам. Проезжая, Иче метнул в него внимательным взглядом.

Сторож нарочито, по-солдатски вытянулся, бросил кверху рукой: салют, мол.

...И снова говорливый Назар о чем-то молчал. В летевшей по трассе автомашине стояла неловкая долгая пауза.

— Че пригорюнился! — улыбнулся Иче.

— Ну, ты меня сегодня нака-чал! — почти пропел Назар.

— Что?

— Я как будто заново на этот свет родился. Накачал! После таких бедолаг... Да мы же счастливый народ!... А еще на что-то жалуемся. Люди-человеки! Вот каждого повести туда...

— Не поможет. Из людей все равно ничего не получится. Я не обвиняю, но человека никогда не изменить,— глядя на летящую под колеса дорогу, философствовал Иче. — Как были наркотики, так и будут, как грабили друг друга, так и будут, как пили таблетки, чтоб от детей избавляться, так и будут пить. И ничего не поможет. Никакие запреты. В Библии уже тысячи лет написано: не убей... А толку что?... Если даже на земле будет полный порядок, но хоть один человек нарушит хоть одно «не», все пойдет кувырком, как цепная реакция. И я не верю...

— А как же без веры? — Назар выдал сигнал, предупредив идущий впереди грузовик об обгоне. Легко обошли его.

— Жизнь это или великая правда, или великая насмешка,— Иче глянул в окно. — Но чтоб она была правдой, нужна вера, как ты говоришь. А без веры... так... для паука. — Он высунул руку в окно, поводил ею под встречным ветром.

— Какого паука? — посмотрел на обрубыша Назар.

— Есть такой... Или дьявол. Как больше нравится.

— Ну и...

— У паука что самое паскудное? Самое паскудное — паутина. Красивая вещь, но все же подлая. Но подлая она для мошек и разных других тварей. А для паука — вещь необходимая. Такие же паутины есть у каждой твари. У всякого своя. Каждый по-своему ловит.

— Кушать-то надо,— рассмеялся Назар.

— Да. Все кушать хотят. Про человека и говорить не надо. У него тоже есть паутина. Самая хитрая. Расставлять сети как человек, не может ни одна тварь на земле. Но и для человека тоже есть свой паук со своей паутиной. Только этот паук питается духом человеческим. Войны, любовь, зависть, убийства — все это его добыча. Он и выкармливает человека и все блага ему дал, чтоб потом самому питаться. Вот как мы выкармливаем коровок и барашек на мясо, так и он нас... Чтоб духом нашим лакомиться, действиями, мыслями. Мысль тоже действие. Если что-то подумал, значит совершишь. Хоть слово, не выскажешь. А слово сказал — это уже ниточка паутины. Что-то совершил — еще несколько ниточек. Так и сплетается паутина, которую каждый набрасывает на другого. А все вместе — моя сеть, твоя сеть — это получается паутина паука...

— Ну ты даешь... Опять накачал! — неподдельно удивился Назар.

И рассмеялись.

## 2

Иметь собственный дом... Жить в своем доме... Быть хозяином собственного дома...

И не бояться, что в любую минуту тебя могут погнать, как вора.

Те, кто не имел своего уголка, хотя бы одной, но только тебе принадлежащей комнатенки, тому известна горечь унижения жить в чужом доме.

Но в этой жизни бывает, что исполняются и заветные мечты: Иче приобрел квартиру.

Искали вместе со стариком. С ним же, получив у бывшего хозяина ключи, пришли прикинуть, что и как дальше, какой понадобится ремонт, что заменить, что подвезти.

Однокомнатная квартира Иче находилась на втором этаже девятиэтажного дома.

Во время ходьбы в его кармане изредка позванивали ключи от нее, и обрубьш с невольной улыбкой ощущал их тяжесть.

Войдя в подъезд с Ильей, хотел было достать их, но искоса глянув на старика, постеснялся: подумаешь, ключи от дома. У кого их не было.

Стали у дверей.

— Ну, давай! — улыбнулся старик. — Открывай свой дом, хозяин.

Рассмеялись.

Иче, стесняясь своей непослушной улыбки, стал к старику спиной.

Приятно защелкали замки.

— Прошу! — обрубьш бросил короткой рукой к двери.

— Хозяин первым! — Илья дружески хлопнул его по плечу, слегка подтолкнул. — Давай-давай!

Гулко отдавались в пустой квартире их шаги.

Прошли на кухню. Старик опробовал черные клювики газовой плиты, винтики крана.

Нормально.

С двери туалета улыбался маленький писающий мальчик.

Открыли ее.

Старик щелкнул выключателем. Вспыхнувший свет упал на белый сверкающий зев унитаза.

Рассмеялись.

— Кабинет что надо! — бросил Илья. — Сиди как хочешь. Хочешь книжку листай, хочешь в углу телевизор поставь.

Улыбаясь, Иче прочитал крупную над бачком красную надпись: «После нас — хоть потоп!»

— Какой-то умный здесь посиживал, — усмехнулся Илья.

— Ну да.

Через маленькую квадратную прихожую попали в комнату.

Иче стал в двери, ласкающими пальцами провел по трещинке косяка, словно пригладил шрамик на девичьем теле.

Илья заметил это, погасил улыбку.



— Обои заменим — и порядок! — подытожил он. — Сами и наклеем.

— Спасибо, Илья. Ты мне отец,— Иче открыто посмотрел в глаза старика, и вдруг вспомнилась недавняя поездка в специнтернат, одинокая девчонка под деревом.

На середине пустой комнаты лежал деревянный ящик, Иче сел на него, свесив большую голову.

— О чем задумался, мужик? — бодрясь, проговорил старик.

— Девчонку ту вспомнил... Помнишь, о т т у д а?

— О, если так часто вспоминаем, значит дело к свадьбе. Сразу и новоселье сыграем, и свадьбу!

— Какая там свадьба. Иче не женится никогда.

— Чего так? — старик состроил удивленное лицо.

— Зачем шутов разводить? Хватит и одного.

— Зря ты так... Зря! — великодушно корил Илья, и его голос гулко отдавался в пустой комнате.

Он распахнул дверь балкона, словно от этого разговора стало душно.

— Той девочке, между прочим, лет пятнадцать,— бросил ему в спину Иче. — Так что не для меня, в любом случае...

— По-моему, ты влюбился.

— «Влюбился»? Нет. Просто бывает хочется. Кого-то поменьше, кого-то побольше.

— А кого-то и невоготу,— в тон ему вставил старик.

— Изуродуют жизнь девчонке. — Обрубыш смотрел на почерневший от времени когда-то желтый паркет. — А может быть, и уже. Там это делается просто... Дай сигарету.

— Ты чего это? Я, конечно, понимаю, но что сделаешь?

Обрубыш долгим, убегающим взглядом смотрел в широкое, выходящее на балкон окно:

— Кто-то свадьбу сейчас играет, кого-то хоронят, кому-то объясняются в любви, а кого-то насилуют... Интересно, как это смотрится сверху... Жратвы у паука вдоволь. От голодухи не умрет. — Иче сделал несколько неглубоких затяжек, отшвырнул окурок в угол:

— Знаешь, что она у меня попросила? Письмо, говорит, председателю ООН напиши: пусть ее вызволят о т т у д а. Так и сказала: «...председателю ООН...»

— Зачем тебе ООН. Ты сам, как председатель... Вот возьми и спаси. Женись, хочу сказать...

Иче выразительно глянул.

Старик беспомощно развел руками.

Они вышли на балкон. Шея обрубыша приходилась вровень с перилами. Он сложил на них подбородок, как пес на колени хозяина.

Илья стал рядом. Со спины — взрослый с ребенком.

Молча смотрели вдаль.

Закатное солнце замерло на горизонте, точно паук на паутине.

Напитавшееся за день, оно лежало круглым брюхом кверху.

«Хлеба и зрелищ» у него видно было в избытке.

Иче, глянув на высившегося над ним старика, быстро отвел глаза:

— Илья, а мы с актером похожи? — деланно-безразлично спросил он.

— Он вообще-то неплохой мужик... Слабоват только. А ты мужик-ик!

— Да нет. Я имею в виду... внешне... Лицом.

Илья скосил вопросительный глаз, призадумался.

— Как-то об этом не думал, — он пожал плечами.

— А жену его ты видел?

— Не видел, — настороженно протянул старик. — Чего это ты вдруг...

— Да так... — Обрубыш азартно прихлопнул по перилам и молодецкато бросил:

— Дед! Шампанского!

Рассмеялись.

### 3

Место, где предстояло вытянуть колодец, находилось в минутах десяти от дома Ильи.

Рано утром, еще только солнце будило сонный мир, старик и обрубыш, прихватив старую одежду, двинули на работу.

Илья толкнул ветхую покосившуюся калитку, и они оказались в заброшенном дворе.

В глубине его стояла полуразвалившаяся хибарка, окруженная беспорядочными зарослями кустарника.

В метрах десяти в стороне нашли заранее начерченный на земле квадрат, сложили рядом инструменты.

Старик разделся по пояс, воткнул у черты лопаты, что-то невнятно пробормотал и снял первый, с травой, пласт.

— Хорошая земля, — одобряюще пробасил он, отбросив штык мягкого чернозема, — неиспорченная. — На сильных руках Ильи дыбились упрямые напряженные вены.

— В этом дворе старичок один жил,— бросая землю, выдыхал Илья. — Говорят, много денег имел. Но скряга был: ходил, как нищий.

— А деньги кому остались? — Иче пока стоял в стороне.

— Кто его знает.

— Вот бы он их здесь закопал! — с детским озорством блеснули глаза Иче.

— А мы и так здесь свои деньги найдем. Как до воды достанем, так и денежка наша.

Работали по очереди.

Невдалеке лежал спиленный ствол старого дерева. Илья передвинул его ближе, прочно установил.

— Скамеечка? — шутливо бросил Иче из ямы.

— Скамеечка. — Старик положил пачку сигарет на корявый ствол. — Сменить? Может устал? — дымил он сигаретой.

— Да нет, кури еще. Эта работа мне в отдых. Труд свободного человека. А что выше свободы, скажи, Илья?

— Ну, смотри. Похожу пока. — Неторопливым шагом старик пошел в глубину двора к саду.

Когда-то, наверное, хорошо ухоженный, знавший заботу человеческой руки сад теперь густо зарос молодыми беспризорными побегами, которые колко теснились среди старых деревьев.

Шурша сапогами в прошлогодней ссохшейся листве, отодвигая ветки, он пошел немного в глубь. У основания одной из яблонь, ткнувшись горлышками, валялись грязные бутылки, рядом желтел обрывок старой газеты.

Сад был как бы второй частью огромного двора. В первой стоял покосившийся низкий дом.

Илья еще немного потопал по двору и направился к домику: в нем самое хорошее место для их ломиков и лопат.

Иче за поднявшимся холмиком уже не было видно, лишь гроздь взлетающей глины, рассыпаясь в воздухе, падали на горбик земли, скатывались к ее основанию.

Илья подошел к избушке. На старый растресканной двери замка не было. Он уверенно потянул ее. Домик состоял из двух комнат с осыпавшимися стенами. В ноздри ударил запах гнили и сырости. Илья шагнул ко второй комнате. Неожиданный шорох остановил старика. Он замер.

— У-у, сука! — досадно прошипел оттуда мужской голос.

— Слезай же! — шелестнул женский шепот.

Илья быстро заглянул в комнату. На развалившемся диване замерли друг на дружке два тела.

Старик ошарашенно бросился из домика, быстро затопал к Иче.

Тот сидел на стволе, очищал щепкой подошву сапог.

— Ты чего? — насторожился он, увидев скорую походку Ильи.

Старик склонился к обубышу, и, словно его могли услышать в этом заброшенном дворе, стал шептать на ухо.

Иче, взглянув на недоуменное лицо старшего друга, рассмеялся вскинув голову.

Это, видимо, обидело старика, он насупленно бросил:

— Ничего смешного не вижу! — схватив лопату, он шагнул было к колодцу, но недалеко взвизгнули петли старой двери.

Оглянулись.

Из домика вышел молодой мужчина с помятым лицом. За ним воровато выглянула ссохшаяся женщина, быстро шмыгнула к воротам.

— Докатился парень! — качнул головой Илья.

— А ты его знаешь? — спросил Иче.

— Кто ж его не знает. Влас. Золотые руки были. Любый телевизор починить мог. Да вот что-то погнуло его.

— Бог в помощь! — Влас подошел к ним.

— Все бродишь? — вопросом ответил старик.

— А что мне... — Он опустил на холмик выброшенной земли, повел взглядом по двору:

— Семеновские владения, значит?

— Семеновские.

— Я б для этого жлоба и пальцем не пошевелил. Смотри-ка, еще и дома нет, а забор вон какой отгрохал: китайская стена! Паскудный мужик. Я б его в этом колодце и утопил.

— Чего это ты взъелся на него?

— Да так. Не переносу таких. Я, как собака кошек, всех сволочей за версту чую. — Он бегал глазами от старика на Иче.

— Поосторожней бы ты словами, — глухо укорнул Илья.

— Да я ж ничего... Извини, коли что... А возьми меня к себе. — Неожиданно он подхватил лежавшую у ствола лопату. — Помогу. На бутылку дашь и хватит. — Он тут же прыгнул в колодец. Фигура его полностью потонула в нем, лишь высывалась седая голова с припухшим лицом. Глаза выжидающе улыбались.

— Ты ж «для этого жлоба и пальцем бы не пошевелил», — подтрунил Иче.

— На слове ловишь? Так я ж не ему, а вам помогать хочу. А сволочь он и есть сволочь,— тараторила из ямы голова. — Я и не отказываюсь. Я б таких... Да-а. Все сейчас стройку затеяли. Что ни двор, то дом поднимается. Благосостояние... Только на чем строят? Душу человеческую в бетон замуровали и строят...

— Не любишь ты людей,— жалея, укорил старик.

— А где ты видишь их, людей? — Красные припухшие глаза в яме впились в лицо старика. — Где они? Люди! Денежному человеку задницу расцелуют, а упавшего дальше в пропасть спихнут. Растопчут и спихнут. И потом еще посмеиваться будут. Люди один закон признают: сильный, если он даже сволочь, челове-ек! И не важно, что он родного брата запросто так продаст... Но есть другой закон! — ораторствовала в яме седая голова:

— Пока есть на земле хоть один слабый — нет сильных! Что, не так? — глаза из колодца вскользь посмотрели на Иче.

Тот с улыбкой наблюдал за ним.

— Что, не так? — Влас прислонился спиной к стенке колодца. — Вот я слабый-слабый, а как достанут меня эти сильные, что невоготу, я их, как клопов!

Старик качнул головой:

— Ну и даешь...

— Что, не так? А ты сам любишь этих людей?

— А за что мне их не любить? Люди мне ничего плохого не сделали.

— Вот-вот. Вся ваша любовь до первого зла... А хочешь я докажу, что не любишь ты людей и не уважаешь их? Хочешь? — Влас тяжело выкарабкался из колодца.

— Ну, докажи.

— И докажу... Вот скажи, у тебя деньги есть?

— Ну и что?

— Ну и что! — Он закурил из лежавшей на стволе пачки, просмаковал пару затяжек. — Ну, допустим, у тебя деньги есть,— благодушно философствовал Влас. — Так вот, выйди сейчас на самое людное место и расскажи, что у тебя много денег. Скажешь? Не скажешь? А почему не скажешь? Потому что ты, Илья, испугаешься. Испугаешься, что тебя тут же и облопшат. Лишат тебя твоих сокровищ! А если ты сопротивляться будешь, и на тот свет ненароком откомандируют. Так что не выйдешь ты к людям с денежками. Наоборот: в какой-нибудь тайничок, подальше от тех же людей и заныкаешь. Вот и вся любовь.

Иче искоса глянул на старика. Тот, скрестив руки на медной литой груди, хмуро глядел в колодец:

— Если я и спрячу, то не от людей, а от сволочей,— глухо расставил старик.

— Хорошо ты повернул! Выкрутился! — посмеивался Влас.

— Не забывайся! — ткнул Илья. — Я не на суде у тебя! И запомни: я никогда и не перед кем не выкручивался. Понял? — он повысил голос.

— Ладно. Чего ты? — с некоторой неприязнью ответил Влас.

Сидевший в стороне обрубьш, глядя под ноги, сдерживаясь, проговорил:

— Поговорили, и хватит... Тебя там твоя девочка ждет...

— А ты чего? — усмехнулся тот.

— Иди по-хорошему,— Иче глянул в сторону.

— Я, по-моему, не с тобой разговаривал...

Иче стал перед сидевшим на стволе Власом, вцепился в ворот его рубашки, сорвал с места. Тот плюхнулся на колени, испуганно забормотал: — Че, шуток не понимаете? Пошутил я...

Иче разомкнул пальцы, брезгливо отвернувшись, потрусил руки.

— Иди своей дорогой,— попросил старик, на всякий случай ставший меж ними. — Давай.

Тот обошел холмик рыжей земли, затопал к воротам.

...Иче и старик молчаливо сидели на старом стволе.

Илья хмуро отбросил сигарету, сжал грудь.

— Ты чего? — насторожился Иче.

— Да Бог его знает... Пройдет...

— Жениться тебе надо, Илья, и все дела!

— Хоть завтра.

— А что? Seriously... Хочешь я тебе такую женщину найду! Мягкую, сладкую! Пальчики оближешь!

— Сам что ли пробовал? — сквозь боль улыбнулся старик.

— Ну что ты, Илья! Что я, совсем такая сволочь? Если б я попробовал, разве бы тебе предложил?

Рассмеялись.

#### 4

Отец с матерью возвращались с прогулки. Напали хулиганы. На глазах матери отца изрезали ножом. Мать без сознания попала в больницу. Долго болела. Она была беременна. Все это отразилось на ребенке. Он родился недоношенным и уродливым. Мать умерла при родах...

Такая легенда была придумана для Иче в Доме ребенка. Обрубьш поверил в нее: отчего-то ж он стал таким, каким стал. Он верил в это до самого последнего времени. Впрочем, обо всем этом он давно уже не думал.

Хотя, наверное, и не забывал. Эта легенда хранилась в его памяти, как хранится в потайном ящике семейный документ: до поры до времени не думаешь о нем...

И может быть, так и остался в памяти Иче образ героических родителей, если бы не актер.

И теперь обрубьш сидел в своей квартире один с той разломанной легендой, которая, как красивая маска, скрывала уродливую тайну.

Весь вечер из мозга не уходили слова Веры Арнольдovны, которая до самого последнего пыталась отговорить, не поднимать старых больничных документов.

Может быть, и не надо было. Как и многое другое. Как, наверное, не нужно было возвращаться сюда.

Актер. Стрелять! Всех стрелять! Иче подумал о своем пистолете.

Лучше бы не возвращаться.

И эта квартира, о которой он столько мечтал, становилась камерой пыток.

Иче сидел на диване за низким журнальным столиком. Налил полстакана водки, залпом выпил. Хрустнул огурцом.

Поймал себя на том, что все свои движения, мысли видятся со стороны, вызывая странные ощущения: вот он подвинул стакан, вот взял хлеб, поднес ко рту. Это он, обрубьш, сейчас сидит в этой пустынной квартире, и это в его комнату наплывают сумерки. Все это происходит с ним. Есть мир, и есть в этом мире он. Но все, что случилось с ним, кажется нелепой случайностью. Такая судьба должна была быть не у него. Он не заслуживал этой участи. Все происходящее с ним — нелепая паучья фантазия. Он, Иче, должен был бы жить иначе. Это не его жизнь, не его судьба и не его внешность! Но почему все это происходит с ним? Именно с ним?

Иче незаметно для себя поднялся, прошелся по комнате. Долго невидящими глазами смотрел в окно.

Скоро погаснет и этот день. Завтра придет новый. Только с новым днем все останется как было. И никуда не уйдет его боль, его непонимание и неприятие этого мира.

...Шут Паука.

Но тогда как жить с этим? Хотя кто заставляет жить? Иче внутренне усмехнулся: вон есть новенький «вальтер» с двумя обоймами, и хочешь — живи, а не хочешь — не живи. Хочешь — будь шутom, а не хочешь — никто не за-

ставляет... Можно бы и... «вальтера». Невелика потеря. Шутов хоть пруд пруди: вся земля...

Небеса похохатывали.

Иче налил себе водки.

Вспомнились девушка в зеленом платье, ее одинокая фигура среди довольных сытых рож и свое обещание: «Я приеду».

Надо брать машину и — к ней...

Он осмотрел себя: одет чисто, достал из кармана черную маленькую расческу, потопал в ванную. Открыв дверь, замер. Зеркало, еще оставшееся от старого хозяина, висело высоко.

Иче привалился плечом к дверному косяку, свесил голову. «Спа-си-тель».

Хмельными глазами он долго смотрел на старую пожелтевшую от воды и времени ванну, переполз через борт, вытянулся на ее сухом пыльном дне, сложил на груди ладони. Не хватало только свечки.

«Покойник» услышал, как гогочет над ним вся вселенная, надрывает черные, набитые дерьмом кишки. И даже одинокая девочка под деревом, взглянув на «усопшего», улыбнулась и затем... а затем Иче закинул ногу на поднятую уголкем коленку и хмельными голосом из пожелтевшей пасти ванны загорланил старую известную песню:

Широка страна моя родная!  
Много в ней лесов, полей и рек!  
Я другой такой страны не знаю,  
Где так счастлив был бы человек!

И вскинув руки над собой, певец, а теперь и дирижер, азартно повторил:

Я другой такой страны не знаю,  
Где так счастлив был бы человек!

Может быть, от песни, может, еще от чего-то, отчаяние обрубыша стало оборачиваться каким-то злым хмельным весельем.

Он выпрыгнул из ванны, принес из комнаты деревянный ящик, влез на него.

Вот теперь в самый раз: зеркало находилось на уровне лица, и даже пришлось чуточку подогнуть коленки.

Причесавшись, он нашел себя довольно симпатичным парнем с мужественным твердым подбородком и красивыми выразительными глазами.

Девочка в зеленом платье помахала ему из-под дерева ладошкой.



Иче отпихнул ящик под раковину и снова затянул песенку о стране, в которой, как нигде в мире водилось множество счастливых.

Он замкнул дверь, важно побренчав ключами, сбежал со ступенек. Старушки, сидевшие у подъезда на скамейке, хором поздоровались со своим новым жильцом и наградили его спину многозначительными улыбками: навеселе, мол, сосед.

...Водитель попался лихой свойский парень, и обрубьш, сидя на заднем сиденье, хмельно покашивая глазами, запел ему застрявшую в мозгу песню. Там, где надо, тянул от души, и, кажется, в те секунды, с удовлетворением отмечал, что выходит у него довольно неплохо.

... Я другой такой страны не знаю,  
Где так счастлив был бы человек!

Водитель, поймав в зеркале обзора глаза Иче, со снисходительной улыбкой поправил:

«... вольно дышит...»

Иче тут же принял поправку:

Я другой такой страны не знаю,  
Где так **ВОЛЬНО ДЫШИТ** человек!

Но вспомнилось испуганное лицо девочки из специнтерната: «... пусть спасут меня отсюда...»

Иче откинулся на сиденье. Безразлично смотрел в переднее стекло.

На глаза стал назойливо попадать свисавший с зеркала черный стеклянный чертик. Он висел на красной нитке, покачиваясь взад-вперед, словно на качелях.

— Тормози! — неожиданно бросил Иче опешившему водителю. — Поедем назад.

Водитель снова поймал в зеркале глаза Иче, пристально взглянул, но обрубьш отвел глаза.

Пропустив несколько встречных машин, повернули.

Чертик под стеклом от резкого разворота брыкнул крохотными копытцами, вертанулся на нитке.

На обратном пути остановились у придорожного кафе. Иче подбавил к выпитому еще полстакана и прихватил одну бутылку для старика.

## 5

Актер и старик сидели за столиком возле окошка.

По шагам в коридорчике они уже знали, что вошел Иче, и повернулись ко входу улыбающимися лицами.

Обрубьш пьяно стал в дверях.

— А мы тебя обыскались! — благодушно укорил актер и кивнул на бутылку в его руках. — И по какому случаю банкет?

Иче желчно усмехнулся:

— Банкет? А-а, банке-ет... — закричал он. — Илья! — он с грохотом поставил бутылку на стол. — Давай бокалы! — обрубьш волоком проташил к столу табурет. Сел.

Делая вид, что не замечает актера, словно и нет его в этой маленькой комнате, приблизил к старику лицо:

— Иче теперь не безродный. Иче знает, кто его родители.

Илья и актер обменялись одинаково глуповатыми улыбками, словно друг в дружку посветили два тусклых фонаря.

В комнате повисла скользкая тишина, будто рыба на крючке.

— И кто же? — с прежней глупой улыбкой выронил актер.

— Кто? — клюнул лицом к столу обрубьш и хмыкнул. — Кто... А ты! — тыкнул Иче не поднимая глаз.

Актер приоткрыл рот, оглушенно замер, словно ему подали детскую команду: «Замри!»

— Я?! — едва очухался он, неуверенно приложив палец к своей груди.

— А что я? Я бросал «уродцев» по детдомам? Я? — Обрубьш зло вlepил кулаком по столу.

Бутылка подскочила, свалилась и покатила по столу в сторону актера. Она перекатывалась целую вечность, то поблескивая прозрачным стеклом, то выпячивая зеленый бок этикетки.

На краю стола покачнулась и замерла.

— Господи! — ужаснулся актер, словно припомнил какую-то давнюю вину. — Господи! — Он свесил голову.

Илья сидел потупясь, забыв про дымившую в руке сигарету.

Обрубьш выхватил ее, жадно затянулся и зашелся в густом кашле, в минуту превратившись в сникшего старика.

Актер молчаливо плакал, пряча затуманенные от слез глаза.

Тяжело поднявшись, ссутулясь, словно оплеванная проститутка, вышел из комнаты.

Иче с ненавистью смахнул бутылку со стола, она грохнулась о стенку и разлетелась по комнате мокрыми осколками.

Актер оставил входную дверь открытой: в комнату отчетливо доносился быстрый и затихающий звук его шагов.

Трудное молчание разделило старика и обрубыша. Будто подняли мосты.

Оба сидели свесив головы, избегая смотреть друг на друга.

Иче встал, неловким движением низкого бедра опрокинул табурет, с прежним безмолвием потопал из комнаты.

— Уходишь? — глухо бросил старик в его короткую квадратную спину.

— Ухожу.

Старик остался в комнате один. Долго смотрел на стену — в темное пятно от разбившейся бутылки.

Короткий, семенящий шаг Иче стих.

## 6

Уже давно обрубыш сидел один в темной комнате. В домах напротив желтыми прямоугольниками светились окна.

Там тоже обитали люди. Ели, пили, объяснялись в любви. Может быть, ссорились и ненавидели друг друга. Но в их окнах горел свет.

Там хотели жить.

И какой бы нескладной ни была жизнь их, они зажигали свет и будут это делать завтра, послезавтра — изо дня в день.

В своем жадном стремлении жить люди похожи на путников, пробивающихся сквозь пургу.

И из-за ветра, что хлещет в лицо, сбивает с ног, люди не теряют желания жить, и, наоборот, это желание превращается в жажду, и путники с упрямством пробиваются сквозь смертельную непогоду, чтоб вот так однажды просто зажечь в своем доме окна.

Иче казалось, что он давно уже прибит метелью к земле, но у него нет ни малейшего желания подняться и наперекор всему идти.

Зачем одинокому уродцу освещать свою комнату? Разве чтоб обнажить ее пустынное и никчемное нутро?

Вспомнился старый сон: колодец... паук... жизнь...

... Самое страшное, когда у тебя есть дом, в котором некому улыбнуться.

Но теперь ему, Иче, было все равно. И он с какой-то отчетливостью осознал, что ему безразличен свет в тех окнах, безразлична своя жизнь, своя смерть, безразлично,

что пистолет остался у старика, безразлично, что будет после того, как все случится...

Обрубьш одиноким призраком выскользнул из темной комнаты, у входа в кухню надавил на выключатель.

На кухне вспыхнула висевшая без люстры лампочка, Иче плотно придавив плечом, закрыл зверь, задрал голову, посмотрел на форточку: закрыта.

Хмель от выпитого еще держал мозг, но все свои действия Иче видел отчетливо, с холодным безразличием.

Он стал возле газовой плиты: нескладный и не намного выше ее, с равнодушием автомата ввернул черные ключики, пустил газ из всех четырех конфорок.

Вырвавшийся из маленьких круглых отверстий газ по-змеинному зашипел, превратился в ровный шелест, похожий на скольжение автомашин.

Он придвинул к столу табурет, обхватив лицо короткими ладонями, уперся о стол локтями.

Время изменило скорость.

Мягко, по-кошачьи заурчал включившийся холодильник, проработав несколько минут, резко смолк и в навалившейся тишине снова отчетливо зашипели четыре газовые кобры.

В доме напротив давно погасли огни. Лишь одно-два окна, как забытые свечки, напоминали о съеденном темной высотном доме.

Иче сидел прислонившись к стене, бездумно глядя на газовую плиту, из которой размеренно выскользала его смерть.

Но все казалось безразличным. Душа была пустой, как покинутые птичьи гнезда.

Ночная прохлада забралась под рубашку. Иче вышел из кухни, вернулся с наброшенным на плечи пиджаком, снова плотно придавил дверь плечом и сел за свой столик.

Тело почувствовало прилив тепла.

Обрубьш долго неподвижно сидел опершись на локти.

Под закрытыми глазами обозначились темные круги. Казалось, головастый человек уснул, подперев лицо короткими руками.

И лишь когда поднимались припухшие, большие, как бабочки, веки, обнажались сухие бессонные глаза.

В какое-то время, стоило лишь сделать маленькое движение, остро ощущался приторно-чесночный запах газа. Но стоило снова застыть в неподвижной позе, этот тошнотный запах исчезал.

Обрубьш хорошо помнил, что никаких воспоминаний о прошедшей жизни, как это можно было прочитать в книж-

ках, не было вовсе. Не было жалости ни к себе, ни к уходящей жизни.

Единственно, что цепко впилося в память, это то, что он понял: что являлось самым страшным для самоубийц, что нужно было преодолеть. Это то, что имелась возможность. Возможность увидеть близкого человека, обнять его, попрощаться. И это был самый трудный барьер: ведь у тебя, пока ты еще жив, есть возможность последний раз увидеть, обнять, произнести простое человеческое слово.

Думая об этом, он вспомнил о девушке из интерната, ее просьбе, увиделись поникшие плечи старика и уходившая, а теперь оказывается навсегда, сгорбленная фигура актера.

И вот была возможность закрыть газовые краны и увидеть всех снова.

Иче сильнее укутался в пиджак.

Сколько времени он уже сидел за столиком не знал, наверняка, не один час. Бесперывно вытекавший газ не действовал.

Наверное, в те минуты Иче действительно была безразличной и, может быть, противной его жизнь: отрешенно он поставил свечку меж двух конфорок: пусть будет взрыв.

На секунду задумался, кажется, сделал над собой усилие, достал из коробки спичку.

Снова помедлил. Это должен был быть конец. Не зная сам, как это произошло, быстро чиркнул. Свеча загорелась... но и только...

Обрубаш вернулся на свое место и снова, обхватив ладонями голову, ждал. Ведь должен когда-нибудь воспламениться газ.

Шипели головки всех четырех конфорок, и при малейшем движении в грудь проникал приторный чесночный запах.

Ровно, изредка колыхаясь, горела свечка.

Незаметно стало светать.

Иче поднялся. Шагнул к плите и снова, точно пересиливая себя, замер. Бездумно смотрел на острое пламя.

В какую-то секунду неожиданно для себя он резко толкнул свечу на шипевшую конфорку.

Она мгновенно вспыхнула голубым тюльпаном, и вслед за ней одна за другой загорелись остальные три...

Но взрыва, который должен был произойти, не произошло.

Обрубаш долго, пока жар не задышал у лица, смотрел на четыре горевших тюльпана, четыре ядовитых цветка,

которые, казалось, по чьей-то воле непостижимо оставили ему жизнь...

Для чего-то он еще должен был остаться на земле.

... А потом пришел старик.

Ахнув, распахнул окна, двери, принялся проветривать загазованную квартиру.

— Пойдем ко мне! — приказал он, но в этом непривычном для него командирском тоне таилась боль.

Старик привел обрубьша к себе, постелил в «его» дальнейшей комнате:

— Надо выспаться! — бросил он и сокрушенно покачал головой, — Бог тебя спас, что пистолет у меня...

— Все отлично! — закуражился Иче. Он сидел на кровати, стаскивая носок. — Теперь я — Личность! Я смог ЭТО! Я убил Паука! — Царственным движением он отшвырнул носок к ножке кровати. — Ну как?! Творец я теперь или не Творец?! — Раздетый по пояс, Иче каким-то царьком восседал на кровати. Ждал.

— Ты бес, — незло и сокрушенно выдохнул старик, снова с укоризной покачал головой. — Ты сожрешь себя! Себя и — сам!

Обрубьш замер на кровати. В маленькой комнате стало тихо. Иче подумал о седобородом старце, мелькнула в памяти его быстрая улыбка и словно куда-то поманила.

— Теперь я знаю! — выдохнул Иче.

— Чего это ты знаешь? — Большая фигура Ильи заполнила проем двери.

— Я систему понял. Сначала все рождаются шутами. Но только они не знают этого. Потом каждый начинает понимать про себя, что он шут. А кто это понимает, тот делается или пауком, или старцем. В основном, все пауки. Старцев мало. Для того, чтоб не стать пауком, огромная воля нужна. Понял, старец? — Иче подмигнул ему.

— Понял... — польщенно прогудел старик. — Но только я никогда себя шутком и не чувствовал: пахал себе потихоньку, людям дома строил, сына растил.

Иче посмотрел на него. Поднялся. Босой на одну ногу, потопал к нему; близко, почти у самой груди, стал. Покрывив серую пуговицу на полосатой рубашке Ильи, поднял на него глаза:

— Я знаю одну мысль, которая всех, сразу всех чело- веков делает самыми смехотворными шутами. Всех! Самыми жалкими, смехотворными букашками. Люди увидят проститутку и плюют на нее. Но если каждому сказать эту мысль, она сделает того же плюющего грязнее самой дешевой шлюхи. Это страшная мысль!

— Меня не сделает, хотя я и не плевал ни в кого...

— Сделает...

— Ну скажи... — мол, посмотрим, расставил старик.

— Нет. Эту мысль говорить вслух нельзя. И никто еще ее не высказывал. Поэтому про нее как будто никто не знает. Но знают все. Просто делают вид, что т а к о е было не с ними... Но кто выскажет ЭТО вслух, тот уничтожит мир. Эта мысль и так незаметно развращает людей и опустошает их. Но если человек заговорит об этом вслух, всемир за одну секунду в грязи. Захлебнется в ней. Это жуткая мысль. Противная, как блевотина. И она делает всех блевотными шутами, кто бы ты там ни был: президент, священник, врач или хлебопашец... Всех презренными блевотными шутами. А тот, кто тыча смеется над другим, тот кроме того и еще глупец. И вот кто начинает понимать, что он гадливый шут, тот начинает становиться или старцем, или пауком. Тут и борьба. Это всем войнам война. И мало кто ее выдерживает. Многие даже, наоборот, с удовольствием становятся пауками. Поэтому старцев мало... Ведь у людей как? Нищий хочет, чтоб нищими стали все, больной — чтоб заболели остальные, а паук — заарканить другого.

— И все из-за одной-единственной мысли? — улыбнулся старик.

— Из-за одной. Хотя, чтоб понять, что ты блевотный шут, даже той мысли не надо... Хватит всего и без нее. А с ней... разве что газ пускать...

— Ладно! Уже пускал! — приструнил Илья. — Ложись! Отдохнуть надо. Вон какие глаза... Если не как у паука, то как у таракана точно.

— Я хочу, как у старца... — выдохнул Иче, стоя перед Ильей, и это признание сделало его большим ребенком.

— Сам же говорил «чтоб старцем»... нужно сильным быть. Без подлости...

— А я разве... — искренне забеспокоился Иче.

— Самоубийство и есть высшая подлость! — нашелся старик — Мертвец разве может стать твоим старцем? — Илья выглядел внушительно.

Обрубьш с улыбкой тепло пожал его локоть и, придав голосу беззащитность, взмолился:

— Налей водки, Илья! А то не заснуть...

— Ладно, налью, — волей-неволей проворчал старик.

Они вышли в переднюю комнату. Илья положил перед обрубьшем ломтик хлеба, разрезанный пополам мясистый сочный помидор.

Иче стоял у окна. Босой на одну ногу, провел по обнаженной мускулистой груди крепкой ладонью. Долго смотрел на сверкающий под лучом солнца стакан с водкой. Виновато выдохнул:

— И колодец сегодня из-за меня...

— Ладно, не казись.. Успеем и на колодец.

— И к той девочке не поехал... А наобещал... — снова вздохнул Иче. — Сука я!... Паук!...

— Ну вот выпишись и поезжай себе! — быстро вставил Илья, словно только этого и ждал.

— Не получится. Сегодня карты. Крупняк собирается...

Старик досадливо отмахнулся: делай как знаешь.

— Ну не сердись, Илья! Я ж тебя люблю! — взмолился обрубьш. — Я ж тебя как никого на свете люблю!

— «Люблю-ю», — передернул старик. — Любит он. — Но в его интонации уже не было ни досады, ни обиды, и, может быть, наоборот, проворчал, чтоб скрыть ставший у горла ком.

Иче подметил это, рассмеялся, поставив стакан, засеменил к сидевшему на койке старику, как щенок, подластился к нему, свойски ткнул в бок, и, заглянув в глаза, примитительно подмигнул.

Рассмеялись.

## 7

Иче шел к старику Науму, надеясь среди игроков встретить актера. Но Марка там не было.

Не пришел он и через час, и через два.

Поиграв часов до десяти, обрубьш вернулся к Илье.

## 8

Все эти дни после отъезда обрубьша Оксана думала только о нем, о его обещаний написать письмо в ООН и скоро снова приехать в интернат.

Шум какого-нибудь далекого автомобиля, где бы она не была — в спальне, на уроках, во дворе или столовой — отвлекал от всего, Оксана невольно подбиралась, напряженно вслушивалась.

Если звук мотора нарастал, с замершей душой она смотрела в сторону ворот: может быть, приехал ее маленький спаситель.

В интернате о нем уже ходили разные истории: миллионер, искал своего ребенка, какой-то начальник и что-то еще.



У Оксаны была своя тайна, которая приближала ее к этому таинственному и недоступному для других человеку. Эта тайна делала его чуточку своим. Но, может быть, и больше.

Ей порой виделся берег какого-то необитаемого острова: золотистый нежный песок, прозрачные изумрудные волны океана, которые мягко подкатывали и тепло омывали ноги. В синем небе светило солнце, высокое и ласковое. И на этом берегу только она и он. И больше никого. Она жалеет маленького человечка, готовит ему еду, чинит одежду, говорит добрые, хорошие слова. И им совсем не одиноко на этом необитаемом острове.

В каждую минуту, когда оставалась одна, Оксана складывала у груди ладошки и еле слышно просила Бога, чтоб ее новый друг поскорее отправил письмо в Америку.

О том, что он мог не написать, она боялась и думать.

Оксана часто поглядывала в сторону ворот и замечала подслеживающий глаз Катерины. Были и назойливые вопросы некоторых девочек: а что говорил ей этот «миллионер», что сказала она... и еще другие, наверняка, заготовленные Катькой.

Тайну свою Оксана никому не открывала, просто тихо ждала, стараясь ничем не навлекать гнева воспитателей, а самое главное, Катерины.

Больше всех Оксана боялась хромого интернатовского сторожа Филиппа. Если случалось, что тот оказывался неподалеку, таилась от него, пряталась от его впивавшихся, каких-то липких глаз. И на всякий случай держала за носком стеклышко.

В этот вечерний час она сидела на лавочке под развесистым кленом. За спиной слышался шелест приминаемой травы, треск сухих веток. Она испуганно обернулась: в двух шагах стоял хромой сторож, жадно оглядывал ее. Она поднялась, пригладила к коленям платье, невольно отступила на шаг.

— Чего ты так вспорхнула, голубка? — подсластил он, сел на лавочку, достал из кармана брюк знакомую школьную тетрадку. Натянута улыбаясь, поддразнил ее и другой рукой за ладонь привлек Оксану, усадил рядом.

— Видишь: никому не отдал. Жалею тебя. А то ведь в Дом инвалидов... — глядя своими немигающими липкими глазами, он прижался боком. От него понесло едким вонючим потом, смешанным с гнилым запахом изо рта. — А ты будь умницей. — Поддрагивающими пальцами коснулся ее колени, потной ладонью пополз по упругой белой ноге.

Оксана испуганно вскрикнула. Вырвалась из попытавшейся ее удержать гадливой руки и стремглав, боясь оглянуться, побежала к зданию.

Раздраженным взглядом смотрел в ее мелькавшую спину тяжело дышавший сторож.

9

...Иче со стариком вынесли из заброшенного домика инструменты, прошли к колодцу, сели «перекурить» на своем стволе-скамейке.

Илья долго смотрел на черный зев четырехугольной ямы, поднял горсть рыхлой земли, размял. Вытянув перед собой тяжелый, загруженный кулак, стал медленно просыпать.

— Сколько я ее уже переброеал. — Он и сам удивленно качнул головой.

— Немного побросал... — с уважением и понимающе ответил Иче, представив сколько это могло бы быть.

Старик сапогом вдавил окурок, легко подхватил лопату, стал спускаться по сколоченной им же лестнице.

— Илья, деньги того старика найдешь, громко не кричи! — весело бросил обрубыш.

— Добро! — Тот уже опустилса в колодец во весь рост, собирался спрыгнуть с лестницы на дно, но на глаза попала сетка паутины. В сердцевине ее, как в силках, была запутана уже высохшая, поеденная пауком муха.

Зависла над углом колодца паутина легкой треуголкой. Чем больше всматривался в нее старик, тем непривычней и удивительней казались эти ювелирно сплетенные нити. Западня.

Илья пораженно качнул головой: надо же такое... Западня...

Вспомнились слова обрубыша: «...сеть паука».

Старик с улыбкой уперся о край колодца, из-под пальцев скатились комочки земли. Один из них, величиною со спичечную головку, ткнулся в паутину рядом с мухой, задрожав замер. Тут же, откуда-то из угла, быстро перебирая ножками, словно боясь не подоспеть к добыче, торопливо, по-хозяйски засеменял паук. Вдруг, словно что-то поняв, так же торопливо повернул обратно.

«Узнал, сучка, что не жратва!» — невольно восхитился старик, снова качнув седой головой.

Он сел на лестничную перекладину, уткнувшись глазами в дно колодца.

Вспомнилась жена, сгусток ее крови на дороге, перекошенный автомобиль; пробежала вся его одинокая жизнь и показалось, что в эти мгновенья душа его испытала всю ту боль и горечь, что так усердно проливает на человеческую жизнь чья-то паскудная воля.

И увиделась вся жизнь этой паутиной в огромном стремительном колодце.

— Чело-век... — выдохнул он.

А наверху, сидя на спиленном высохшем стволе, заду-мавшись, сидел Иче. Вдруг, взглянув на колодец, удивился:

— Чего ты молчишь, Илья? — И усмехнулся. — Клад того старика нашел?

Над краем колодца показалась седая голова. Старик выбрался наверх, молчаливо подсел к товарищу, закурил. Шершавая ладонь обрубыша вопросительно легла на плечо.

— Что-то сердце немного побежало, — ответил тот.

— Еще и сигареты куришь. Бросай курить.

Илья смотрел под ноги и, кажется, не слышал слов обрубыша.

— Жену свою вспомнил, — глухо проговорил он. — Всю жизнь свою человеческую. Сколько горя приносит человеку этот мир! Страшно подумать! Сколько горя! Мы вот за кусок хлеба, за каплю радости, как сволочи, вкалываем, терпим все, горе, беды, а что ждет нас, в какую паучью сеть попадем, не знаем. А с миром ничего не случается. Он стоит себе. Горе у тебя, не горе, смерть, не смерть — он стоит. С миром ничего не случается. — Он посмотрел на открытую пасть колодца, потом перевел глаза на беспечное долгое небо и с ударением расставил. — Человек справедливее мира.

Обрубыш пристально взглянул на старика:

— Я думал, ты там клад нашел, а ты там паучью сеть увидел...

— Увидел... — невесело согласился старик.

Молчали.

— Мир — это дьявольский ростовщик: цену жизни понизил и дерет бешеные проценты. За крохотные радости, за эти подачки расплачиваемся унижениями, болью, собственной смертью.

— А что поделаешь? — вздохнул старик.

— И газ... не помогает... — улыбнулся обрубыш.

— Не напоминал бы ты про это, — проворчал Илья.

— Виноват-виноват, — вскинув ладони, сдался Иче, молодцевато поднялся. — Пойдем посмотрим, где ты там паутину нашел... — И спустился в колодец.

— Иче, когда деньги того старика найдешь, громко не кричи! — поддел его старик.

Из колодца донесся приглушенный смех.

## 10

После работы на колодце и прохладного душа было хорошо в автомобиле, откинувшись на заднем сиденье, прикрыв глаза слушать успокаивающий посвист законного ветра.

Приятная усталость и быстрая езда мягко пьянили.

— Отдохну малость,— словно извинился Иче перед водителем, но тому видно было не по нутру вести с пассажирами беседы-разговоры, он лишь ниже, на самый нос, нагнул козырек фуражки, неотрывно глядя на пульсирующую впереди дорогу.

В салон потек неприятный запах. Иче краем глаза глянул в окно, хотя и без того знал, что сейчас они проезжали мимо химического комбината.

— Как они там работают... — полувопросом произнес он, и вспомнилась недавняя, но, кажется, сто лет назад прошедшая ночь: пущенный в кухне газ, приторный чесночный запах.

Всякое воспоминание об этом вызывало невольное удивление: словно и вправду существовал Некто, который в ту ночь увел от него смерть.

Мысли б этом придавали и куражу: ведь он смог, перешагнул, победил страх смерти.

Но теперь это вызывало усмешку. В душе появилась еще одна опустошенная камера.

Душа порой и смахивает на ту тюрьму из камер, из которой выводят на казнь обреченных ее обитателей. С каждым убитым появляются новые пустые «люксы».

Иче внутренне усмехнулся, представив, как из этой «тюрьмы» выводят несчастных: вот вывели на расстрел когда-то красивую и стройную, а теперь высохшую, чахоточную дамочку Веру, через определенный срок вытаскивают облезлого мужичонку Секса. За ним со впавшими щеками и впалой грудью ковыляет бывший розовощекий гуляка Гурман, а вот, гремя кандалами, еле передвигая тонкие ноги, плетется, когда-то гордая и бесстрашная, мадам Свобода. Ждут своего часа обезображенные в камерах Надежда и Любовь.

По миру периодически разносятся выстрелы: один, второй, третий. Одна опустошенная камера, вторая, третья.

И вот уже количество обреченных исчерпано. А если кто и разгуливает по опустевшей тюрьме, то это безмозглый ветер времени.

...Специнтернат находился в стороне от главной дороги, и чтоб попасть к нему, нужно было свернуть и проехать по асфальтовой ленте метров пятьдесят.

Уже издалека над глухим высоким забором виднелась колючая проволока. Незнающему и в голову б не пришло, что это не зона.

Машину поставили перед воротами у обочины.

Водитель вышел поразмяться, Иче потопал к дверям проходной, в которой уже раскрывало свои объятия пьяное неряшливое существо:

— Какие люди к нам! — пропитым голосом хрипнул сторож.

Откуда-то из-под его ног вынырнула маленькая рыжая шавка, набросилась на Иче. Яростно лаяла, свирепо скаля маленькие острые зубки.

— Уть, шлюха! — прикрикнул сторож. — Пошла!

Обрубыш нагнулся к асфальту, будто за камнем. Шавка метнулась в подворотню, высунув свой раздувшийся рыжий нос.

— Ты где такого волкодава нашел? — поддел обрубыш хромого.

— А хрен ее знает. Сколько помню, она всегда тут, — отмахнулся сторож, протянул руку Иче. — Заходи. Гостем будешь.

Они зашли в узкий, как пенал, коридорчик: своеобразный КПП. Этот «КПП» больше походил на маленький вагончик с тамбуром. Вагончик для сторожа тамбур, чтоб проходить через него на территорию.

Из тамбура вошли в вагончик. Сторож услужливо предложил место у низкого окна, видно, своего наблюдательного пункта, из которого хорошо просматривалась ведущая к интернату дорога. У окошка стоял обшарпанный канцелярский стол с таким же ободраным, наверняка, где-то подобранным креслом.

— Позови ту девочку... Помнишь? — Иче сел в кресло, брезгливо убрав руки с засаленных красных подлокотников.

— Помню, а как не помнить... Оксаночка, — многозначительно пропел Филипп и развел руками. — Помнить-то мы помним, но режим. Нельзя.

— Не переживай. Положенное получишь, — поторопил его Иче.

Сторож прикинулся обиженным: мол, его не так поняли, что здесь-де порядки, хозяин строгий, можно и с работы полететь... Но... но для хорошего человека на все пойти можно. Тем более, что сейчас вечер, директора нет, а воспитатель, который дежурит «ныне», свой мужик: подкинуть ему «бумажку-другую», и все в порядке.

Иче сунул в заскорузлую руку охранника «одну-другую бумажку», тот мгновенно засветился, как включенный фонарь, молодецкато козырнул:

— Все сделаем, командир! — И захромал на территорию.

Иче остался ждать в этом вагончике, похожем на стариковскую комнату, с таким же низким потолком и приземистым окошком.

Но вместо кровати под стенкой стоял самодельный, покрытый солдатским одеялом, топчан.

Оглядывая неопрятное нутро этой комнаты, обрубьш с кольнувшим сердцем вспомнил, как много лет назад, после его очередного побега, протаскивали за шиворот через эту же проходную. Волокли, как беглого зэка. Впрочем, жизнь здесь ничем не отличалась от жизни на зоне.

Иче посмотрел в окно. Его шофер в надвинутой на лоб фуражке, закинув руки за спину, вышагивал взад-вперед вдоль своего красного автомобиля, как петух возле курятника.

Из коридора слышались шаги, раскрылась дверь, и в ней стала робкая фигурка Оксаны.

За ее спиной в многозначительной и угодливой улыбке расплывалось лицо сторожа, как замусоленный циферблат, из которого, только прикажи, лакейски выключет кукушка: ку-ку, ку-ку.

Оксана, робко сделав шаг в сторону, припала плечом к стенке, упрятав ладони за гибкую спину. Тихо посмотрела.

Сторож что-то мялся в двери, как шавка на задних лапках:

— Вот, командир, ваше приказание... так сказать... — И заговорчески кивнул в сторону невидимого здания. — Там все на мази... «Бумажки» ему я отдал.

Иче отвернулся от замызганного «циферблата» в окно, достав из нагрудного кармана рубашки несколько купюр, бросил на стол:

— Сбегай для себя в магазин.

Два припухших глаза жадно клюнули по деньгам, как петух по просу, и «хромоногая птица», прихватив купюры, молодецкато выпорхнула из вагончика в тамбур.

Услужливо закрывая за собой дверь, сторож свойски подмигнул: действуй, мол, не теряйся.

Обрубьш неприятно увел глаза в окно.

Через секунду в окошке, как стрелка на весах, забила из стороны в сторону хромающая спина сторожа.

Иче посмотрел на Оксану. Она все также стояла, заведя ладони за спину, припав плечами к стене.

Зависла сочная, как спелая вишня, пауза.

Оксана и сама походила на налитую соками ягоду.

— Ну что, привет? — наконец, нашелся Иче. — Да ты проходи, садись. — Он кивнул на стоявшую подле нее скамейку.

Она присела на краешек, посмотрела долгим взглядом.

Обрубьш невольно улыбнулся.

— Вы написали? — с надеждой спросила она.

Иче беспомощно развел руками:

— Я ведь и имени твоего не знал.

Она огорченно опустила голову, и по щекам потекли шелковистые светлые пряди:

— Это я виновата, — выдохнула она.

— Ничего, не последний день на земле... Что-нибудь придумаем. Ты лучше скажи, как ты здесь? Пристают?

Она еле заметно кивнула.

Помолчали.

— Ты должна мне сказать кто... — потребовал Иче.

— Он сказал, если я его выдам, меня отправят в Дом инвалидов... И сделают, что хотели...

— Шакалы! Я должен знать — кто...

Оксана оглянулась на дверь и после долгой борьбы с собой выдохнула:

— Сторож...

— Этот хромой? — неподдельно удивился Иче.

Она растерянно кивнула.

В комнатенке стало тихо.

— Мразь! — процедил Иче. Протарабанив пальцами по столу, задумался, выдвинул ящичек стола. Не найдя ничего кроме кривого шарикового стержня, для пробы почеркал им по лежавшей на столе газете и затем на свободной от шрифта полосе написал адрес старика.

Пересев на скамью к Оксане, протянул белый клочок с адресом:

— Если что, беги сюда. Это дом моего друга. Он, между прочим, и меня спас отсюда. Я сейчас у него живу. Поняла?

Она кивнула, пробежав глазами по адресу, бережно свернула его, положив в кармашек плаття. Пригласила

поверху и в глазах мелькнули счастливые искорки. Благодарно взглянула. Иче легко пожал ей локоть:

— И не бойся! — он заговорчески подмигнул ей. — Страх хуже всего.

— А я и не боюсь. У меня стеклышко. — Она показала на левый носок, за которым, если присмотреться, было что-то припрятано. — Если что, я стеклышко в рот... Чтоб проглотить... Не тронут.

Иче удивленно замер. Кольнуло сердце. Он поднялся, стал перед ней. Хотелось привлечь к себе эту опущенную головку, приласкать, и, кажется, уже приподнялась рука, но, неловко зависнув, опустилась.

В эту секунду она подняла глаза, что-то поняв в его и в своей растерянности, сама припала щекой к его плечу.

Затихла.

Лицо Иче окунулось в шелковистую душистую волну, он стоял неподвижно, превратившись в одно задохнувшееся сердце. Надломленными ветками свисали позабытые им свои же руки.

Наконец, обрубыш вспомнил про них, пригладил притихшую на его груди голову, с хрипотцой проговорил:

— Все будет хорошо! Вот увидешь — ты выберешься отсюда.

— Это невозможно. Это если кто удочерит... Может замуж возьмет. Но кому охота... отсюда. Даже если он самый добрый, — она замолчала.

— Я тебя заберу! — выронил Иче, пьянея от ее близости.

Оксана выпрямилась, неверящими глазами заглянула ему в лицо:

— Вы женитесь на мне?

Иче, словно застигнутый врасплох, виновато улыбнулся:

— Какой же из меня жених... Я ведь старый... И вон какой, страшный, обрубыш...

— Не говорите так! Ничего вы не страшный и никакой не обрубыш. Вы хороший! Вы очень хороший! Вы добрый — защebetала она снова и сильнее прижалась к нему:

— Возьмите меня в жены! Пожалуйста!

И снова он превратился в сплошное задохнувшееся сердце.

Дверь толкнули, словно открылся альбом, и показалась довольная физиономия.

— Пардон! — лисьи улыбнулись глазки, увидев прижавшуюся друг к другу парочку. Рука сторожа потекла было к ручке двери, чтоб закрыть, но Иче небрежно бросил:

— Заходи, герой. Поговорить надо.



Тот, чуть ли не на цыпочках, ступил в комнату, уведя за спину руку с бутылкой.

Иче взял Оксану за плечи.

— Иди. Я приеду за тобой. Обязательно. — Он ободряюще подбросил подбородком, точно подмигнул.

Оксана поднялась, вопросительно глянув на него, неожиданно склонилась к нему, торопливо чмокнула куда-то в висок и выбежала из вагончика. В сердце обрубьша стрельнуло.

— А ничего ягодка! — свойски одобрил сторож. — Ты парень не промах!

Иче с ненавистью шагнул на него, словно в эту секунду в нем собралась боль от его исхлестанного детства, боль Оксаны и боль десятков других детей, так униженных специнтернатами.

— Ты чего? — испуганно отступил хромой.

Обрубьш вырвал из его рук бутылку.

— Ты чего? — пятился тот, как от взъярившегося бычка. Ткнувшись ногами в топчан, неловко завалился на бок.

Обрубьш ударил бутылкой о стену, осколки стекла и брызги водки посыпались на сторожа.

Иче приставил к его горлу острый, оставшийся в руках осколок, хрипло процедил:

— Если ты еще хоть пальцем тронешь ее, я тебя, сука вонючая, уем! Понял!

Тот замычал, испуганно заморгал враз протрезвевшими глазами.

Обрубьш брезгливо сплюнул, дойдя до двери вспомнил, что горлышко бутылки еще в руках, отшвырнул его в сторону топчана, на котором валялся хромой.

Ударил дверью.

## 11

...Под вечер снова настигла боль. Войдя под лопаткой, проникла в грудь и холодными сетями стала душить сердце.

— Что это? — Илья впервые остро почувствовал тревогу.

Подумалось о сыне, его будущем.

Старик поднялся из-за стола, медленно вышел в коридор, распахнул дверь. Свежая волна воздуха растеклась по груди. Илья облокотился о дверной косяк, прикрыл глаза.

«Может, прилечь?» — подумалось ему и тут же с горькой усмешкой стало: «Уже и прилечь»...

...Старик сел на кровать, прислушиваясь к боли, впервые за много лет подумал: «Лекарство». Но в доме не было ни одной таблетки, ни одного флакона.

Илья вытянулся на постели, закрыл глаза.

Он, кажется, уже засыпал, когда по двору послышался семенящий шаг. «Иче»,— узнал он, сутуло сел на кровати.

Обрубаш в вопросительно посмотрел из дверей:

— Ты чего?

— Да так, ничего. Сдавило немного...

Иче поставил подле койки табурет, сел.

— Может, колодец отложить... — полувопросом произнес он.

— Зачем?

Иче пожал плечами.

Молчали.

— Знаешь что... — старик поднялся. — Одна такая просьба к тебе...

Маленькая комната и все в ней: скудная мебель, телевизор на тумбочке и даже рассыпанные по столу крохи хлеба — все, казалось, затаило немое ожидание. Лишь будильник на телевизоре, как беспокойное сердце комнаты, выстукивал торопливый ритм.

— Знаешь что... одну мою просьбу выполнишь, если что? — Илья отвел глаза в сторону. — Пойдем на секунду...

Они прошли во вторую комнату. Старик стал у сундука:

— Отодвинь.

Иче стронул сундук с места, протащил в сторону.

Старик отнял одну короткую, с хорошо сохранившейся краской половицу, до плеча отпустил руку под пол, нащупал тайник, извлек железную коробку. Свалывшаяся паутина беспорядочно обвила ее. Коробка была самодельной, размерами с кирпич, с пятнами ржавчины по бокам.

Илья обчистил ее ладонью, поставил на сундук. Достав красный тряпичный мешочек, вынул из него три пачки зеленых купюр, туго перевязанных крест-накрест. На дне коробки лежал огрызок простого карандаша с желтой облупившейся краской и рядом — сложенный вдвое листок, пожелтевший от времени и с длинным рядом цифр, видно записанных для памяти.

— Все мои сбережения,— кивнул старик. — Если что — передашь сыну.

— О чем ты говоришь! — отмахнулся тот.

Илья мягко пожал его низкое плечо, глянул сверху: — Договорились?

— Договорились так договорились! — нарочито беспечно бросил Иче.

Все вернулись на свои места.

— Илья, а где пистолет? — как бы между прочим вспомнил Иче.

Старик ткнул в него вопросительным взглядом, незло проворчал:

— Тебе нельзя пистолет...

Обрубьш рассмеялся:

— Нет серьезно, Илья?

— Да где ж ему быть. Где положили, там и лежит...

— Уважаю тебя,— с улыбкой произнес Иче,— только ты не бойсь. Я не окочурюсь: кто-то хочет, чтоб я жил вечно. — И с азартом предложил: — Ну что, чайку?

— Чайку.

Сидели за своим столом у окошка...

— В свою смерть человек не верит до самого конца,— старик покручивал в руках дымящий стакан,— потому, что существует последняя секунда, надежда на нее, что она всегда есть в запасе. Да, ты умрешь, но не сейчас, может через мгновенье, но не сейчас. Проходят мгновенье и даже надежда: не сейчас, сейчас быть не может, еще будет одна секунда. И только агония обрывает все. Но та последняя секунда так и остается.

— Почти что бессмертие,— обрубьш сидел у окна напротив старика, шумно отхлебнул горячего чая.

— Ну да,— посмеялся тот.

«Я не хочу бессмертия...» — вспомнился обрубьшу какой-то давний разговор.

— Если человека посадить в одиночную камеру и постоянно капать по одной капле на голову: кап, кап, что с ним будет, а? — с лукавством обрубьш посмотрел на склонившегося над столом старика.

— Свихнется,— знающе ответил тот.

— Вот так и бессмертие. Бессмертие — пытка вопросами. А вопросы как капли на голову. Вот ты живешь сотню лет, а на тебя одни и те же вопросы: кап, кап, кап, вторую сотню лет, тоже кап, кап. И так бесконечно... Такую пытку не осилить. Крыша поедет точно.

Илья посмеялся.

Молчали.

— Все будет хорошо!... Актера бы надо повидать,— в раздумье переключился Иче. — Сегодня уже поздно. — Он посмотрел в ночное, подсвеченное уличным фонарем окно.

И из мыслей не выходила Оксана.

Хозяин двора, где Иче со стариком вытягивали колодец, подогнал бульдозер. Нужно было расчистить и разровнять площадку перед домиком и забором.

На участке стало веселей: почти настоящая стройка.

Бульдозеристом оказался веселый мужичок с юркими маленькими глазками. Он охотно и для забавы взял обрубыша в свои «ученики», и как только на колодце появлялся какой-нибудь перекур, обрубыш семенил к грохотавшей на всю округу машине.

Пару раз с детским ликованием проехал по периметру площадки, ощущая себя лихим танкистом.

Старик с улыбкой наблюдал за сияющей в кабине физиономией Иче: вроде бы тот обрубыш, да и не тот.

Но бывали и другие минуты, когда Иче, думая о чем-то, нервно вышагивал вдоль колодца с опущенными к земле глазами: будто какая-то мысль, как зверушка в клетке, металась в его душе и не находила выхода.

Старик понимал: обрубыш думал об Оксане.

— Ничего у меня не болит. Все прошло. И сил у меня хватит еще на тысячу колодцев. — Илья сказал обрубышу неправду, и они снова пришли к колодцу.

Утреннее солнце уже приподнялось над горизонтом, и погода стояла самая рабочая. Старик и обрубыш переоделись, с минуту посидели на своей скамейке.

— Хорошо бы потом попариться, старые косточки согреть, а Илья? — Иче шутливо посмотрел на него.

— Можно бы.

— Возьмем хороший веничек... я из твоей спины мочалочку сделаю. Хорошую мочалочку. Помолодеешь, Илья, красивых пухленьких девочек захочешь! — он вскинул большим пальцем.

— Что, пухленькие нравятся?

— Нравятся! И пухленькие, и не пухленькие, а что еще есть в этом мире?

— Все твоей Оксане расскажу, — пригрозил старик.

— Она не моя... Да и не будет... Просто нужно спасти девчонку.

— Спасешь!

Обрубыш короткой палочкой что-то ковырял в земле, но, казалось, не замечал своих действий, делал все машинально.

— Может, я напрасно эту сволочь...? — он вдруг напомнил о стороже.

Старик молчал.

— Не могу ничего делать: ни жрать, ни спать! — Он нервно отшвырнул палку в колодец. — Идиот я! Не нужно было рисоваться! — И вдруг переменялся тоном. — А может поехать, а?

— Документы надо делать! — с основательностью рассудил старик.

Молчали.

Иче сбросил в колодец ведро, лопаты, молчаливо стал на верхние перекладины лестницы, спустился на дно, вскинул голову: наверху виднелся лишь маленький осколок неба, словно выброшенный из колодца каким-то мощным выстрелом.

Иче пристроил на одной из лестничных перекладин карманный тускло светящий фонарь, подвязал ведро к веревке.

Набросав в него земли, несколько раз дернул за шнур, просигналив старику подъем. Через секунду ведро сорвалось с места, поползло вверх.

Илья, стоя над краем колодца, перебирая веревку руками, вытянул ведро, сбросив глину, осторожно опустил его в колодец.

Старик посмотрел на внушительный холм земли, достал сигарету, подумал, отшвырнул ее.

«Сколько перебросали этой глины», — думал он, и припомнилось, как начинали, те первые дни, когда спорилась, бодро шла работа и как дальше, с каждым метром, приходилось труднее.

Чем больше они уходили в землю, тем тяжелее становилась она.

Сейчас темный ствол колодца уже уходил на шестой метр.

...Воды еще не было...

Илья сменил обрубыша.

Шестой метр казался равным всем пяти.

Сбивалось дыхание. Часто вытирая пот, стесненными движениями старик наполнял ведро.

Время потеряло свой счет. И ничего не было в мире, кроме этих влажных стен, этой стремительной душной коробки, тускло освещенной карманным фонарем.

Духота.

Набрасывая очередной пласт, Илья вдруг почувствовал, как под лопаткой вошла боль и железными сетями стала душить сердце.

Стараясь не вслушиваться в нее, старик наставил штык лопаты и усилием всего тела, чувствуя тугое сопротивление земли, утопил штык, оторвал пласт и перенес в ведро.

— Ничего... Сейчас... Сейчас пройдет... — приборматовал он, будто пытался заговорить боль. Но железные сети сильнее душили сердце.

«...уходить, надо уходить...» — мелькнуло в голове.

Илья дернул веревку. Еще раз.

Веревка туго натянулась, вырвалась из руки, сорвала ведро со дна. Поднимаясь, оно ударило в плечо.

Старик тяжело ступил на лестницу.

Каждая переключина давалась с большим трудом, словно к ногам был привязан тяжелый, влекущий ко дну груз. Что-то ударившись о спину, скользнуло вниз, глухо влипло в землю.

«Иче вернул ведро...» — сработало сознание. Мысль об Иче придала сил, но и они метр за метром гасли.

Илья припал к лестнице, долгую секунду стоял прижавшись к переключинам.

Нужно было подниматься. Из последних сил, но карабкаться вверх. Ноги слабели больше.

Наконец, осколок неба разросся и уже был дышащим, как распахнутое окно.

Старик поднял руку и, сжав над собой переключину, словно впившись в раму спасительного окна, поднялся еще на ступень, на другую.

Иче, настороженный тем, что старик долго не подавал сигнала, уже склонившись над краем колодца, обхватил плечи его, помогал ему выбраться.

С его помощью Илья проковылял к холму земли, полулежа привалился к ней спиной.

— Может, «скорую»? — тревожно стоял над ним Иче.

— Не надо. Сейчас пройдет.

Поползли медленные, напряженные секунды.

Наконец, прихлопнув по земле тяжелой ладонью, старик устало выдохнул:

— Прошло...

Следом легко вздохнул и обрубых:

— Все! — он топориком поставил ладонь. — С сегодняшнего дня никаких лопат... Идем к врачу. Так дело не пойдет! — превратился он в маленького ворчливого старичка.

Директор специнтерната сживал на своей должности около семи лет.

За это время он трижды сменил в своем кабинете мебель, дважды металлические оконные решетки, и за эти годы еще больше напозли на его веки мохнатые брови, в которых, как в силках, затерялись круглые глаза.

Директору было сорок семь. Больше всего он любил чрезвычайные построения и совещания.

Школьная тетрадь Оксаны, подсунутая хромым Филиппом, вытягивала на все сразу: и на построения, и на совещания.

Еще бы, произошло не какое-нибудь происшествие, а настоящая политическая провокация: интернатовцы — и письмо в ООН?! Это должно быть уничтожено в зародыше.

И кабинет директора походил на штаб по ликвидации стихийного бедствия: озабоченные лица, доклады, поручения...

Воспитатели по всем углам переворошили спальню, выискивая не зная что, но опасное, как подложенная террористами бомба.

Оксану обыскали, как резидента вражеских спецслужб, и на стол директору было положено два вещдока: стеклышко и газетный обрывок с чьим-то адресом.

После тщательных дознаний, вконец растерянную, с заплаканными глазами, «преступницу» отдали Катьке и ее взводу, пообещав ей для лечения мозгов Дом инвалидов.

Катерина выстроила в спальне свою юбочную команду в две шеренги: те же болезненные физиономии и среди них, словно случайные, обыкновенные девичьи лица.

Перед строем, втянув голову в плечи, понуро стояла Оксана, ждала своей участи — приговора Катерины.

Катька важно вышагивала вдоль выпирающих грудей и на ее мужеподобной физиономии самодовольно восседали два хищных глаза.

Катерине предстояло решить вопрос вопросов: как наказать преступницу, совершившую такой подлый поступок.

Проходя мимо Оксаны, она смерила ее карающим взглядом, забросила руки за спину. Где-то в конце шеренги, став напротив грудастой рыжей девицы, у которой изо рта стекала пенная дорожка слюны, гаркнула:

— Утрись, скотина!

Та припечатала растопыренной пятерней по отвислым губам, размазав слюну по всему лицу.

— Животные! — орала Катька с фланга, оглядывая строй. Зло затопав к середине, скомандовала:

— Круг! Все — круг!

Строй неуклюже развалился, разноюбочная команда,

толкаясь, суетясь, долго собиралась в вытянувшийся в проходе эллипс.

В центре его оказались Оксана и Катерина.

«Солдаты» уже знали, какая им предстоит задача; и кто неловко переминался с ноги на ногу, кто стоял, ткнувшись глазами в пол.

Оксана с мольбой повела глазами по лицам.

— Девочки, не надо! Родненькие, я прошу вас! — дрогнувший голос задохнулся в насупленном круге.

— Катерина, не бейте! Не бейте меня! — она умоляюще тронула ее за локоть.

Та резко отбросила ее руку, рывкнула:

— А доносы писать не больно?! — И изо всех сил толкнула ее в плечо.

Оксана, споткнувшись, разбросав руки, отлетела в сторону, где ее уже поджидали растопыренные, готовые снова отпихнуть ладони.

Фигура Оксаны билась в кругу от одних рук к другим.

С каждым ударом теснее сжимался круг, азартнее горели глаза, жадно рвались к центру напряженные пальцы.

Катерина взобралась на кровать, пружиня на ней, как на батуте, с диким ликованием бросала на сходящиеся в одно месиво головы.

— Так! Так! Давай! Давай!

Кольцо превратилось в кипящий ком из бьющих рук, ног, в какое-то злобное месиво.

Вдруг из него вырвался отчаянный и резко оборвавшийся тонкий крик «Мамочка!»

Озлобленный ком как-то внезапно рассыпался, спины выпрямились, словно пальцы разжавшегося кулака.

Замершие, лихорадочно горящие глаза впились в центр круга: Оксана лежала поджав ноги, словно все еще береглась от ударов.

Но затихшая словно заснула.

Катерина спрыгнула с кровати, наклонилась над ней, за волосы подняв голову, прислушалась к дыханию.

— Никуда не денется, курва! Очухается! — она разжала пальцы. Шелковистые волосы стекли сквозь них, голова Оксаны ударилась об пол.

Катерина подняла глаза на зависшие над ней отупевшие лица.

— Марш из спальни, животные! — припав на колени, рывкнула она.

Те, словно и ждали этого, суетливой вереницей потянулись к двери.

Катерина, потерев ладони, затопала следом.



В окна спальни натекали сумерки, словно пытались скрыть от кого-то лежавшую на полу с изодранным платьем девушку.

15

Отпуская ненадолго, чувство вины настигало вновь. Будто поигрывая с добычей, какой-то охотник освобождал пойманного зверька и, дав ему несколько глотков воли, снова накидывал сети.

В домике старика поселилась неуютная немота: обрубыш и Илья вроде бы находились рядом, но в то же время тугое, напряженное молчание разделяло их.

Без слов накрывали на стол, молчаливо хлебали чай, изредка поглядывая в окно, за которым темной настойкой наливалась ночь.

— Я поеду! — отодвинув стакан, резко поднялся Иче, словно за что-то извинился. — Что-то душит, Илья! Если с ней что-нибудь случится, мне лучше повеситься.

Старик сидел, облокотившись о стол, поглаживая пальцами лоб.

Иче взял из его пачки сигарету, вышел во двор.

Прохладный ночной воздух освежил.

Обрубаш сел на низкие ступеньки, привалился спиной к дверному косяку.

Разорванные мысли суетливо носились в мозгу, как неожиданно ослепшие птицы.

...Погруженный в ночное безмолвие мир...

Вдруг возникло знакомое чувство нереальности всего: нереальна эта ночь, звезды, тусклый свет лампы над крыльцом, нереален дом старика, это светящееся низкое окно, нереально свое существование... Пустота... Безмолвная, гнетущая пустота... Что все это? Что есть ВСЕ?

На мгновение стало жутко. Это состояние страха, страха непонимания длилось несколько отчаянных секунд, потом, резко погаснув, перешло в слякотную тоску.

Тишина. Тяжелая тишина проникая в череп, распирала его. Вспомнились глаза Оксаны, ее детская радость, когда она взяла листок с адресом.

Обрубаш затянулся. Ярким светлячком пыхнул кончик сигареты.

Неожиданно за воротами послышался какой-то шорох и бормотанье.

Обрубаш прислушался: видно, какой-то пьянчужка вслух решал мировые проблемы.

Иче выглянул из калитки: в метрах трех пьяный незнакомец, силясь подняться, припал на колени.

Поднялся. Что-то бессвязно пробормотав, слепо шагнул. Свет фонаря выловил из темноты разбитое лицо.

Влас.

Срываясь из стороны в сторону, он выбрел на дорогу, снова припал на колени, снова с трудом поднялся и так же, еле удерживаясь на непослушных ногах, спотыкаясь, словно кто-то невидимый пинал его в спину, срывался на быстрый шаг и опять слепо ковылял по улице.

На душе стало слякотно и неуютно. Иче взглянул в ночное небо. В стремительной черной бездне миллионами паучков плясали холодные звезды, среди них сторбленной колдуньей что-то вещала над миром луна.

Безлюдье.

Тускло освещенное безлюдье. Лишь вдалеке билась из стороны в сторону жалкая фигура Власа, и деревья с плоскими в ночи кронами, как чуткие радары, вслушивались в ночную вещую тишину.

Что было в ней? Что таила она и насмешливо скрывала от человеческой души? А, может, и не таила? Может, откровенная сама, ждала и ответного откровения человека? Но тогда в чем оно — откровение людской души? В ее величии и падении? И если так, то куда уж большего, чем теперь.

Чего же еще? И неужели нужен и какой-то срок, чтоб люди так и жили между величием и падением, между ненавистью и любовью, меж отчаянием и надеждой, между рабством и свободой, между скорбью и утешением, между славой и бесславием и ненавидели величие и любовь, возвышали падение и ненависть, ненавидели само же падение и саму ненависть?

...Крепчала ночь.

## 16

Иче вернулся в дом. Старик уже разбирал постель, его широкая мускулистая спина медно отсвечивала в свете лампы.

Иче потоптался в дверях, ожидая, что Илья вот-вот повернется в его сторону.

Тот, видно, почувствовав это, не разгибая спины, все так же наклонившись над постелью, оглянулся на него.

— Надо увезти ее и все... — сразу вставил обрубыш и тут же поспешил предупредить старика. — А что, не прокормим одну душу что ли?

Илья с улыбкой выпрямился:

— Одну-то душу как-нибудь прокормим. Но как ты «уведешь» ее, бедная твоя душа!

— Это уже другой вопрос. — Иче прошелся по комнате. Свесивши голову, казался еще меньше.

Он посмотрел на часы:

— В самый раз: пока то да се, за полночь перевалит... Только машина нужна... Если что-нибудь с ней они сделали, я на этом бульдозере весь этот интернат разнесу... Илья, пойдем со мной к Назару, а то одному как-то неудобно. А с тобой он и не откажет.

Старик, забросив руку за спину, звучно поскреб под лопаткой.

Почесывал, казалось, целую вечность.

— Ладно,— вздохнул он. — Все равно спать не дашь. Пойдем,— они вышли во двор, подойдя к сетчатому забору, крикнули к соседскому крыльцу.

Щуря глаза, из дома вышел Назир. Шлепая тапками приблизился к ним.

## 17

В черную ночь вырвался белый автомобиль Назара. Рядом с ним на переднем кресле восседал обрубьш.

Старик, бросив им вслед рукой, надолго замер на пустынной улице.

## 18

Ночная спальня давно погрузилась в сон: слышалось причмокивание губ, беспокойное бормотанье, над кроватями погуливал храп.

Оксана лежала в постели вся уйдя под одеяло, оставив открытым лишь лицо, как у запеленутой куклы.

Оксана думала об Иче: если бы могло случиться чудо и он сейчас оказался бы здесь, чтоб навсегда увезти ее отсюда.. Но лишь бы эти сволочи не сделали маленькому человечку какой-нибудь подлости... Они способны на все... И только бы не Дом инвалидов.

Убежать... Это было первой мыслью, когда она пришла в себя после побоев. И теперь это превращалось в решение.

Убежать...

Она подумала о своем платье: оно разодрано. Но все равно, пусть и разодрано. Главное — уйти.

И сейчас самое время. После прошедшего шмона ни-

кому и в голову не придет, что после такого переполоха кто-то отважится даже на маленький проступок.

Хромой сторож, наверняка, пьян и храпит в своей будке. То, что его смена, может и к лучшему.

Только бы незаметно выскользнуть из спальни, пройти проходную. А там все: свобода. Останется добежать до главной дороги и остановить машину. Кто-нибудь да подбросит к дому Иче.

Бежать.

Оксана стянула с головы одеяло, прислушалась: все, должно быть, спят.

Садилась на кровати, преодолевая боль: все тело казалось раздробленным и распухшим.

В полумраке нащупала сброшенное на пол платье.

Самое страшное — кровать Катерины: только бы она не проснулась. Прихватив туфли, Оксана осторожно двинула по сумрачному проходу меж кроватей.

Чем ближе подступала к Катькиной койке, тем громче колотилось сердце: только бы не проснулась.

Дверь отворилась без скрипа, легко вздохнув, Оксана прикрыла ее за собой...

В коридоре тихо.

По холодному полу она прошла к лестнице, спустилась на первый этаж. И здесь — никого. Дежурный воспитатель, наверное, тоже спал.

Осторожно приоткрыв входную дверь, выскользнула на улицу.

От ступенек к самым воротам вела тускло освещенная фонарем асфальтовая дорога.

Если идти по ней, могут заметить. Оксана сошла с нее, пройдя под деревья, слилась с ночной темнотой.

Причудливые тени казались следящими за ней фигурами, словно кто-то прятался за деревьями и ждал момента, чтоб наброситься на нее.

Присев, она наощупь надела туфли, в ребрах отдалась резкая боль, столкнула ее на бок. Оксана успела подставить руку, опустилась на колени. Подождала, пока боль поутихнет.

Осторожно поднялась, шагнула. Зашуршала под ногами трава, предательски затрещал сухой сук.

На этот треск тут же отозвалась интернатовская шавка Зоська, закатилась в тонком пронзительном лае.

Оксана припала к шершавому стволу клена, в темноте слилась с ним.

Собака, зайдясь в яром лае, казалось, не могла остановиться, выбежав на дорогу, полетела в сторону Оксаны...

Резко запахнулась дверь проходной, и на пороге стала освещенная входной лампой фигура сторожа.

С заколотившимся сердцем Оксана затерлась за дерево. Зоська, переметнувшись через кусты, яростно бросилась на Оксану, но учуяв, что здесь свои, интернатовские, заскулила и стала тереться о ногу.

Сторож вышел из проходной, зло окликнул собаку:

— Чего развизжалась, паскуда?! — и вышел на дорогу.

Оксана еле слышно, с подступившими слезами просила юлившую в ногах шавку:

— Уходи. Не выдавай меня. Уходи же...

— Зоська! — окликнул сторож, сделав несколько шагов.

Оксана соскользнула спиной по стволу на землю. Уткнулась лицом в колени.

Все. Теперь уже все. Она представила, как снова ее допрашивали в директорском кабинете, липкие глаза воспитателей, увидела круг в спальне, находящие на нее озверелые лица...

— Зоська! — громче окликнул сторож, и его хромающий шаг отчетливее разнесся по ночной тишине.

Собака раз-другой отбрехала, бросив Оксану, метнулась по зашуршавшей траве к дороге.

— Чего разбрехала, шлюха? Трахать тебя некому! — и следом послышалось, как он притопнул ногой, и взвизгнувшая собака понеслась в сторону здания.

В какое-то мгновение на территорию интерната навалилась тяжелая тишина, словно все вокруг затаилось: и здание с тусклой лампой над крыльцом, и деревья, и лунный диск, который сквозь их кроны заглядывал на жавшуюся к стволу девушку.

## 19

Машина, выехав из города, легко шла по ночной трассе.

Назар, слегка подавшись к рулю, вглядывался в дорогу, которую далеко вперед освещали фары.

За все время не попало ни одной встречной машины. Лишь однажды луч света вырвал из мрака ставший на ночь рефрежератор.

Ехали без определенного плана, решив действовать по обстоятельствам.

В какой-то момент обрубьш вдруг ясно, со стороны увидел все происходящее: и эту ночь, автомобиль, мчащийся по пустынной дороге, себя в этой машине, пятнадцатилетнюю девушку, которая, наверное, сейчас спала и ей совсем ни к чему были его спасательные затеи.

Возникло чувство вины перед ней и ненависть к себе. Обрубьш почувствовал себя в напаянном на голову колпаке, и кресло под ним стало тронем шутовской кареты, мчавшейся в бессмысленную ночь.

Знакомый дьявольский смех разорвался над миром.

Но шутовская карета лихо мчала по асфальтовой ленте, неся в своем чреве маленького человека.

— Поднажми! — вдруг повернулся обрубьш к Назару! — Ветерка! — будто говорил кому-то назло.

— Успеем, — усмехнулся Назар.

— Давай-давай! — куражась, подстегивал Иче. — Дави!

Летучими мышами падал с небес гадливый хохот, и карета с белыми лошадами летела сквозь это мерзкое кишенье.

## 20

Хромой Филипп, от души выматерив собаку, двинул к зданию.

От дерева, где затаилась Оксана, до середины дороги, по которой топал сторож, было метров семь.

Оксана сильней жалась спиной к стволу, словно пыталась раствориться в нем. С каждым приближавшимся шагом сторожа быстрее билось сердце. Ствол клена был не очень широк, и, если пристальней взглядеться, наверняка, можно было различить человеческую фигуру.

Шаги поравнялись с ним. Время враз изменило скорость: чем быстрее билось сердце, тем медленней оно шло.

Но перестук шагов на дороге продолжился, стал отдаляться. Оксана передвинулась за стволом, боязливо взглянула: сторож, неловко припадая на одну ногу, поднялся на крыльцо, вошел в здание.

Она почувствовала, как от напряжения дрожали и, казалось, вот-вот подкосятся колени.

Но надо идти. Она робко шагнула. Оглянулась на крыльцо. Сделала еще шаг, и словно что-то сработало в ней, без оглядки побежала под деревьями, ужасаясь треску сучьев под ногами и шелесту травы.

Вот уже окончился палисадник. Оставалось только перебежать дорогу и через проходную — на улицу.

Со сбившимся дыханием она снова оглянулась на здание, на замершие, точно нарисованные стены, дверь и бросилась через дорогу.

Вот коридор, вот руки нащупали задвижку на двери, вот дверь уже раскрыта и снова, но уже снаружи придавлена спиной.

И вот она за территорией интерната.

Оксана не чувствовала боли, только подкашивались отяжелевшие ноги.

Пятьдесят метров до трассы, казалось, бежала она вечность, и в этом погруженном в черную мглу мире были только эта одна нескончаемая, почти невидимая дорога и гулкий, предательски громкий топот каблучков.

Но вот дорога втекла в широкую ленту трассы. Теперь нужно было свернуть направо и продолжать бег по ней.

Пульсировала под ногами твердь асфальта. Сбилось дыхание.

Оксана боялась остановить свой бег, но уже не слушались, подгибались ноги, Оксана сорвалась за обочину, опустилась на холодную траву. С надеждой подумала о своем маленьком человечке: если б он знал сейчас, что с ней, то обязательно бы примчался. Бросил бы все и примчался.

Она лежала рядом с трассой, обратив закрытые глаза к звездным небесам и не знала, что по этой же дороге мчалась ей навстречу белая машина.

## 21

Ночная езда незаметно укачала.

Полудрема обволокла, как мягкая девица.

...Толпа гомонящих людей. Какой-то бородач, эмоционально жестикулируя, произнес слова: «...Мафия...», «кальмэри...»

«Кальмэри»... Обрубьш почувствовал сквозь дрему, как заставлял себя очнуться и запомнить это странное слово и, оборвав сон, открыл глаза.

Автомобиль по-прежнему легко шел по ночной трассе. Обрубьш протащил по лицу крепкой ладонью, словно стащил с себя липкую сонливость.

— Прикимарил,— виновато улыбнулся он. — И долго я дрых?

— Нет,— Назар на секунду оторвался от руля. — Может, минут пять.

— Слышь, Назар, а тебе не встречалось такое слово: «кальмэри»?

— ...«кальмэри»?

— Ага.

— Черт его знает,— Назар поводил ветровым стеклом, наводя в лицо свежий поток воздуха. — «Кальмэри»... Что-то венгерско-испанское... А что это?

— А хрен его знает. Поражаюсь! Вроде бы я никогда такого не слышал, а вот надо же, пригрезилось! — Обрубьш и сам неподдельно удивился. — А, может, на каком-то языке есть это слово... Что-то в этом такое есть... Я слова никогда и слыхом не слыхивал, а оно у меня в башке. Понимаешь: и у не кого-нибудь, а именно у меня, у того, кто о нем и слышать не слышал... Свихнуться можно...

— И что тебе приснилось? — Назар как будто начал расследование.

— Толпа какая-то. И один такой бородатый детина... Как слон. Он и говорит: «...кальмэри». Но сначала про какую-то мафию толковал.

— Мафию? — взял на заметку Назар.

— Как родился в тюрьме, так, наверное, там и откинуть, — равнодушно произнес обрубьш.

— Кто родился? — не понял Назар.

— Я.

В салоне повисла неловкая пауза.

— И такое случается... Некоторые там специально деток клепают. Чтоб срок скостить...

Назар молчаливо следил за дорогой.

Впереди загорелись фары встречной машины. Так и не переключившись на «ближний», ослепив резким светом, она прошла мимо.

Назар, припав к рулю, непроизвольно повернул им влево-вправо.

— Я твою душу... — выматерился он.

— Гондон штопаный, — поддержал обрубьш.

— Из тех... Пауков... — глянул Назар.

Поняв друг друга, рассмеялись.

— Расскажи еще что-нибудь про них... Про пауков, — улыбнулся Назар. — У тебя интересно выходит. И ведь не подкопаешься...

Посмеялись.

— А что тебе про пауков... С ними все ясно, — растянул Иче. — Ослепил встречного — паук...

— Эт-то т-точно...

— Если человек и погибнет на этой земле, то только от мысли, что жить он не имеет права.

— А почему «не имеет права»?

— А есть одна такая блевотная мыслишка. Вроде бы всего пяток слов в ней, а после нее жить противно станет. Вот эта мыслишка, если о ней заговорят, и убьет людей. Вернее, сначала развратит, а после нее все в этом мире потеряет и жизнь. А если нет цены, то и вещь на мусор.



— Ну и что это за пять слов? — любопытствовал Назар.

— Ты их сам знаешь. И все знают. Только делают вид, что не замечают. В дуриков играют.

Молчали.

— Эх, прожить бы один денечек, но чтоб от души, как после жажды родниковой водички напиться! — Иче забросил руки за голову, сцепив на затылке пальцы и тут же подтрунил над собой:

— Видал, как я? А?

— Ну да! — в тон ему согласился Назар.

Вдруг неожиданно впереди вырос женский силуэт.

Раскинув руки крестом, на машину отчаянно двинулась какая-то девчонка.

Назар успел вывернуть руль, машина накренившись стала на два колеса. Каким-то чудом не опрокинувшись и едва не задев девчонку, объехала ее.

Обрубьш успел вцепиться в зеркало обзора и упереться в кресле водителя.

Машина, с лязгом спружинив на рессорах, стала на все колеса, покатила медленно, с заглушим двигателем.

Осознав, что все обошлось, Назар дрожащей рукой включил зажигание:

— Подождите! — в салон проник слабенький далекий голосок. — Я прошу вас!

Обрубьш резко обернулся. Вгляделся в заднее стекло. Но на нем, как на затуманенном экране, лишь смутно проступал тонкий силуэт.

Послышался топот каблуков.

Но машина уже уходила вперед.

— Кто их знает, может, банда какая! — Назар напряженно вглядывался в заскользившую под колеса серую ленту.

Обрубьш снова обернулся.

— Неужели она?! — потерянно бормотал он. — Голос ее... Стой! — вдруг бросил он Назару. — Тормози! — И сжал его руку. — Это она!

— Че ей тут делать? — Назар продолжал вести машину.

— Да стой же ты! — он крепче сжал его руку, — развернись и иди навстречу... Если что — по газам! Понял?

— Ну смотри! — Мол, я предупреждал тебя, растянул тот, послушно развернулся.

Фары выхватили из темноты замершую вдалеке фигурку.

Медленно пошли на нее.

Девушка вскинула рукой, словно кого-то издали поприветствовала.

— Сигналит своей банде,— предположил Назар.

— Она! — выдохнул Иче, подавшись лицом к переднему стеклу. — Вот так номер! Точно она! — и забыв, что машина еще идет, открыл дверцу.

— Да стой же ты! — ударил по тормозам Назар и выдохнул: — Ну и ночка!

Иче торопливо шел навстречу девушке. Она пошла быстрее.

Свет фар, как заброшенные в ночь сети, выбирал ее из темноты. Назар увидел, как она приподняла и прижала к груди оборванный лоскут платья.

Вот Иче уже заслонил ее фигуру, но было видно, как, узнав его, но, видно, еще не веря глазам, она замерла на мгновение и потом бросилась к нему.

В метрах двух, споткнувшись, упала. Обрубыш метнулся к ней, припав на колени, склонился.

Быстрые девичьи руки жадно обхватили его шею.

Назар выключил фары, и в ослепившей темноте слились две фигуры.

По ночи растекся радостный со слезами девичий голосок:

— Я знала! Я ведь знала, что ты приедешь!

Снова вспыхнувшие лучи вырезали из темноты две, но уже шедшие рядом фигуры.

Она держала ладонь обрубыша, забыв про оторванный лоскут, который, свесившись, обнажал белый холмик груди.

Они шли бок о бок, и издали могло показаться, что сестра ведет за руку младшего брата, который был ниже ее.

Назар снова выключил свет, снова в темноту ушли их силуэты, но через мгновение в новых лучах света ожили их счастливые лица.

Сдерживая улыбку, обрубыш пригрозил в стекло кулаком.

Машина легко стронулась; набирая скорость, пошла по ночной дороге.

Оксана сидела на заднем сиденье за спиной Иче. В салоне стояла долгая нежная тишина, лишь в окошко прорывался посвист шин.

Обрубыш откинулся в кресле и вдруг почувствовал, как ласкающая рука скользнула по затылку, тепло стекла к шее, и потом к плечам доверчиво прильнуло ее лицо.

Мир, как пес, зажмурил глаза.

## М Е С Т Ь

### 1

К Илье заехать было необходимо. Назар подогнал машину к самым воротам, заглушил двигатель.

Погасли фары, автомашина утонула в ночи, словно погрузилась на дно моря.

Сидя за рулем, Назар выгнул спину, сладко потянулся:

— Самое время спать,— сквозь зевок проронил он.

— Ну что, пошли? — обрубыш обернулся к сидевшей за ним Оксане.

Она молчаливо кивнула.

Вошли во двор.

Иче привычным движением оттянул дверь стариковской хижины, просунув ладонь топориком, подбил крючок.

Старик проснулся от голосов, включенной в коридоре лампочки: свет от нее, упав в комнату, тусклым пятном выхватил из темноты кровать и его сонные, замершие глаза:

— Ну, что? — приподнялся старик, глядя на стоявшего в дверях обрубыша.

— Нормально... Команда, заходи! — оглянулся тот в коридорчик. — Свет я включу? — и уже надавил на выключатель.

Пройдя к столу, плюхнулся на табурет.

В дверях робко стояла Оксана, прижимая ладонью надорванный на груди лоскут платья.

Старик сам невольно прикрыл одеялом грудь, с улыбкой залюбовался девушкой.

За ее спиной вырос Назар.

— Ну, действительно, команда! — одобрительно прогудел Илья, пробежав хитроватыми глазами по их лицам.

— Я оденусь,— извинился он.

Оксана быстро повернулась, наткнувшись на стоящего за спиной Назара, пугливо извинилась, скрылась в коридоре.

Илья торопливыми движениями влез в брюки, почти до верхней пуговицы застегнул рубашку.

— Оксана, входи! — позвал Иче.

Она снова с робкой улыбкой появилась в маленькой комнате, как случайная птица в вороньем гнезде. Так же

прижимала к груди ладошку, и, кажется, еще больше стеснялась из-за порванного платья.

— Проходи, доченька. Будь как у себя дома.. — старик запнулся, поняв, что с «домом» получилось невпопад, но тут же решил исправиться. — Ничего, милая, будет и у тебя свой дом... Правду говорю, Иче?

— Будет! — коротко бросил тот, сделав вид, что не понял к чему клонил старик.

Оксана стояла опустив глаза. Постукивал ногтями по столу сидевший напротив обрубьша Назар. С какой-то беспомощной улыбкой возвышался над ними старик.

Неловкое молчание.

— Илья, дай иголку с ниткой Оксане...

Старик глянул на ее ладошку, что-то прикинув себе на уме, суетливо бросился в поисках иголок-ниток. Провел Оксану во вторую комнату:

— Здесь тебе будет удобней.

Вернувшись к приятелям, вопросительно развел руками:

— Ну, что, чай? Или может что...? — произнес тихо, с видом заговорщика.

— Здесь ей оставаться нельзя. У них твой адрес оказался, — ответил обрубьш, припав плечом к стене.

— Значит, к тебе? — бегло глянул старик.

— А куда ж? — словно оправдался Иче.

Старик в раздумье поскреб в щетине:

— Ладно... На первое время возьмешь все самое необходимое. А потом, как говорится, будет день — будет и пища. — И он принялся за шкафы-ящики, собрав нужную посуду, уложил ее в картонную коробку.

— Оксана, ты готова? — бросил Иче.

— Ага, — мгновенно выпорхнула из второй комнаты.

В машину снесли и постель.

— Ну, держись, старина! — выходя из дома прибодрил старика Иче и лукаво подкинул:

— Если что, пистолет у тебя есть.

— Не волнуйся, не пригодится.

— Тогда я заберу его, если «не пригодится», — подумав, произнес Иче.

— Хозяин — барин. — Старик принес целлофановый сверток. — Вот, пожалуйста, в целостности и сохранности.

...И снова, уже второй раз, в этой ночи Илья провожал уходящий от его дома желтоватый под светом фонарей автомобиль.

В доме Иче Назар был впервые.

— На новоселье пригласи,— предупреждающе протянул он, пройдя по пустой комнате и, прощаясь, в дверях хитро подмигнул: — Спокойной ночи. Не выходи! — И не дав опомниться Иче, захлопнул дверь.

Обрубьш еще долгую минуту стоял лицом к двери.

Неподвижный, в маленькой прихожей, словно был приперт к стене в ожидании какого-то приговора.

Потом отрывисто провернул ключом, и дважды клацнувший замок, казалось, что-то включил в мозг.

По квартире растеклось о ж и д а н и е.

Иче знал, что сейчас Оксана ждала его там, в комнате, ждал и он той минуты, когда они окажутся наедине.

Он увидел себя стоявшим напротив нее и, кажется, сполна ощутил всю неловкость того мгновения: он, коротышка, и она... Если бы это была просто какая-нибудь... шлюха...

Скользнула мысль, что кто-то похохатывал, глядя в повядшую сейчас его спину, наклоненный затылок.

Обрубьш открыл и снова клацнул замком двери, для чего-то прошел на кухню, включил и, потоптавшись в ней, выключил свет, заглянул в ванную и, словно чего-то ища, вошел в комнату.

Оксана сидела на софе у журнального столика, сложив ладони меж округлых белых колен. На одной чашечке был содран пяточок кожи и на нем запеклась кровь.

Оксана оглянулась на вошедшего Иче.

Иче заглянул ей в глаза, и они ответили мягкой виноватой улыбкой.

Он подошел к ней. Сидя, она была чуть ниже него. Он поднес руку к ее виску, и его чуткая ладонь потекла по шелковистым прядям, заскользила по шее к плечу.

Он вдруг почувствовал в ней внутреннюю дрожь, приподнял ее подбородок, и те же виноватые глаза втекли в душу и обожгли.

Обрубьш взял в ладони ее лицо, с загаенным дыханием коснулся губами ее разомкнувшегося рта, словно с лепестков испил сладкую росинку.

И еще.

Ее сладкое дыхание, опьянив, разорвало сознание, они опрокинулись на софу. Он жадно пил неумелые отдавшиеся ему губы, окунался в душистые пряди волос.

Пьянея от ласки, она безоглядно смеялась, заражая и

разжигая хмельным смехом Иче. И потом притихла, замерла, ощутив скользнувшую под платье руку.

Но вдруг, тяжело дыша, Иче сторвался от нее, чуть слышно прохрипел: — Надо постелить... Сейчас... — И, поджигаемый мыслью, что ему будет принадлежать и уже принадлежит никем не тронутая девушка, разбросал на софе постель, выключил свет.

Он помог снять ей платье.

Коснувшись грудью ее тугих сосков, на секунду замер, застонал, запрокинул голову и снова жадными губами заскользил по ее послушному телу, испивая сладкое дыхание рта.

Сквозь ее тонкий вскрик и свое беспамятство входил в тугое, влажное лоно...

Они так и проспали: обнявшись.

Иче проснулся первым, подоженный ее близостью, медленными поцелуями касался ее волос, губ, высвободив из-под нее руку, приподнялся над ней.

Она проснулась с улыбкой, легкими руками обвила его шею и упрятала глаза под широкие веки.

Ее приоткрывшийся слегка припухший рот поманил, утренний свет вылепил оказавшиеся под ним овалы ее груди, длинные розовые соски...

Сквозь забытье он почувствовал, что плоть их раскрылась одновременно, и их утреннее ложе вознеслось над рухнувшим в небытие миром.

Расслабленный, он припал к ее щекам, детски смеясь, уже благодарными успокаивающими поцелуями ласкал ее шею, плечо.

С минуту они молча лежали рядом, на лицах высвечивал сладкий покой.

Возле столика валялась сброшенная ночью, скомканная, перепачканная кровью простыня.

Оксана повернулась лицом к Иче:

— Теперь мы муж и жена?

В ответ он провел пальцем по ее подбородку к груди.

— Я — жена... — выронила Оксана и, словно не осознавая сказанное, но и гордясь, расставила. — Я жена... — Ее глаза с улыбкой убежали в даль.

Отбросив руку к стене, провела по ней ладонью, словно что-то пригладила, и неподдельно выдохнула:

— Кто бы мог подумать такое... Ты бы мог подумать?

— Мог...

— Что сейчас в интернате творится! — нараспев произнесла она. — Катька, наверное, от злости на стенки лезет.

— А что за Катька?

— Командиром себя считает... одна. — И вдруг прижалась к его руке. — Я ведь уже не вернусь туда?

— Не вернешься... Я тебя очень люблю. Оксанка! — И как испугавшегося темноты ребенка, он привлек ее к себе, крепко обнял, и они затихли, как греющие друг друга щенки.

### 3

Только теперь, когда он спешил в магазин за покупками, а там, в квартире, ждала она, обрубыш впервые так пронзительно почувствовал, что значит «мой дом». Это когда тебя ждут.

Иче подумал о своем имени, внутренне усмехнулся: хотя все вокруг было прежним: и эта широкая улица, высотные дома, большие люди, все же мир сегодня казался несколько другим.

Все вроде бы прежде, но в то же время каким-то земным смыслом наполнялась людская жизнь, а сами они теперь виделись незащищенными слабыми существами, и он прощал им их вечные насмешки, любопытные и нередко надменные глаза, ухмылки; в эти минуты он как никогда видел: мир спасет сострадание.

Кто знает, может поэтому в эти минуты он не казался себе маленьким обрубышем, и, наоборот, мог дать кое в чем хорошую фору любому из больших людей, которые и не осознавали насколько слабы и незначительны перед этим миром все.

И, может быть, заодно с прививкой против оспы нужно было всем сделать прививку против своей значительности. Наверное, и жизнь поспокойней пошла.

Ну вот хотя бы этому: навстречу Иче, вскинув голову и небрежно бросая руками, словно отряхивая их, шествовал молодой мужчина с выпиравшим из-под костюма брюшком.

Иче представил, как выглядел бы этот «пингвин», если бы сейчас, став напротив него, от души ткнуть пальцем в его пупок, да так, чтобы брюхатый пустил ветры.

Тот прошел мимо с задранной по-прежнему головой, видно, если, что и считал достойным своего взгляда, то разве лишь макушки деревьев... Но, может быть, там находился видимый только ему монитор, где он созерцал себя, возвышающегося над толпой.

Но над такими, наверное, небеса не хохочут.

В хлебном магазине, укладывая булку в целлофановый пакет, Иче представил руки Оксаны, нарезающие хлеб.

Душа порхнула к теплым небесам.

«Для дома», — укладывая очередную покупку, приятно звучало в мозгу, и он торопился, спешил к своему дому — к Оксане.

Дойдя до магазина «Вино-водка», решительно толкнул дверь. Зазвенел подвешенный над ней колокольчик.

— Красота! — одобрил Иче, свойски, как с давнишним знакомым, поздоровался с продавцом. — Будем знакомы. Теперь, надеюсь, я твой постоянный клиент.

— Очень рад! — с веселым любопытством продавец навис над прилавком, пожал короткую, но крепкую ладонь Иче. — Квартиру здесь получил?

— Купил, — Иче, выбирая спиртное, смотрел за спину продавца. Стоял, задрав голову, как медвежонок на сахар.

— Новоселье, значит? — предположил продавец.

— Что-то вроде... — Иче крутанул рукой, словно ввинтил лампочку.

— Ну, дай Бог!

— Дай шампанского, — остановил обрубьш глаз на горлышке с золотистой фольгой.

— Одно?

— Давай два! — не раздумывая бросил Иче, отсчитал деньги.

«Оксана обрадуется!» — По душе снова пошло удовлетворение.

Но в эту секунду над дверью зазвучал серебристый колокольчик, и в магазин, внося приятный запах духов, вошел статный парень в черном костюме, при галстукe, с зачесанными назад смоляными волосами, как будто сошел с картинки журналов мод, и сейчас, судя по ключам в руках, наверняка, на какой-нибудь иномарке поедет на свидание.

Иче сразу подумал о своей Оксане и ему показалось, что ее отобрали.

Кажется, никогда он еще не испытывал такой боли.

Взяв сдачу, всем существом ощущая высившуюся рядом фигуру красавчика, Иче потерянно двинул к выходу.

— А шампанское, командир? — остановил его веселый голос продавца.

Обернувшись, Иче увидел смеющиеся глаза красавца, его ладонь с бряцающими ключами.

— Главное деньги взять! — подбросил тот. — А шампанское, так уже быть, мы выпьем!

— Открывай, — справился с собой Иче. — Давай-давай! — в тон красавчику подзадорил он, и, будто набросив



петлю на свою боль, затянул ее. Но разве можно удушить боль, а если и да, то разве другой, новой.

Клин вышибают клином, а боль, видно, может вытравить только новая, да и не вытравить, а заслонить на время.

Бросив продавцу «Пока!», точно и не было рядом красавца с ключиками, подхватив пакеты, Иче потопал к двери.

И снова над головой зазвенел дверной колокольчик. Но сейчас он напомнил звон бубенцов шутовского колпака.

Обрубышу показалось, что затылок его сверлят насмешливые глаза, и вот-вот в спину ударит едкий смешок. Он выскользнул на улицу, словно спасался от преследования...

...Что бы не производили большие люди, все рассчитывали на себя: высоту прилавков в магазине и поручней в автобусе, размеры шкафов и музыкальных инструментов, салоны автомашин и купе поездов.

Маленькому же человеку приходилось приспособливаться и приспособливаться к громадным вещам больших людей.

Этот мир, похоже, больше рассчитывали на муравьев и пауков, но не на таких, как он, Иче.

Впрочем, если хорошенько поразмыслить, то так это и было.

Но что это меняло?

А потому обыкновенные целлофановые пакеты, длину которых не предусмотрели для обрубыша, почти волоклись по асфальту.

Когда он стал подниматься по лестнице на второй этаж, раздувшиеся от продуктов пакеты приходилось нести на полусогнутых руках.

Вставляя ключ в замок, который достался еще от прежнего хозяина и врезан был на уровне его глаз, он подумал, что опускать его не надо, потому что так Оксане будет удобно.

Тишина в квартире насторожила. Приставив набухшие пакеты к стене, с замершим сердцем Иче заглянул в комнату и легко вздохнул: Оксана стояла на балконе, чуть перегнувшись через перила. Иче сел на край софы глядя на ее родную спину. Стал ждать. И она обернулась.

Увидев его, помахала ладошкой.

Всйдя в комнату, затворила дверцу балкона, припала к ней спиной.

Молчаливо смотрели друг на друга: Иче со своей софы и она от дверей.

— Мне так хочется жить! — вдруг выдохнула она. — Я никогда не думала, что можно так хотеть жить!

— Живи... долго-долго! — улыбнулся обрубыш.

— А мы будем вместе жить долго-долго! Правда, Иче? И никогда еще ему не было так приятно слышать свое имя.

Захотелось броситься к ней, прижать к себе и расцеловать. Но он остался на софе, лишь уперся о колени руками:

— Я хочу целовать тебя! — словно подозвал.

Оксана послушно подсела.

Они перекатывались по софе из стороны в сторону, и по комнате сквозь поцелуи рассыпался их безоглядный смех.

За окном на балконе раздался громкий шелест: шумно хлопая большими крыльями, на стекло налетела сова, слепо металась по нему, царапала когтями, словно пыталась разодрать неожиданно выросшую преграду.

Билась о стекло секунду-другую, пока не соскользнув на подоконник не нахохлилась, как толстая насупленная старуха.

Оксана и обрубыш оторвались друг от друга, потянулись к ней глазами.

— Сова! — удивленно растянула Оксана.

На лицах обоих засветились одинаковые улыбки, они сели, облокотившись о спинку софы.

— Это к новости? — она вопросительно глянула на Иче, и он увидел, как с лица ее сошла улыбка и в глазах заселилась тревога.

— Наверное, Илья придет,— поспешил ее успокоить обрубыш, пригладил сбившийся на затылке волос.

— Мне иногда страшно становится. Кажется, что они придут... лучше умереть,— она словно о чем-то молила.

— Я другого боюсь,— заглянул ей в глаза Иче.

— Ты боишься?

— Вот пройдет немного времени, ты встретишь где-нибудь в магазине красивого высокого парня и бросишь меня. — И, действительно, сердце обрубыша затянуло ноющей болью, словно это уже произошло.

— Я?! Брошу я?! — неподдельно возмутилась она, и, оторвавшись от спинки софы, демонстративно развернулась к нему. — Да разве ж я могу бросить?! — И тихо проронила: — Ты ж мой родной, у меня никогда не было родного человека.

— Оксана... — он приник губами к ее колену, а потом, вытянувшись, лег головой на ее ногах. Закрыл глаза.

Ее теплая ладонь втекла в волосы, поглаживая, заскользила к затылку.

— Я не думал, что можно так хотеть жить,— сквозь его закрытые веки проступила улыбка.

— Ты смеешься?

— Нет,— он открыл глаза и легко надавил на кончик ее носа. — И вдруг, вспомнив про пакеты, поднялся:

— Я ведь шампанское принес. Будем пьянствовать!... Будем?

— Будем! — она отчаянно рубанула рукой: мол, была не была.

— Придется пить втроем,— он кивнул на притихшую за окном сову и вскинул рукой: — Дед! Шампанского! — Встав с софы, нарочито-осторожными шагами двинул к двери балкона; затаившись подле нее, осторожно потянул. Не поддалась. Он дернул сильнее. Дверь оторвалась, но вспугнувшаяся птица вспорхнула, широко, как слепые ладони, распростерла крылья и сорвалась за балкон, вниз.

— Придется шампанское пить вдвоем,— улыбаясь оглянулся он на Оксану.

— А третий лишний! — озорно бросила она и, встав на софу, запрыгала, как на батуте:

— Третий лишний! Третий лишний!

Прислонившись к двери, обрубыш с улыбкой смотрел на задиравшийся в прыжке подол ее платья, пряди волос, взлетающие над ее головой. Скрестив на груди короткие, но мускулистые руки, обрубыш походил на маленького крепкого хозяина.

«Третий лишний»... Наверное, ничто на свете не могло его так радовать, как эта напеваемая Оксаной фраза.

— Ладно, пора банкет готовить,— снисходительно приказал он и затопал к коридору.

Поставили на стол шампанское, нарезали хлеба, сыра. Оксана ромашкой разложила на тарелке овальные ломтики колбасы.

— Открывай! — сам себе скомандовал Иче, и, как заправский официант, стал раскручивать пробку.

— Я никогда такого не видела. Только в кино,— засмотревшись, выговорила Оксана и, схватившись за головку, зажмурилась.

Бабахнуло.

Пробка, ударившись о потолок, отлетела к окну.

Зашипев, вырвалась из бутылки тугая струя, обрубыш направил ее на стаканы, наполнив до краев пенистой золотистой влагой:

— Первую до конца! За тебя!

— За тебя! — Они сдвинули стаканы, капли вина плеснулись на журнальный столик.

Выпив, Иче смачно крякнул и подбросил стакан, тот ударился об пол и со звоном разлетелся по комнате.

Оксана, едва осилив свою дозу, отдышалась и потом, озорно глянув на Иче, тоже подкинула «бокал». И снова по полу рассыпались звонкие осколки.

Рассмеялись.

Иче кормил ее с руки, как маленького ребенка.

Пили из оставшегося одного стакана. Но потом и его грохнули об пол.

Захмелели и решили завести какую-нибудь песню. Долго искали какую же и, наконец, отыскали один знакомый обоим куплет:

А где мне взять такую песню-ю,  
Чтоб о любви и о судьбе,  
Но чтоб никто не догадался,  
Что эта песня о тебе.  
Но чтоб никто-о не догадался-а,  
Но чтоб никто-о не догадался-а,  
Что эта песня-а о-о тебе! —

сидя за журнальным столом, горланили на всю квартиру, раскачиваясь в такт песни, самозабвенно вытягивали высокие ноты.

Решив выпить еще, опомнились: все стаканы побиты.

— А, мы так! — вдруг нашелся Иче, свел ее руки в лодочку, наполнил и, как ручной зверек, стал пить из ее ладоней.

Шампанское просачивалось сквозь ее пальцы, капало на пол. Сняв губами последние капли, с улыбкой поднял на нее глаза.

Она расхохоталась, глядя на его мокрые губы и кончик носа, словно у щенка, напившегося из лужицы.

Посмеиваясь, Иче поискал обо что бы вытереть лицо, но ничего не найдя, ткнулся лбом ей в бок и завозил лицом по платью.

Хохоча, Оксана завалилась на софу, задравшееся платье оголило туго налитые ноги.

Охнули хмельные глаза обрубьша, вырвалось и задохнулось сердце.

...К ним позвонили ночью, когда уже укрывшись одеялом, прильнув друг к другу, они засыпали хмельные и уставшие.

#### 4

Звонок электропилой распотрошил тишину квартиры.

Они настороженно приподнялись на локтях. Сквозь декоративное стекло двери из коридора проступал матовый свет.

Оксана боязливо, точно щенок под живот матери, подъяулила под Иче, пугливо шепнула:

— Кто это?

— Не бойся, наверное, кто-то из своих.

Звонок остервенело повторился еще раз, еще.

Иче натянул брюки, босиком засеменил в коридор, прислушался у двери.

— Кто? — он чуть вскинул кверху голову.

— Я, — глухо проникло снаружи.

Обрубьш оглянулся: свет из коридора, падая в комнату выхватил на полу длинный желтый прямоугольник. Иче подумал об Оксане, на ум пришел пистолет, спрятанный под сиденье софы.

— Кто, я? — переспросил Иче.

— Илья! — после некоторой паузы ответили из-за двери.

Узнав голос старика, обрубьш мгновенно повеселел:

— Оксана, кто к нам пришел! — он беспечно дважды провернул ключом, хотел было потянуть дверь на себя, но она уже распахнулась, чуть не ударив в лицо. Не давая ему опомниться, с угрозой прорвался в комнату хромой сторож, за ним протопала мужиковатая баба и следом пронесся усатый здоровяк.

Зажгли в комнате свет. Иче метнулся следом.

Хромой Филипп, потирая руки от удовольствия, стоял над изголовьем Оксаны:

— Люди тут с ног посбивались, а она вот где греется! И начихать ей на ваши, товарищ воспитатель, беспокойства! — он обернулся на усатого здоровяка и вдруг неожиданно резким движением сорвал с нее одеяло.

Обнаженное девичье тело ослепило.

Оксана, вскрикнув, забралась в угол дивана, закрылась руками.

Дико взревев, Иче с силой боднул сторожа в бок, тот, завалив журнальный столик, отлетел к двери балкона.

Обрубьш набросил на Оксану одеяло, но воспитатель, сцепив ладони в замок, ударил его по затылку.

Иче, рухнув лицом на софу, сполз на пол, попытался подняться, но снова был завален ударом ноги.

По комнате резанул крик: сжавшись под одеялом в комок, Оксана закрыла лицо ладонями.

Обрубьш поднялся, но на него с ножом в руках находил сторож. Иче отступил к стене, «воспитатель» шагнул слева.

Отходя, обрубьш уперся спиной о стенку. Хромой Фи-

липп приставил к его горлу нож, ставший рядом усатый вцепился в волосы, рванул его голову кверху.

— Ну что, урод? — с угрозойдохнул он.

— А это тебе за тот денек! — сторож ударил Иче коленкой в пах, пригрозив ножом кричавшей Оксане.

Скрючившись, Иче припал к стене, не от удара в подбородок, ударился затылком о стенку, сполз на пол.

Поигрывая ножом, хромой Филипп с перекошенной улыбкой двинул к Оксане. Она заслонила от него ладонями.

— Катька, оказывается, эта ягодка уже трахнулась.

Мужиковатая Катька стояла с краю софы, расхохоталась, прихлопнув по крутым бедрам мужицкими ладонями.

— Ну, тем лучше,— навис над Оксаной сторож. — Теперь можно трахнуть и нам... Или сперва дать этому в рот? — он оглянулся на Иче, который лежал под ногой «воспитателя».

Катька ржала.

— Так первым его или тебя? — сторож поиграл ножом у лица Оксаны и вдруг снова резко сорвал с нее одеяло, припал коленкой на диван и провел по вздрагивающему плечу ножом:

— Ложись, стерва! Ну! — хрипло крикнул он и отстегнул ремень.

Оксана оборвавшимся голосом позвала Иче.

Этот крик вернул обрубышу сознание, вспомнился пистолет. Нужно было только добраться до софы. И он должен сделать это. Ради Оксаны.

Правая стопа воспитателя по-прежнему давила на его горло, обрубыш рванул на себя вторую ногу, тот, вскинув руками, завалился на спину.

Иче метнулся к софе, вырвал из-под сиденья пистолет.

Хромой, бросив Оксану, развернулся на него с ножом, но Иче почти в упор, дважды прострелил его грудь, «воспитатель», не ожидавший в руках обрубыша пистолет, уже был в движении, уже навис над ним, но три выстрела в живот скосили его, он рухнул, напорвшись на ножки перевернутого журнального столика.

По стене сползла на пол Катька. Закрываясь рукой, залепетала прыгающими от страха губами:

— Не убивай меня! Не убивай!

Забившись в угол, плакала Оксана.

Иче, приподняв руку, взглянул на пистолет. Рассматривал его длинным отсутствующим взглядом. Непроизвольно раскрыл ладонь, словно выпустил птицу. «Вальтер» грох-

нулся об пол рядом с застывшей вытянутой рукой сторожа.

Обрубыш опустошенно осел на край софы свесив голову.

В коридоре слышались осторожные шаги, и в дверях комнаты стал Илья. Точно в шоке смотрел на распластавшиеся мертвые тела, кровь.

Иче словно не замечал его; по-прежнему уставившись в пол, молчал, будто от всего отключенный.

Старик вдруг потерянно взялся за голову:

— Что я натворил! Что я натворил! — закружил он от двери к противоположной стенке.

Катерина, тупо выкатив глаза, следила из своего угла за метавшимся по комнате стариком.

Оксана, ткнувшись в подушку лицом, подрагивала плечами, и в ее ногах, на краю софы, свесив голову, сидел Иче.

— Все... — глухо выдохнул он, словно подписал себе приговор. — Все...

Старик оглянулся, виновато замер, и в следующую секунду мимо заваленного стола, распластанного в центре комнаты трупа метнулся к обрубышу, припав на колено, сжал его локоть:

— Они пытали меня, Иче! Понимаешь, пытали!... Прости меня! Я прошу тебя, прости! — он пытался снизу заглянуть в неподвижные глаза обрубыша и сам понуро свесил голову.

— Я все возьму на себя! — расставил он тихо, отделяя слова.

Обрубыш положил руку на сникшие плечи старика, тот, благодарно глянув, мягко боднул его в грудь.

— Надо что-то делать! — негромко и торопливо проговорил старик. — Надо что-то делать! — И вдруг отпрянул от Иче: — Колодец! Наш колодец!... У этих машина была... — не глядя он кивнул на труп сторожа и вдвоем с Иче, поняв друг друга, потащили тела к дверям.

Невольно воротили взгляды от открытых остекленевших глаз «воспитателя».

Иче выглянул из квартиры, сбегав по лестнице, вышел на улицу. Вздогнув от брошенной в растерянности и громко ударившей двери подъезда, оглянулся.

Вокруг ни души. Лишь в домах напротив редкими квадратами светилось несколько окон.

Лампа, горевшая над подъездом, неярко выхватывала из темноты стоявший напротив автомобиль, как замершего в ночи черного жука.

Иче попробовал дверцы: закрыты. Оглянувшись, он вошел в подъезд, на своей лестничной клетке прислушался к дверям соседей. Тихо. Скользнул в квартиру.

Старик стоял в коридоре, давал команду подползшей к двери Катьке:

— ...Кровь, чтоб была отмыта! И смотри! — пригрозил он под конец.

Переглянулись с Иче. Тот молчаливо кивнул.

Вспомнили про ключи от машины и в растерянности ворочали друг от друга глаза: кому-то надо было шарить в карманах мертвеца. «Воспитатель» лежал с открытыми замершими глазами и словно ждал: кто же...

Неожиданно для себя, отвернув голову в сторону, словно от чего-то смердящего, Иче нагнулся над трупом.

Прощупывая карман, поймал себя на том, что взгляд невольно тянет к распахнутым глазам мертвеца. И, вытащив из брюк ключи, задержал свой взгляд.

Но тут же сорвал глаза в сторону.

Тела тащили по лестнице, как пьяных, в обнимку. Затолкали на заднее сиденье.

В машине, утираясь от холодного пота, отдышались.

Подрагивающими пальцами, Илья нащупал замок зажигания, вставил ключ. Двигатель легко завелся, взревев, разбомбил тишину подремывающей ночи.

Машина, дернувшись, заглохла.

— Давно не ездил, — нервно бросил старик.

Со второго раза автомобиль медленно покатиł вдоль подъездов.

Десять минут езды по ночным улицам казались вечностью.

Оба напряженно всматривались в ночную даль дороги и знали, что оба же боялись одного: случайной встречи с ночной патрульной машиной.

Вдалеке рассыпался свет надвигающихся фар.

Старик оглянулся на заднее сиденье: трупы находились в прежнем положении: сидя, лишь съехали друг к другу головами.

Встречный автомобиль на большой скорости промчался мимо.

Напряжение в салоне несколько ослабло.

Машину подогнали к самой калитке, лишь оставив расстояние для открытой дверцы.

Тащили тела, спотыкаясь в темноте. По безжизненному ночному двору стелился шелест от волочившихся по земле ног мертвецов.

Все делали в какой-то молчаливой горячке.



Привыкшие к темноте глаза различили холмики выброшенной из колодца земли, походившие на горбы прикорнувшего в ночи верблюда.

Трупы сорвались в черную пасть колодца, глухо влипнув в дно.

Тяжело дыша, Илья и обрубыш присели на своей бывшей скамье — старом спиленном стволе.

Впереди возникли приземистые очертания домика.

«Лопаты», — встретившиеся в лунном свете глаза, словно нащупали одну и ту же мысль, и уже освоившиеся в темноте Илья и обрубыш двинули за инструментами.

Жадно бросали землю. Исчезло время, а если и был его какой-то отсчет, то глухие шлепки сбрасываемой на дно колодца земли.

Копошились в черных небесах холодные звезды, и кривилась надо всем желтая холодная губа луны.

Пот заливал глаза, стекал по спинам. Наконец, сбросив последний штык, обрубыш уперся о черенок лопаты, долго переводил дыхание и потом устало повалился на рыхлую землю засыпанного квадрата.

Сквозь промокшую рубашку тело почувствовало колкий холод земли.

В тишине послышалось тяжелое дыхание старика, влоча ноги, тот приблизился к поваленному стволу, вытянулся возле него.

Иче, вдруг подумав, что сейчас он лежит над скрюченными там, на дне, засыпанными телами, через силу поднялся на колени и, словно какой-то ночной зверь, перебирая руками, пополз по земле. Сойдя с засыпанного рта колодца, завалился на спину рядом с Ильей.

Закрыл глаза.

Но мысль о закопанных трупах вывернулась по-новому: тех — двое, и они со стариком тоже вдвоем. Чтоб погасить эту мысль, он снова должен был подняться, уйти, отползти от Ильи. И он стал на колени, но вдруг с похолодевшим сердцем понял: куда бы он сейчас не убежал, эта мысль снова настигнет его.

Пес, прикованный цепью к своей конуре.

Стоя на коленях, обрубыш застонал, в отчаянии влепив кулаками в землю, поднял лицо к глухим ночным небесам.

Но они зависли над головой, как отгородившиеся от него черные ладони.

## 5

Машину отогнали на параллельную улицу и в одном из переулков подожгли.

Отчего-то все происходившее Иче увиделось со стороны — сверху: вот в зареве пожара метнулись в сторону две фигуры, побежали, наклонив голову вперед, словно по пятам их преследовал огонь.

Факел горевшей машины ярко осветил нутро ночи, отсвет пламени выхватывал из мрака причудливые силуэты деревьев, крыши домов, словно мощные прожектора, вдруг вспыхнув, осветили театральные декорации.

Две бегущие фигуры, оглянувшись напоследок, нырнули за переулочек в навалившуюся на них темноту.

Пробежав еще с минутой, они остановились под деревом, оглянулись.

Зареве поднималось высоко над домами к самым небесам, поджаривая их, как черную сковородку.

И потом, все последующие дни, казалось, были освещены заревом этого ночного пожара.

## 6

...Распалось лето. Огромной медузой растеклось небо и холодной плотью гасит осеннее солнце. Ослабшее, оно уже доступно взгляду, его чуть дымящий диск, отчужденно свернувшись, кажется отрешенным от жизни, людей и зверья.

Распалось единство мира. Все одиноко, чуждо друг другу, словно в заброшенной комнате наспех разбросаны случайные предметы. И вся комната медленно ходит из стороны в сторону, как подвешенный на ветру стеклянный фонарь.

Монотонный и протяжный звук плывет по комнате, со временем слабеет, но, возникая вновь, тянется отчетливо и тоскливо.

Распад.

Но ведь было единство...

...Обрубыш, забившись в угол балкона, бездумным убегающим взглядом смотрел в полоску вечернего неба.

Гнетущая пустота.

Из-за перил балкона доносились уличные голоса: возгласы детей, чьи-то разговоры, шум автомобилей. Шла обычная человечья жизнь: люди радовались, негодовали, ненавидели и любили.

Все было по-прежнему просто и буднично.

Но после случившегося это незатейливое людское бытие стало напоминать ту заброшенную комнату или какой-то разобранный механизм.

Вроде бы все то же, но и неузнаваемо.

Обрубьш плеснул в стакан из пристроенной в ногах бутылки водки, на одном дыхании опорожнил. Сбивая тошноту, задышал носом в надкусанное яблоко.

Похорошело.

Он вошел в комнату до сих пор все еще пустую: в ней стояли прежние софа и журнальный столик.

Обрубьш взглянул на его тонкие круглые ножки и память, словно подказнив, подставила ему снимочек: скошенное тремя выстрелами тело «воспитателя» рухнуло на тонкие деревянные ножки опрокинутого стола.

В накатившей ярости Иче подхватил его, занес над головой, но, кажется, смог справиться со злобой: хотел было вернуть его на место, но в следующую секунду скользнувший к коридору взгляд напомнил, как волокли труп с распахнутыми глазами, обрубьш с силой отшвырнул стол к противоположной стене, тот с грохотом ударился об пол и снова, как в ту ночь, лег ножками вверх.

Сжав ладонями виски, словно хотел сдавить распиравшее мозг отчаяние, Иче сел на софу.

На шум в комнату вошла Оксана. Увидев поникшего Иче, подседа к нему и, видно, боясь лишних слов и жестов, как преданная собачка, стала ждать, пока он сам или окликнет, или что-то прикажет.

К нему перешло это преданное ожидание, он благодарно привлек ее к себе, но в эту же секунду вспомнилось, как здесь, на этой софе, с Оксаны было сорвано одеяло, и, обнаженная, под лапающим жадным взглядом хромого она забилась в угол.

Прожгло.

Разорвав кольцо обнимающих ее рук, он резко встал и засеменил к двери балкона. Выпить.

Оксана, растерянная, виноватыми глазами смотрела ему вслед.

Обрубьш, опрокинув полстакана, заходил взад-вперед по узкому, как пенал, пространству балкона.

Опьяневший мозг остро потянуло к сигаретам.

Иче вспомнил об актере. Где он сейчас? Может, у Нау-ма играет в карты. Карты... Сейчас бы какой-нибудь крупной игры... сорвать один хороший банк.

Иче глянул в небо: тяжелые тучи напоззли издали, словно по сфере растекался черный гной.

Сейчас бы урагана! Сильного ветра и ливня, чтоб затопило весь этот уродливый мир.

Увиделось огромное затопленное пространство — один черный бесконечный океан, и дальше воображение слов-

но специально подсказало два вымытых из колодца трупа, которые покачивались на волнах, точно щепки.

Иче, будто стараясь убежать от этого, порывисто повернул в комнату, мимо притихшей на софе Оксаны засеменил к коридору и, лишь выходя, пьяно проговорил:

— Я скоро приду. Никого не впускай!

Но только затворил за собой дверь, накатили тревога и неясный страх за Оксану как нехорошее предчувствие.

Обрубьш в растерянности постоял возле глухой, обитой коричневым дермантином двери, но мысль об актере, желание увидеть его столкнули с места.

Иче никогда не звонил ему домой, но сейчас, несмотря даже на то, что они, казалось, были в ссоре, без колебаний поднял трубку телефона-автомата, набрал номер.

Чей-то молодой мужской голос ответил, что Марка дома нет.

Обрубьш пошел к Науму: все равно сегодня без игры не обойтись. У него Иче и встретился с актером.

Играли все в той же комнате, за тем же столом. Как и раньше, старик изредка шмыгал по комнате то за чаем, то подносил кофе или просто подавал стакан воды.

Актер уже был в игре, но сидел спиной к двери. Обернулся, когда один из наблюдавших за игрой приветственно вскинул рукой:

— О-о, пропавший, появился!

Настроение у Иче подскочило, как ртуть у градусника, подставленного под солнце.

Марк, оглянувшись через плечо, на секунду замер, что-то уловив в глазах обрубьша, сбросил карты и встал навстречу.

Намного выше обрубьша, чуть наклонившись, долго пожимал ему руку.

Потом они присели на диване в стороне от игорного круга.

— Я тебе домой звонил... Я тебя искал эти дни! — признался Иче.

Актер быстро глянул.

Иче скользнул глазами в сторону:

— Разговор есть... А за... то... извини... Сгоряча я.

— Нет. Ты мне все равно сын, — выронил Марк.

Обрубьш в запястье мягко пожал его руку.

— Я, между прочим, тоже искал тебя. Одно дельце есть на сто миллионов! — актер свойски ткнул его плечом.

За столом прошел какой-то шумок, стоявшие над игроками наблюдатели с улыбками перебросились короткими фразами.

— Сыграю! — поднялся Иче, но актер придержал его за локоть.

— Может, сегодня не надо... — намекнул он на то, что тот нетрезв.

— Нет. Сегодня. Я не пьян...

Две головы с любопытством повернулись в их сторону.

Иче засеменил к столу, занял место Марка.

Позже в игру вошел и актер.

Карта обрубьшу пошла с первой же сдачи, и он снял крупный банк.

Пачки запечатанных банкнот пирамидкой легли по правую руку.

Актер пристально глянул на Иче, неподдельно, еле заметно качнул головой: мол, ну и дает парень.

Иче действительно везло, и он на некоторое время забыл об Оксане, обо всем случившемся, словно смог все же убежать от навязчивых воспоминаний.

Давно стемнело. И над столом ярко светила люстра. почти все разошлись, в игре осталось четверо: Иче, актер и еще двое. Был крупный банк. Актер поднял голову. Сделалась оглушительная тишина. Скрип стула, шелест карт отчетливо отдавались в ней. Тишина, казалось, подслушивала и подсматривала за игрой сама. В пепельнице дымила позабытая чья-то сигарета. Один за одним сбросили карты двое, и в игре остались актер и обрубьш.

Марк сидел напротив него, взглянул на карты, предложил банк пополам.

Иче медленно, несколько раз поводя головой влево-вправо, отказался.

Марк задумался, было несколько вариантов: сбросить карты, вскрыть карты или, повысив ставку, сделать следующий ход.

Иче сидел в прежней позе, соединив подушечки пальцев в «купол» — известный жест «у меня все хорошо», который иногда применялся и при блефе.

Но сейчас Марк знал: обрубьш не блефует. В прокуренной комнате зависла напряженная пауза.

Иче сидел в прежней позе, соединив подушечки пальцев в «купол».

Марк закурил, щурясь от дыма, еще раз взглянул на карты и неожиданно сбросил их картинками кверху:

— Вскрываю.

Обрубьш, переждав паузу, одну за одной (больше для выбывших из игры) выложил на стол свои.

Ахнули.

Три туза.

Кажется, в эту секунду обрубыша ненавидел весь мир. Те двое поспешно выбрались из-за стола, молчаливо, с мертвенно-бледными лицами вышли из дома в ночь.

Иче, посмотрев на актера, кивнул на стопку денег в банке:

— Возьми свои ставки.

— Проигрыш есть проигрыш,— отказался тот.

Обрубыш стал подсчитывать сам, бормоча припоминал сколько было сделано ставок и какие. Еще раз прикинув все в уме, двинул к актеру запечатанную пачку.

Тот еще раз отказался, но деньги не отодвинул.

В дверь просунулась голова Наума. Круглые глазки старика, как два фонарика, с любопытством пошарили по лицам Иче и актера.

— «Дед! Шампанского!» — лукаво бросил старик, и они рассмеялись.

— Лучше водки! — непривычно, блекло ответил Иче.

— Как скажешь! — голова Наума выскользнула из двери, как из петли.

Отчего-то в комнату прорвалась неловкая минута.

Иче собрал в стопку свои три туза, постучал торцом по столу.

Актер закурил.

— Вот такие дела, Марк,— голос Иче прорвал тишину, как рыба сеть.

Обрубыш потянулся к банку за своим выигрышем, но скользнувшая к деньгам рука замерла. Его вопросительный взгляд встретился с насторожившимися глазами актера: за окном шумно загулял ветер, и по стеклу застучали крупные капли дождя.

Посвист ветра усилился, и вместе с ним быстрее зата-рабанил по ночному стеклу тяжелый порывистый ливень.

Рука обрубыша по-прежнему оставалась на деньгах, и в убежавших глазах заселилась тревога.

Какая-то мысль, казалось, перебросила его в другое пространство.

Иче, словно забыв обо всем, вдруг вырвался из-за стола, метнулся к двери, ударом ладони распахнул ее, и сквозь ворвавшийся в комнату шум ливня донесся торопливый перестук его каблуков.

Обрубыш промок уже в первые секунды: небо, казалось, пыталось затопить всю землю.

Иче, не разбирая дороги, утирая слипавшиеся от влаги глаза, бежал по ночной улице. Он несся по холодным, затопившим дорогу потокам, словно только что получил страшную телеграмму.

Оксана.

В мозгу рождался страх, а страх придавал силы для бега.

Какая-то машина надрывно засигналила за спиной. Иче с надеждой встал на пути ее, умоляюще замахал руками, но автомобиль на скорости объехал его, полоснув волной брызг по лицу.

Окаченный грязной, захрустевшей на зубах водой, Иче слепо отшатнулся и вдруг поник, как выгнанная в ночной ливень бездомная собака.

С обвисшими плечами, прилипшей к телу одеждой, Иче понуро зашлепал по быстрым потокам воды.

Уличный фонарь тускло высвечивал мутные волны ливня, которые усердно хлестали по сгорбленной человеческой фигуре, будто кто-то изо всех сил старался перечеркнуть темное в ночи пятно.

Но с минутами вновь настигший страх подстегнул обрубьша, он ускорил шаг и незаметно для себя снова перешел на бег.

В высотных домах горели счастливые окна. Иче бежал, и эти огни плясали, как рыбы.

Страх усилился, когда он ворвался в подъезд, пронесся по лестнице на свой этаж и распахнул дверь, из квартиры на него обрушилась темнота.

С оборвавшимся сердцем обрубьш метнулся в комнату, пугливыми пальцами нащупал выключатель.

Вспышка света была, как спасительный глоток кислорода: Оксана, сжавшись в комок и по-детски подложив ладони под щеку, одетая, спала на софе. Но она была дома, никто ее не увез, она не ушла, и сейчас, проснувшись, вскинула сонную головку. Увидев промокшего насквозь Иче, настороженно села.

Обрубьш припал спиной к стене, закрыл глаза.

— Что с тобой? — Оксана испуганно замерла.

Он стоял с закрытыми глазами, и по лицу стекали капли дождя.

— Я думал, что тебя уже больше никогда не увижу... Я бы, наверное, сдох... — выдохнул он и по стене, оставляя мокрую полосу, сполз на пол, привалился плечом к софе.

Навалилась усталость. Но в его закрытых глазах, как огоньки в ладошках, затеплилась улыбка.

Оксана теперь уже сидела рядом на пятках, упершись руками в колени и свесив голову, приговаривала сквозь плач:

— Это все я! Все из-за меня! Я принесла тебе несчастье! Выгони меня! — И она стала теревить его за мокрый рукав. — Ну я прошу тебя, выгони!

Иче с улыбкой смотрел на нее, сев так же, как и она, взял в ладони ее подрагивающее от плача лицо:

— Я люблю тебя!

Она припала к его мокрой рубашке и через секунду уже беспокойно заохала, выговаривая ему за то, что он выскочил в такой ливень на улицу, и что не дай Бог, не дай Господь, он теперь заболит.

А потом приготовила ему ванну, мылила, отмывала, как мать ребенка, обливая водой, счастливо смеялась:

— Малыш ты мой непослушный, малыш...

## 7

За окном поднимался новый осенний день. После вчерашнего ливня солнце, словно кот мягкими лапами, наводило на окнах блеск.

Они давно позавтракали, но еще не уходили, а вернее, не хотели уходить из кухни, и оба, понимая почему, молчаливо сидели за маленьким квадратным столом: они начинали ненавидеть свою комнату.

Хотя тщательно и, кажется, уже сто лет назад были отмыты кровавые следы и не лежали трупы, назойливо крепло напоминание: здесь были пятна крови, здесь лежало мертвое тело с открытыми глазами, здесь, здесь, здесь...

Обрубаш припал спиной к стенке, глядя в заоконную даль, словно для себя, расставил:

— Надо поменять квартиру. Мы здесь свихнемся...

Оксана кивнула.

Иче ласково пригладил ее висок:

— Все будет хорошо. Просто, действительно, надо отсюда уйти.

— Правда уйдем?

— Правда.

Длинный пронзительный звонок резанул слух.

Переглянулись.

— Кто это? — встревоженно шепнула Оксана.

Он легко пожал ей плечо:

— Не бойся, это, наверно, актер. Мой друг, — своей медвежье-цирковой походкой обрубаш засеменил по узкому коридорчику к двери, но на всякий случай спросил:

— Кто?

Тут же сквозь дверь проник глухой, но возвышенный голос актера:



— Эй, молодожен! Если ты уже открыл «негою сомкнуты взоры», распахнись пред любящим тебя!

Иче «распахнулся». Перед дверью, возвышаясь над ним, как глыбы, стояли Марк и Илья.

Актер, уже раскрыв широкие объятия, в одной руке держал шампанское, в другой цветы.

В опущенных руках старика были коробка конфет и какой-то сверток.

— Я чувствовал, что это вы,— легко улыбнулся Иче, пригласил в дом.

Водрузили на журнальный столик шампанское, конфеты.

— А где наша сношенька? — актер повертел по сторонам головой.

Оксана робко ступила в проем дверей.

— О, какие мы красивые! — актер, снова распахнув объятия, чмокнул ее в лоб и вложил в руку букет.

На щеках у Оксаны зарделись красные яблочки, она инстинктивно прижалась боком к Иче, глянув на него сверху, бросила глаза к полу.

— Приготовь нам что-нибудь... — Иче тронул ее локоть.

Расселись вокруг журнального столика: Иче с Ильей на софе, актер на единственном в комнате стуле.

— Ты что так вчера сбежал? — актер свойски хлопнул Иче по коленке.

— Да так... — он глянул на Илью.

Тот кашлянул.

Актер кивнул на пакет, лежавший подле бутылки шампанского:

— Твои «бабки». Как были, так и есть. Я даже не считал.

— Спасибо, Марк.

— Ты что-то не в духе, кажется? Ничего, сейчас по шампанскому, и все будет о'кей.

Оксана накрыла на стол, поставила бутылку водки.

Обрубыш поймал себя на том, что он и старик, оба старательно избегают прямых взглядов, но делают вид, что не замечают этого.

Пили. Пригласив Оксану, актер поднял тост за молодоженов.

Когда она вышла, разом закурили. Небольшая комната заплыла в космах дыма... Открыли дверь балкона.

Актер приспособил пробку из-под шампанского под пепельницу, потрусил в нее пепел:

— Помнишь, я тебе вчера говорил про одно дельце?

— Что-то помню,— неопределенно произнес Иче.

Актер ответил пристальным взглядом, но продолжил:

— Я как-то своему другу режиссеру про тебя рассказывал, интересный, говорю, парень есть, сильные вещи выдает. Ну и про твою «пропасть» рассказал. «Все мы рабы пропасти. Рабы страха... Не любив — насладиться, не убивая — убить, не пережив ничего — испытать все. Религия «исчерпанного человека». Так?

Иче покивал, но как-то отсутствующе.

— Я что-то тебя не узнаю, — затянувшись, актер пустил дым в сторону. — Ты какой-то другой, что ли? Медовый месяц, наверное? — он попробовал отшутиться, подмигнул Илье.

— Какой? — обрубьш увел глаза в окно.

— Не знаю. Очень уж степенный стал... Затих...

— А убийцы, как шизофреники. Одни становятся буйными, другие — затихают... Как я...

Актер с глуповатой улыбкой, словно заподозрив подвох, глянул на него и, ничего не разобрав, посмотрел на Илью: что, мол, за штучки он выдает.

Старик ухватился за бутылку, принялся разливать по стаканам.

Актер непонимающе водил глазами с одного лица на другое и снова попробовал отшутиться:

— Это из твоего «исчерпанного человека»... тоже?

— Из законченного, — усмехнулся обрубьш, но, почувствовав вину перед Марком, рассказал о случившемся.

Актер жадно курил, Илья озабоченно ходил из угла в угол, забросив руки за спину.

Когда Иче закончил, в комнату рухнула тишина, только шлепки шагов старика ритмично падали в нее.

— Ты защищался! — горячо заговорил актер. — У тебя самооборона. Если что, я найду самого лучшего адвоката! — и, подумав, решил: — Для начала нужно поменять квартиру.

Иче покивал.

— Ты не волнуйся, мы тебя не оставим. А документы для Оксаны быстро сварганим. Завтра же и начнем. Понял?

Обрубьш кивнул.

— А про то забудь. Ведь если подумать, ты девчонку из беды вытащил! Ты герой!

Обрубьш с горечью усмехнулся.

— Ничего, парень, мы с собой еще и в кино сыграем! — бодрился актер и снова, хлопнув по коленке, нашелся:

— Так я ж не закончил про кино-то. — И он стал передавать, как рассказал своему режиссеру про религию

исчерпанного человека, что тот заинтересовался и потом у него появился замысел картины. Главный герой решил прожить жизнь и исчерпать себя во всем, в чем только возможно. Он прожигает жизнь, меняет женщин, играет в азартные игры, разбрасывается деньгами. Но вот однажды после какого-то происшествия он стал задумываться, а означает ли это исчерпать себя. — Ну как? — выжидающе посмотрел актер.

— Ничего, наверное, — пожал плечами обрубьш.

— А на главную роль знаешь кого я предложил? — заговорщически спросил он.

— Кого?

— Тебя! — словно выстрелил Марк.

Иче бросил в него длинным подсматривающим взглядом.

— Да, да! Именно тебя! Нам только нужно собраться, обсудить. Может, ты еще какую-нибудь мыслишку подкинешь... Денежка тоже... Ну как?

Было тихо.

— Человек — существо исповедальное! — как бы для себя, проговорил Иче и положил руку на колено Марка. — Ты даже не знаешь, что ты сейчас для меня сделал!

— А что я сделал? — актер неопределенно пожал плечами.

— Выслушал...

— Как ты хорошо произнес это, Иче. «Вы-слу-шал!» — просмаковал актер. — «Выслушал»... — Он призадумался. А, может, и вправду люди говорят, но не слышат один другого. Может, и жизнь была бы другой, если б каждый, как ты сказал, смог «выслушать». Ты только не подумай, что я про себя. Просто про жизнь и людей, — и, словно вспомнив про стоявшего у окна старика, обратился к нему. — Как ты считаешь, а, Илья?

— Жизнь обманула людей, люди обманывают друг друга, — произнес, точно проворчал, старик.

Улыбаясь, молчали.

— Ну так что насчет кино мы порешили, а, Иче? — спохватился актер.

— Да какой из меня артист! — усмехнулся обрубьш, вскинув большой головой. — Звезда Голливуда!

— Ну и что! Не боги горшки обжигают!

— И на горшках не сидят, — вставил обрубьш.

Посмеялись.

— Ты даже не представляешь от чего ты отказываешься! Илья, скажи, правильно я говорю? Разве ж можно от такой идеи отказываться?!

— Нельзя, конечно...

— Давай, Иче, соглашайся. Другого такого случая, может, и не будет. Тема-то какая! Исчерпанный человек! Ты же сам говорил!

— Тема мне нравится...

— Ну тем более!

Иче задумался, глядя в ноги Марку произнес:

— Знаешь в чем тут соль? Каждый человек о себе знает несколько вещей: то, что ему не дано и никогда дано не было; было дано, но по собственной же вине сбыться не может, в итоге — тоже не дано; было дано, но отобра-  
но, и что тоже, можно сказать, не дано. И вся человеческая тоска оттуда, из не дано,— Обрубьш вдруг смолк, взял в руки стакан, повертел его на ладони: — А мне теперь уже не дано не убить...

— Но ты же защищал! Спасал, можно сказать, жизнь девчонке! — прогудел Илья.

— Вот все говорят: счастье, там, счастье... что такое счастье?... Не убить, не оклеветать, не унижить... Вот и все счастье. И свобода.

— А как же те, которые убивали защищая Родину, сестру, мать, жену? — выговаривал актер обрубьшу.

Тот молчал.

— Это разве не святое?! — наступал Марк.

— Святое,— вздохнул Иче.

— То-то же! — актер, подняв стакан, вдруг снова ухватился за свое кино.

— Ну что, Иче, пойдем к режиссеру?

Тот глянул на старика, который по-прежнему покури-  
вал у дверей на балкон:

— Да нет уж, если мы так нужны, то пусть режиссеры сами к нам приходят. Так, Илья?

— Так,— охотно согласился старик и тоже, подойдя к столику, поднял свой стакан.

## 8

Они, действительно, сделали быстрый обмен. Квартира нашлась в престижном районе и, к восторгу Оксаны, с телефоном.

Кажется, налаживалась новая, хорошая жизнь. К тому же Иче принял предложение актера попробоваться в кино, хотя поначалу наотрез от этого отказывался.

— Подумай хорошо! — Марк дал ему на размышление сутки.

Поразмыслив, обрубыш увидел, что судьба неспроста подбрасывала ему этот свой кинотрюк: исчерпываться — так до конца.

Обрубыш сначала сообщил о своем решении Оксане, та восхищенно глянула на него, будто и вправду перед ней стоял какой-нибудь молодой Марчелло Мастоляни, и принялась мечтать.

Но сначала обрубышу нужно было сообщить о своем решении.

— Будешь теперь моим секретарем! — шутливо поважничал он. — Позвони актеру и скажи, что предложение мы принимаем, — он сделал ударение на «мы».

— Я позвоню? — испугалась она.

— Ну да.

— Я смогу?

— Сможешь. Давай-давай, учись!

Телефон стоял в прихожей на высокой резной подставке.

Оксана чуть подрагивающими пальцами набрала номер и от растерянности так и произнесла с «мы»:

— Мы предложение принимаем...

Обрубыш загоготал. Глядя на нее, совсем потерявшуюся, и представляя в этот момент физиономию актера, смеялся до слез.

«Смотрины», как назвал Марк, назначили через день. Оксане купили новое в тонкую синюю полоску платье. Стройная, с шелковистыми волосами, ниспадающими на воротник под «матроску», она и сама стала походить на симпатичную новоиспеченную юнгу.

Иче надел заказанный еще до первой квартиры, но ни разу не надеванный черный костюм, черные лакированные туфли на высоком, специально подбитом каблуке.

Иче, одеваясь, с каким-то смятением представлял, как он будет выглядеть рядом с высокой в сравнении с ним девушкой, и, кажется, в какой-то момент собрался послать все к чертям, но, подумав, что рано или поздно им все равно придется выходить на люди, расправился с этим комплексом. А к тому же, кажется, нашел в этом и свои плюсы: именно в его положении человек должен шагать гордо вскинув голову — ведь не каждому дано иметь такую красивую подругу!

Так и шли по улицам: стройная девушка и с ней большеголовый с кривыми ногами коротыш.

Зеваки оборачивались, что-то говорили вслед, Иче знал примерно что: такая девушка и с таким... Но вот именно: такая девчонка принадлежит не им, а именно ему.

Режиссера Иче представлял крепким и немолодым. Отчего-то он виделся подавшимся вперед, словно во что-то внимательно вслушивался.

В общем, таким он и оказался.

Встретились, как и договорились, в театре Марка.

В классе, где проводили «смотрины», стоял рояль, у одного из окон — канцелярский стол и вдоль стен, как некое ожерелье, выстроились желтые стулья.

Один из них поставили в центре класса, усадив на него Иче, вручили листок с небольшим напечатанным текстом.

Оксана, сложив ладони на покрытых платьем коленях, сидела где-то возле двери, видно, внутренне переживая, подобралась.

Актер стал возле окна, режиссер, зайдя за рояль, облокотился о него.

Смотрели на восседавшего в центре комнаты головастого человечка с недостающими до пола ногами, обутыми в черные лакированные туфли.

Иче внимательно прочитал текст, поводил пальцами по лбу.

Комнату оккупировала вопросительная пауза. Обрубывишу увиделось, как сидит он в центре комнаты под прицельными взглядами режиссера и Марка. И, должно быть, сзади волнуется за него Оксана.

Он снова пробежался по строчкам и вдруг вспомнился седовласый старец. Он улыбался своей спокойной мудрой улыбкой, словно одобрял.

Иче глянул на актера, и тот свойски подмигнул: давай, мол, все нормально. Обрубывиш склонился над листком и как-то неожиданно для всех и для себя начал:

«Тысячи невзгод караулят человеческую жизнь. Зависают, как мечи, паскудно ждут своего часа, чтоб хоть однажды, но обрушиться, рассечь, изничтожить смысл ее. Но огромна сила ее, если трепетная и до боли беззащитная перед миром и самим человеком, она возрождает надежду.

И как бы не был велик и непонятен этот властный поток — Время, и мизерна, уничтожающе смешна по сравнению с ним та доля, что выпадает человеку на радости и любовь, она есть, и несмотря ни на что рождает самое высшее, может, самое беззащитное, а потому и самое великое — Веру...»

Иче смолк. Уставился глазами в пол, словно боялся поднять их.

Класс замер, как перед прыжком спортсмен.

— Ладно,— наконец, заговорил режиссер, походил вдоль рояля, приложив палец к нижней губе, глянул на обрубыша:

— Прочитай еще раз первые две фразы... Про себя... Прочитал? А теперь попробуй произнести глядя мне в глаза. Понял?

Иче выполнил.

И снова в классе стало тихо, словно ждали важного сообщения.

— Хорошо,— режиссер сложил обе ладони на рояле. — Будем решать.

— Я могу идти? — Иче почему-то повернулся к стоявшему у окна актеру.

— Я тебя проведу,— Марк подошел к Иче, положив руку на его плечо, прошел с ним до двери.

В коридоре, став напротив него, тепло посмотрел:

— Ты молодцом оказался. Я думаю, ему понравилось,— и, повернувшись к Оксане, свойски подмигнул:

— Будущая кинозвезда!

— «Мы принимаем»... — в тон ему ответил обрубыш, и они рассмеялись.

## 9

Новая квартира потихоньку обживалась; завезли кое-какую мебель: платяной шкаф, стол-стулья, раскладной диван, и в углу поставили телевизор.

Больше всего Иче нравился диван: тело утопало в его подушках, как в волнах, а раздвинутый, он был настоящим океаном. Для медового месяца штука незаменимая.

Раздвигая его перед сном, обрубыш в предвкушении любовных игр испытывал легкую истому.

Как и сейчас.

Он уменьшил звук телевизора, смягчил свечение экрана и, выключив свет, затаился под одеялом.

Ждать Оксану в мягком полумраке и в белоснежной постели тоже доставляло удовольствие — своеобразная прелюдия: на сердце в эти мгновения накатывала нетерпеливая истома.

Сейчас Оксана выйдет из ванной, в короткой ночнушке проплывет по комнате, волнуяще зашуршит сбрасываемая ею рубашка, и в свечении экрана, словно в огнях неона вылепится ее ладное обнаженное тело, розовые соски молодых тугих грудей, от взгляда на которые он всякий раз превращается в одно сплошное задохнувшееся сердце.

И вот из прихожей втек желтый свет, Оксана вошла в комнату, закрыла дверь, но, припав к ней спиной, осталась стоять понуро свесив голову.

Иче сел, свесив ноги к полу:

— Ты чего?

Оксана молчала, лишь сильнее клонила голову книзу.

— Что случилось? — он приподнялся на локте.

Она вдруг расплакалась, громко и по-детски беззащитно.

Иче сел свесив ноги к полу:

— Говори, что случилось?!

— У меня пошли... Женские... — прерывисто протянула она.

Иче какое-то мгновение включался в сказанное и вдруг, расхохотавшись, опрокинулся на постель. Его смех как-то подействовал на нее, она резко оборвала плач, всмотрелась в хохотавшую на постели фигуру.

Иче перекатился к краю постели, с затихающим смехом подозвал ее к себе. Она робко подступила. Обрубыш притянул ее к себе, завалив на одеяло, прерывисто, улыбающимися губами стал целовать влажный от слез рот, шею.

— Мне сейчас нельзя, — виновато выдохнула она и, казалось, снова приготовилась сорваться на плач.

Обрубыш, приподнявшись над нею, снова расхохотался:

— Ну нельзя, так нельзя.

— Получается, — она сделала паузу, словно глотнула воздуха, — получается, что я не в положении. — И она снова громко разрыдалась. — У меня, значит, уже никогда не будет ребенка! — Она редела отчаянно и безутешно.

В полумраке светил телевизор, который что-то приборматывал себе, как бледнолицый, брошенный в углу старик.

Иче губами припал к ее глазам, поцелуями испивал соленоватую влагу:

— Успокойся — это не всегда бывает сразу. — Сев на постели, обхватил колени. Сидел долго, неподвижно окованный какой-то мыслью. И потом сквозь приглушенный звук телевизора отчетливо расставил:

— Может, это и к лучшему. Зачем шутов плодить...

Он почувствовал, как подле него замерло ее тело.

— Шуты, посаженные в клетку... — бросил он в полумрак.

Оксана, перевернувшись на грудь, ткнулась лицом в одеяло. Из простыней глухо донесся ее голос:

— Я так хотела, чтобы у меня был маленький ребеночек. Чтобы у него были свои папа, мама и свой дом, чтобы он не рос в детском доме.



— Я не хочу детей! Понимаешь, не хочу! — Вдруг сорвался Иче с постели, заметался по свободному пятачку комнаты. Коренастый, в коротких плавках, он кружил в маленьком пространстве между шкафом, телевизором и кроватью и походил на маленького, рассерженного борца.

Мерцающий экран телевизора отбрасывал от его фигуры длинные, скользящие по стенкам тени.

— Я не хочу детей! Я не хочу новых страданий. Я не хочу, чтобы убивали их или убивали они! — Он быстро затопал в прихожую и из двери, не оборачиваясь, бросил:

— Нет у меня права давать новую жизнь. И ни у кого нет.

Оксана по-прежнему лежала уткнувшись лицом в постель, затаенно плакала. Иче босиком дошлепал до кухни, распечатал пачку сигарет. Нервно вышагивал вперед-назад в тесном пространстве. Мозг дублировал то плачущий голос Оксаны, то свой неожиданный нервный срыв. Мысли ходили на него самого, метавшегося меж двух стен. Выборочно работала память, выуживая из прошедшего самое гадкое, самое страшное: раскрытые глаза мертвеца, когда он, Иче, нагнулся, чтобы залезть в его карманы, смотрели, как два нацеленных дула.

Иче вдруг с похолодевшей душой подумал, что этот остекленевший вопрошающий взгляд начинает жить в нем, словно какая-то часть его самого. Невольный стон вырвался из его нутра.

Он стоял, потупив голову, забыв о дымившей сигарете, которую сдавил двумя пальцами, как школьный мелок. Вспомнил о ней, зашвырнул ее в раковину.

Проходя через прихожую, взглянул на телефон, глаза невольно выбрали две цифры: 02. Он приподнял трубку, рука на секунду зависла над аппаратом и вернула трубку на рычажки. Будто сработала кисть робота: вверх-вниз.

Как над чем-то приговор: «Все». И он вдруг остро осознал над чем.

Оксана уже лежала с краю постели с головой уйдя под одеяло.

По комнате по-прежнему растекался мерцающий свет телеэкрана.

Обрубьш, встав в изголовье Оксаны, опустился на колени. Ее рука, вынырнув из-под одеяла, скользнула к его щеке. Он ткнулся в нее лицом.

— Оксана, у меня уже ничего нет. Только ты осталась одна. Ты ведь не бросишь меня?

Она пригладила его виски, с какой-то материнской улыбкой выдохнула:

— Ну, как же я брошу тебя? Как?...

Кажется, успокоившись, обрубыш нырнул под одеяло, прильнув к Оксане, полез под рубашку, но, подоженный истомой, повздыхал, и нечего делать, отодвинулся от ее сводящего с ума тела на «свой» край постели.

Ворочаясь, думал, что во всем этот мир строит свои козни: куда только можно сует вороватую руку, чтобы выкрасть и без того из скудных человеческих радостей.

Черный ростовщик.

Обрубышу понравилось это пришедшее на ум сравнение, он нарочито выдохнул:

— Э-эх, черный ростовщик кругом!

Услыхав, как заворочалась в постели Оксана, крутанулся в ее сторону:

— Не спишь?

— Не-а.

Он сбросил с себя одеяло, сел, припав спиной к спинке дивана. Тотчас и Оксана, выскользнув из постели, прижалась к нему теплым боком.

Иче обнял ее за плечи, крепче прижал к себе.

В ночной тишине проступило их согласное молчание.

— О чем думаешь? — первым нарушил его Иче.

Она только беззащитно вздохнула. Обрубыш знал, о чем и мозг снова продублировал его недавний срыв: «У меня нет права давать новую жизнь».

Он повернул к ней лицо. В темноте едва заметно проступал ее точеный и в чем-то незнакомый сейчас профиль. Стало жаль ее: может, и не было на свете никаких прав, никаких свобод, а если и существовало что-то настоящее, то обыкновенный инстинкт, потребность женского существа рожать и растить детей. А незамысловатая человеческая правда в том, что за дарованную тебе жизнь ты должен отплатить новой? Для того и существует любовь?

Обрубыш прижал к себе Оксану и, как молящаяся парочка, качнулся с ней из стороны в сторону:

— Я не могу, когда ты грустишь,— он словно попросил о чем-то.

— А я и не грущу.

— Тогда что?

Она помолчала, для чего-то натянула на колени одеяло.

— Я просто про картинку думала, в какой-то книжке видала. Там женщина ребеночка кормит. А ребеночек так жмурится, как котенок,— бесхитростно выговорила она.

Иче почувствовал, как подобралась под рукой ее плечики.

— Ты в Бога веришь? — вдруг спросил он.

— Верю,— тихо призналась она.

— Серьезно?

— Серьезно. А что?

—Ничего. Хорошо. Давай спать. Утро вечера мудренее. — Поцеловав ее, он снова юркнул под одеяло на «своем» краю.

Притихли.

Он лежал с закрытыми глазами, дав свободу мыслям, не подавляя и не сопротивляясь им: как есть, так и есть.

В комнате настаивалась темная тишина.

Вдруг в этой безмолвии возник бессонный голос Оксаны:

— А ты веришь в Бога?

Иче открыл глаза:

— Ты чего не спишь? Верю я в Бога! Верю! — словно успокаивал он, хотя и сам не знал в кого верить, во что верит, да и верит ли вообще.

— А ты его любишь? — снова в тишину упал ее робкий голос.

— Кого? — они лежали друг к другу спинами.

— Ну, Бога...

Иче вздохнул, но снова заверил:

— И верю, и люблю, и уважаю! Спи, давай... — он поглубже влез под одеяло, но в памяти стали возникать бессонные фразы. И потом окончательно разлетелся сон, как пиала на черепки.

Спал он часа три. Уснув перед рассветом, проснулся от сдавленного постанывания: Оксана, взявшись за голову, покачивалась из стороны в сторону.

## 10

Приступ головной боли не стихал. Оксана металась по комнате, забивалась в угол дивана, но нестерпимая боль сгоняла ее с места, и снова в каком-то беспамятстве она металась по квартире. Левую сторону черепа, казалось, раскалывали надвое, боль отдавалась в глазу, зрачок сделался красным, помутнел, словно в нем лопнул кровяной сосуд.

Иче, не зная что предпринять, в растерянности и в страхе то ходил следом, то порывался вызвать «скорую», и, беспомощно свесив голову, сидел на краю дивана.

Открыв на кухне окна, жадно курил. После бессонной ночи выкуренная сигарета тупо опьянила.

Отходил, подставив под кран лицо. Утерся рукавом рубашки. Перекошенное от боли лицо Оксаны ни на секунду не выходило из головы.

Он осторожно вошел в комнату. Оксана не сумев справиться с приступом, громко постанывая, прижималась левой стороной лица к стене.

Обрубьш поймал себя на том, что от чувства страха за нее исходило чувство вины.

Страх порождал вину.

Будто он, именно он, Иче, совершил что-то такое, отчего у Оксаны начался этот страшный приступ.

Она заметила его появление, бросившись к нему в ноги, сползла на колени. Крепко обняв, прижалась лицом к груди:

— Помоги мне, Иче! Родной мой, спаси меня! — глухо сквозь плач прозвучал ее голос.

Оборвалось сердце, еще острее пронзило чувство вины, и вдруг на мгновение ему почудилось, что находится он в прежней квартире, и именно здесь прозвучали выстрелы, по этому полу волокли два трупа, и на этом паркете чернели пятна крови.

— Иче, помоги же мне! — Она сильнее вдавила лицо в его грудь.

— Я вызову «скорую», — он будто настоял.

Они приехали через полчаса: фельдшер с медсестрой. Запахло аптекой, от белых халатов и медицинской сумки потекло по комнате тревожное ожидание.

Фельдшер, коренастый мужчина в белом колпаке, больше походил на мясника в лавке, и его пятерне, казалось, больше подходила не резиновая груша тонометра, а засаленное топорище.

Замерив давление, он пробубнил, что «здесь» все в порядке, сделал болеутоляющий укол и нацарапал направление к невропатологу.

Они ушли, приступ, ударив новой сильной волной, стал ослабевать, через полчаса затих. Оксана, поджав под себя ноги, измотанная болью, заснула.

Набросив на нее свой пиджак, обрубьш, осторожно, выставляя вперед короткие кривые ноги, вышел на кухню.

На столике лежала распечатанная пачка сигарет. Иче долго непослушными пальцами вылавливал одну, задымил в открытое окно.

Ему не нужно было склоняться над подоконником, чтобы удобно сложить на нем локти, и он налег на руки, словно сидел за большим столом.

Из окна своего третьего этажа он не видел, что делалось сейчас там, на земле, но даже если б сейчас там началась самая страшная война, кого бы это могло удивить.

Жизнь и есть огромное побоище, где властвует одно — страх.

Страх любить и ненавидеть, страх быть верным и предавать, страх смеяться и быть осмеянным, страх дать новую жизнь и убивать.

С земли неожиданно ударил громкий, в чем-то знакомый смех. Иче отпрянул от подоконника, но поймав себя на таком испуге, свесился из окна.

«Влас», — узнал он. Тот тыкал в сторону прохожих, закатываясь от смеха, словно принял сильнодействующий наркотик.

Обрубьш испугался за Оксану, плотно прикрыл окно, тихо заглянул в комнату.

Оксана спала, сложив обе ладошки под щеку. Иче легко вздохнул.

## 11

Утром о прошедшем приступе Оксана вспоминала уже с улыбкой.

Они влезли на диван, и обрубьш, вытянувшись, положил голову на ее ноги.

— Ты меня вчера просто спас, — она с нежностью гладила ему голову, словно устроившегося на ее коленях щенка. — А то аж на стенку лезла! — Она улыбалась.

Иче лежал с закрытыми глазами, казалось, не слушал ее, а был занят своими мыслями, на улыбку ее ничем не ответил.

— О чем мы думаем? — Она пальцем легко нажала на кончик носа, как на кнопку.

— Вчера у меня был самый страшный день. Я никогда не чувствовал себя таким виноватым... Суеверным стал. Ведь в этой жизни как: Бог наказывает не того, кто совершил преступление, а его самого близкого. Зло возвращается. Рано или поздно зло возвращается. А человек и не узнает откуда его ударит. Только и будет что плакать: за что, Боже? А, значит, было за что или за кого. Но люди этого не понимают. Думают, что все сходит с рук. Вот и я думал, что Бог наказывает тебя за то, что я совершил...

— Но ведь ты меня спас! Ты меня от такого спас! Я бы после этого не жила...

Он открыл глаза, приложил палец к ее губам, будто запретил говорить.

Через несколько дней, они, кажется, уже и не помнили об этом разговоре, но вечером приступ снова настиг Оксану, и теперь боль, казалось, вдвое сильнее. Ночью вызвали «скорую», снова сделали болеутоляющий укол, к утру, разбитая и уставшая, Оксана уснула, но через несколько часов приступ начался снова. Боль находила волнами, распирала череп, отдавалась в глазу, слепила его.

Приступ длился три дня.

Иче звонил актеру, тот подъезжал на машине, Оксану показывали лучшим докторам, но каждый ставил свой диагноз. Сходились лишь в одном: такие приступы имеют свою продолжительность (у каждого больного — своя) и проходят сами, разумеется, не без помощи медицины.

На четвертый вечер он действительно спал, Оксана ходила счастливая, заснула улыбаясь.

Но Иче глаз не сомкнул. Ходил по затихшей ночной квартире, останавливаясь у телефона, долго стоял над ним привалившись плечом к стенке.

Телефон черной лягушкой восседал на резной высокой подставке, словно затаился в ожидании первого звонка.

Иче включил свет на кухне, раскрыл холодильник: бутылка шампанского, припасенная на всякий случай, стояла на месте, в боковом отсеке.

Иче достал ее. Холод от горлышка, обернутого серебряной фольгой, растекся от руки по всему телу, словно отрезвило.

Обрубьш поставил бутылку на стол. На завтра. Он представил, как проведет завтрашнее утро, как откроет шампанское и они с Оксаной будут пить и смеяться, а потом она раскинет постель, и они будут любить друг друга, как никогда раньше, как в последний раз, и потом снова поднимут бокалы, а черная лягушка на резной подставке, будет усмехаться и ждать — поднимет он трубку или нет, а если и поднимет, то найдет ли мужества набрать нужный номер и во всем признаться.

Думая о завтрашнем дне, обрубьш, кажется, видел все до мелочей. Вот после признания он звонит актеру, прощается с ним. Вскоре приезжает милиция, на его руках защелкиваются наручники, плачет Оксана, а его сажают в машину меж двух каких-нибудь крепышей. Потом они едут на заброшенный двор, Иче показывает засыпанный колодец, и вызванный экскаватор выкапывает трупы.

Вокруг какие-то люди, лица, наверное, актер, старик и Оксана.

Иче курил в ночное окно, высотный дом напротив горел несколькими окнами, как укрытый в тумане корабль.

Да и сам он, обрубыш, казалось, теперь уходит в какую-то туманную зыбкую даль.

Иче отшвырнул выкуренную почти до фильтра сигарету, она крошечным угольком пыхнула в густой ночи и сорвалась вниз к земле, оставив за собой тонкий след, как мизерная комета.

Иче сел за стол, продвинул к стене шампанское.

«Дед! Шампанского!» — вспомнился давний вечер, разговор с актером у старика Наума: «Религия исчерпанного человека. Только она может спасти людей. Исчерпать в одной любви любовь всех самых красивых женщин. Не испив и одной капли, испить всю разлитую в мире сладость и наслаждение. Короче, не имея — иметь. Не возвращаясь — вернуться. Не испытав ничего — пережить все!... Не убивая — убить!».

Толкнуло в сердце. «Не убивая — убить!» И снова до самых мелких деталей он увидел завтрашний день.

Таким он и оказался.

Оксана поднялась счастливая, оттого что проснулась не от приступа, а выспавшись, но не смела говорить о прошедших днях, словно боясь вернуть весь ад прошедшего.

Она принялась было готовить завтрак, коря себя за то, что провалялась в постели до одиннадцати, но Иче усадил ее за стол в комнате, включил телевизор, принес шампанского и заготовленную с утра закуску.

— У нас какое-то торжество? — Оксана с улыбкой и любопытством наблюдала за этим неожиданным сюрпризом.

— Торжество. — Но он улыбнулся, как при расставании. — Человеку некогда быть несчастливым.

Стол находился вплотную у окна, в которое было видно осеннее прозрачное небо — чистое и легкое, как подсиненная шаль.

Наверное, Оксана своим женским чутьем почувствовала в улыбке Иче знак тревоги и сама теперь улыбалась чуть потерянно, убеждаясь, что все неспроста: и это шампанское, и то, что Иче накрывал на стол сам, и та его скользнувшая вдаль улыбка.

Но, затаив тревогу, молчаливо ждала, пока Иче расскажет все сам.

И он предупредил: положив ладонь на ее руку, легко пожал:

— Это в честь тебя? Чтобы ты больше никогда не болела!

После этих слов, кажется, все изменилось. Открывали шампанское с озорством. Она хлопала в ладоши, смеялась, припомнив, как это было еще совсем недавно в первый раз. Звонко сдвинули бокалы, и сладким оказалось вино.

Все увиденное обрубышем в прошедшую ночь сбывалось.

Захмелев, наладили «свой» куплет, который пели в тот первый после ее побега день, и как тогда же, выпив шампанского, ударили об пол свои бокалы.

Она разбросала постель...

...Он выкрикнул ее имя, и оно сплелось с ее тонким стоном...

...Последним бокалом были ее ладони, сведенные в пиалу, как напоминание об их первой ночи.

Он испивал с ее рук последние капли, как неожиданно ударил телефонный звонок.

Переглянулись.

Иче оттер лицо рукавом рубахи.

Почти все время он думал о предстоящем признании, и вот телефон, казалось, сам подстегивал к развязке.

Ударило сердце, словно это был не телефонный, а звонок в дверь, и уже пришли за ним, и через минуту-другую для него все закончится. Зона.

Оксана, увидев перемену в глазах Иче, словно пришла на выручку:

— Может, это актер?

Обрубыш кивнул, снял трубку.

Звонил помощник режиссера, приглашал подписать какие-то договорные бумаги.

— Я играть не смогу,— после долгой паузы отказался Иче, краем глаза увидев, как обмерла в дверях Оксана.

— Как не сможете? — на другом конце провода, словно оборвался он, установилось вязкое молчание, и потом оно разорвалось на какие-то беспорядочные фразы, угрозы и уговоры.

— Марк вам все объяснит,— Иче прервал разговор, припал спиной к стене.

Оксана по-прежнему выжидающе стояла в дверях, и они долго смотрели друг другу в глаза.

Потом он увел взгляд в сторону и, казалось, надолго уйдя в себя, забыл об Оксане. Но он думал о ней, вспоминал, как в приступе боли, она металась по комнате, как



волокли они со стариком по ночному двору два трупа и со дна колодца ударил глухой стук.

Обрубьш поймал себя на том, что никогда еще не ощущал так присутствие предмета, как сейчас телефон.

Этот черный аппарат на высокой резной подставке имел над ним власть живого существа.

В комнате были трое: Оксана, он — Иче — и телефон. Настороженная тишина окольцевала их в один замкнутый круг.

Обрубьшу снова увиделось искаженное от боли лицо Оксаны и в какую-то секунду неожиданно для себя он снял трубку, набрал 02.

Он признался во всем и в первую секунду с глуповатой улыбкой посмотрел на поникшую в дверях Оксану: — Ну вот...

И вдруг толкнуло в сердце, и весь мир утонул в слякотной тоске.

Потом, много позже, находясь в зоне, если он возвращался к прошедшему, то именно к этому: минуты до звонка, признание и ожидание стука в дверь... А со временем он, кажется, уже начинал любить эти самые непростые минуты в своей жизни.

...Почти все предвиденное Иче сбылось, но он не предугадал, да и не мог предугадать две вещи, два события, может быть, на первый взгляд, случайные, а, может, и закономерные.

Но хотя, наверное, закономерность делает закономерностью случайность.

Обрубьша уже привезли на заброшенный двор, он показывал оперативникам место колодца, и уже экскаватор выбросил первые ковши рыхлой земли, как во дворе появился Влас.

В изодранной одежде, с грязными спутанными волосами, он держал на весу стеклянную банку, закрытую капроновой крышкой. В банке ползала муха.

Влас держал свою склянку двумя руками, как ценную вещь, предлагая то одному, то другому оперативнику купить ее.

Власа гнали, но через некоторое время он возникал снова. Подошел он и к обрубьшу:

— Из нее человек вырастет! Большой человек! Купи!

Иче внутренне содрогнулся: зная Власа, он не узнавал его. Перед ним стоял другой человек со сверкающими глазами гнойно-желтого цвета.

— Купишь? — Влас поднес к лицу Иче своего «будущего человека» в банке.

Стоящий рядом с обрубьшем милиционер, словно пугая дворнягу, притопнул на Власа:

— Пшел!

Тот, вздрогнув, отбежал, будто и вправду шавка, поджавшая хвост.

Во двор, не обращая внимания на окрики оперативников, просочилась толпа зевак. Издали наблюдали за работой экскаватора.

Над землю уже высился внушительный холм рыжей комкастой земли.

Постепенно место колодца стало походить не на микрокарьер, а скорее, на глубокий след какого-то огромного колеса. И чем больше становился он, тем глубже тонул в нем и сам экскаватор.

Машинист работал настороженно, подавшись плечами вперед, словно откапывал мину: чтобы не прозевать и не повредить трупы.

Обрубьш в окружении оперативников стоял над краем, отвечал на вопросы милицейского начальства.

В толпе мелькнули лица Ильи, актера и Оксаны. Актер пробрался вперед, но стоявший с дубинкой милиционер, преградил ему путь. Актер что-то долго объяснял, горячо жестикулировал, но его оттеснили назад.

Рядом с ним стояла Оксана. Обрубьш подметил ее припухшие глаза, отвел взгляд, но теперь уже все время чувствовал на себе их молчаливое отчаяние.

В какой-то момент над толпой у ворот вдруг возник возбужденный шум, и следом навалилась тяжелая тишина: десятки глаз из толпы жадно следили за ковшом экскаватора, который медленно поднялся из ямы, поплыл над землей. С зубьев ковша, как из пасти акулы, свисала облепленная землей нога трупа.

Ковш опустился к подножью холма, ударившись о землю, влип в нее. Нога мертвеца дернулась из стороны в сторону и снова замерла, как на зубах хищницы.

Несколько милиционеров уже стояли на месте.

Порассуждав, дали команду экскаваторщику, и тот, приподняв ковш, вывалил труп на смятую рыжую траву. Туловище мертвеца с измазанными глиной руками, ногами, почерневшей головой выпало, как обсыпанное землей корневище.

Иче отвел глаза.

Машинист в своей кабине, откинувшись на сиденье, оттер лоб рукой, выразительно глянул на Иче.

Обрубьш отвернулся.

Второй труп подняли с обломком доски.

«Кусок лестницы», — узнал Иче.

...Когда «работа» уже была закончена и экскаватор стал подниматься, в котлован сбежал Влас. Стоявшие наверху не обратили на это внимания, но возглас Власа развернул их. Он стоял в центре ямы на коленях и что-то пригоршнями подбрасывал над собой. Словно песок.

Присмотревшись, оцепенели: из земли бил ключ.

Влас разбрызгивал воду в центре колодца и, хохоча, поднимал к небу желтые сверкающие глаза.

Потом, вдруг вспомнив о своей банке, лежавшей подле колен, открыл и подставил под струю. Вода, попав на муху, смыла ее на дно.

Влас, захлопнув крышку, удобнее устроился на пятках и стал наблюдать. Воды в банке оказалось немного, пальца на два. Обмокшая муха, забив крыльями и лапками, доплыла до стенки, выкарабкалась на стекло и по нему стала ползти вверх к крышке. Влас наклонил банку, и вода смыла муху на дно. Она снова забарахталась, забила крыльями, дотянув до «берега», выползла на стенку и снова стала ползти к горлышку. Влас, еще раз наклонив банку, смыл муху.

И она снова заметалась в воде.

Подняв глаза на стоявшего над краем ямы обрубьша, он вскинул банку над головой и захохотал.

Из котлована бил дикий хохот обезумевшего, но чем-то наслаждающегося человека.

Иче вдруг вспомнилось, как много раз он видел себя мечущимся на дне какой-то ямы, над которой рвался смех. Хохот небес. И этот смех походил на гоготанье сошедшего с ума существа с гнойно-желтыми глазами. Словно это он — обезумевший Влас, как некий Творец, дико гоготал над созданной им же игрушкой: над этой склянкой, в которой отчаянно, стараясь спастись, билась ничтожная букашка.

Седовласый старец вдруг напомнил о себе своей спокойной ускользящей вдаль улыбкой. И, кажется, Иче впервые приблизился к разгадке ее.

Оперативник ткнул его кулаком в спину:

— Давай, двигай!

Обрубьш в последний раз бросил взгляд в яму, на дне которой подле ключа, хохотал безумный Влас, и ему почувнилось, что смотрит на это не он, а тот старец или превратившийся в эти мгновенья в старца сам Иче.

Толкнуло в сердце, все вокруг показалось несколько иным, более зримым, предметным, словно все это можно было взвесить в руке.

— В первый раз видишь, что ли?! — милиционер сильней толкнул Иче.

— В первый раз,— больше для себя повторил обрубыш, машинально забросив руки за спину, своей медвежьецирковой походкой пошел к воротам.

Он топал не поднимая лица на затаившуюся толпу, словно избегал десятков прицельно бьющих в него глаз. Но не этой пошущукивающей массы боялся он — за цепью милиционеров рядом с актером и стариком стояла Оксана.

Расстояние между ними сокращалось. Иче вдруг поднял глаза, и взгляд его вырвал из толпы плачущее лицо Оксаны.

— Иче! — она бросилась было к нему, но тут же оперативник вцепился в ее локоть, вернул назад, словно прилепил к толпе. Актер обнял ее за плечи.

— Тебя оправдают! — вдруг выкрикнул он. — Слышишь, оправдают!

Иче едва заметно кивнул и вошел в коридор из раступившейся перед ним толпы.

#### *Часть четвертая*

### **МАТРЕШКА**

#### **1**

Еще и не начался путь Иче к «своей» колонии, а незримые зэковские провода донесли в зону всю его подноготную: родился в тюрьме, родители бывшие зэки, скитался по детдомам, «сделал» двоих — сторожа и воспитателя, и, пожалуй, самое любопытное, кинозвезда.

Поджидали.

И хотя «послужной» список должен был внушить доверие, все же блатные устроили проверочку: постелили в дверях вместо половой тряпки чистое, белоснежное полотенце: если входя поднимет, значит, холуй, и тогда шестерить ему, пока не загнется, если отфутболит — мужик свой.

Обрубыш открыл дверь казармы. Полотенце сразу ударило в глаза, как белая полоска перед прыжковой ямой. Впрочем, и на деле ему предстояло что-то вроде прыжка: заступишь за линию, поднимешь полотенце — штрафник, оттолкнешься нормально — может, и повезет.

Иче успел смекнуть, что неспроста подстелена ему под ножки эта белоснежная вещичка, и не нагнулся, но и не отфутболил, а прошелся по ней, как будто по дорожке. И каждой клеткой, всем нутром ощущал сверлящие глаза блатарей.

Обрубьш скользнул по лицам: вот они, его «собратья», поджав под себя ноги, как ханы, уселись в углу на койках и пялятся, как на спектакле.

Смотрят, словно что-то выдавливают из тебя, будто ты тюбик зубной пасты или сапожного крема, ждут каким словом, каким жестом вывернешь перед ними свое нутро: трясутся поджилки или нет.

— Здесь твоя койка,— обрубьша сопровождал крепьш сержант. — Разбирайся,— повернул к дверям, небрежно впечатывая шаг в деревянные полы.

Обрубьш отсутствующе укладывал свои вещи в тумбочку на двоих, стоявшую меж двух кроватей, ни на кого не оглядывался и ничего не спрашивал.

Навязываться на знакомство-разговоры ни к чему. Здесь свои законы. Впрочем, что и на воле: как с самого начала поставишь себя, так и будут к тебе относиться.

Тишина зависла в казарме, как падающая скала, лишь скрипнула под кем-то койка, да задвинул-выдвинул обрубьш свободно ходивший ящичек тумбочки.

— Эзоп! — вдруг опустилось в этой вязкой тишине. Тут же покотил хохот.

Обрубьш сидел на койке спиной к хохотавшим, на секунду замер: в смехе пока не было какой-то неприязни или издевки, но кличку ему, кажется, налепили наверняка. Эзоп. Но в общем-то даже хорошо. В любом случае, не жопа.

А потом он услышал, как из-за спины стали приближаться медленные шаги.

В проходе меж кроватей, сунув руки в карманы, в распахнутой рубашке стал сухощавый тип лет сорока.

Иче повернул к нему голову. Глаза в глаза. Подошедший, казалось, не смотрел, а что-то поедал в душе.

Волчий взгляд.

Но это длилось секунду, в следующее мгновение тот уже садился на койку напротив, к нему подсели еще двое, и рядом с Иче примостился четвертый.

Потихоньку раскрутился разговор: «кто-откуда», «сколько», «когда» и прочие разные разности.

В разговоре сухощавый на секунду уперся о колени ладонями, и на его кистях Иче заметил по наколке. На левой во всю ширину большими печатными буквами, как на

транспаранте, красовалось: «Не падай духом», на второй — «Не слишком радуйся».

Сухощавый, назвавшийся Виталием, подсек взгляд Иче, и, кивнув на свои «транспоранты», хитро подбросил:

— Хороши, Эзоп? — И тут же под хохот остальных шутовски раскинул руками: — Смотрю, заходит, голова, как арбузина, громадная! Верняк, думаю, ума палата! Эзо-оп!

Иче улыбнулся. А с той поры так и поехало: Эзоп да Эзоп.

## 2

Первый шаг по зоне, первые знакомства, первый день и первая ночь. Кто-то запомнит их, а у другого выветрится из памяти, как вонь из проветренной комнаты. У каждого свое.

А зависит все от пережитого в эти первые часы, минуты, шаги, встречи.

После нескольких месяцев тюрьмы, что Иче находился под следствием, оказавшись в зоне, он не мог бы сказать себе, что здесь его что-то оглушило, опрокинуло, вывернуло душу.

Люди тюрьмы везде люди тюрьмы.

Надо держаться.

Теперь оставалось только это: выстоять и выйти отсюда незапачканным... Ворочался Иче в свою первую ночь на зоне. Бессонно глядел в окно, за которым, как черные больные легкие каторжника, нависло тяжелое мартовское небо.

...Вышки. Колючая в несколько рядов проволока над глухим каменным забором.

Заперт. Замурован на долгие годы.

Подумалось об Оксане и толкнуло, нестерпимо заныло сердце, словно обмотали его в эту колючую проволоку.

И отчего так на земле: просишь, когда имеешь; теряешь, когда обретишь, и ценишь, когда потеряешь...

## 3

Все здесь имело свои клички, какие-то шифры, двойные имена: и заключенные, и надзиратели, начальник колонии и сама колония.

Начальника, подполковника Толстых, величали Баринном, а его колонию «Ясная Поляна». Наверное, все пошло от фамилии, так схожей с фамилией великого классика, но и сам подполковник — крупный, с широкими усами,

жил, как помещик, считал себя безраздельным хозяином людей, вышек, зданий, дорог и поселка, который находился в полукилометре от зоны, и жил, в основном, за счет самой колонии.

К своей вотчине Толстых причислял туфовый карьер за поселком и лес, раскинувшийся от зоны на десятки километров на запад.

Стоило кому-то произнести «Барин» — и все эти владения, все это огромное хозяйство непроизвольно вставало перед глазами.

Барин имел самый хороший в поселке дом: огромный, на два этажа, с большой биллиардной и камином, отдельной сауной и ухоженным садом.

Многое было сделано в расчете на гостей, в основном, на высокое начальство из столицы, которое любило наезжать к нему поохотиться, побаловаться с девицами в лесном, специально для этого срубленном домике.

Гордостью Барина был и хозучасток на самой зоне: различные мастерские, а главное, большая теплица и меховой цех.

Пошить дубленку из выделанной здесь же овчинки: шапку из ондатры, воротничок лисий — пожалуйста: спецы имелись самые классные.

И ни один столичный начальник уходил отсюда с презентом.

К Барину заезжать любили.

Помещику не хватало лишь одного: театра. Собственного театра. Какая-то самодеятельность, конечно, была, но чтоб театра, чтоб играли пьесу да не одну... А какой помещик без театра...

Но, как говорится, Бог милостив, внял мольбам, и когда в колонию привезли кинозвезду, Иче, Барин почувствовал, что час театра, его театра, подполковника Толстых, пробил.

Барин дал команду, чтоб недельку прибывшая кинозвезда попахала как следует на туфкарьере (будет знать цену остальному), и потом вызвал Иче на беседу.

#### 4

Обрубаш вошел в кабинет, смятая в руке снятую еще перед дверьми казенную шапку.

Барин, откинувшись в кресле, курил «Мальборо». Раскрытая пачка лежала на столе возле белого телефона.

С минуту шурясь то ли от дыма, то ли будто от дыма, вглядывался в Иче.

Тот, уже зная, что лучше не выдерживать взгляда на-

чальника, увел глаза кверху на висевший за его спиной портрет «железного» Феликса.

Справа от Барина в углу стояли два мощных сейфа, окрашенных «под дуб» — цвет кабинетной мебели.

На двух зарешеченных окнах вились горшечные цветы. Между окон уместился книжный шкаф. Взгляд привлекла стоявшая за стеклом большая матрешка Ленин. Такую обрубаш видел в столице. Внутри нее, Ленина, должны были быть еще вожди.словно каждый вождь был беременен последующим вождем: Ленин беременен Сталиным, Сталин — Хрущевым, Хрущев брюхат Брежневым, Брежнев — Андроповым, и другие беременности.

Все это увиделось в пару затяжек Барина.

— Проходи, садись,— наконец, кивнул он на стулья за т-образным столом.

Иче выдвинул стул с краю: из четырех ближний к себе.

— Садись ближе. Я глаза люблю. Болезнь у меня такая, в глаза обожаю смотреть,— он как будто о чем-то предупреждал.

Иче пересел ближе к столу подполковника.

— Ну, рассказывай, Эзоп! — покуривал Барин.

Иче бросил в него вопросительным взглядом.

— Знаю, конечно. Я про тебя все знаю. Даже то, чего ты сам о себе не знаешь.

Иче сложил на столе квадратные ладони, Взгляд снова попал на матрешку Ленина: лысая сверкающая макушка, борода, галстук.

— Про самого Эзопа-то слышал, наверное... — голос у начальника был низкий, прокуренный.

— Видел кино...

— Да... Он хоть и был толковый, да ущербный, видать. Из-за какой-то мнимой свободы в море-океане топиться... А, Эзоп?...

Иче отчего-то вспомнилась ночь на кухне, пущенный газ. Барин с любопытством осмотрел его:

— Чего замолчал-то?

Обрубаш пожал плечами.

За решетками окон замелькали головы в зимних шапках: куда-то повели строй заключенных.

Подполковник, улыбаясь, вкусно курил.

— Ну, как карьер? — вдруг в упор спросил он.

— Не мед,— откровенно взглянул Иче.

— Молодец, Эзоп! За откровенность хвалю. Если мы и дальше так поладим, будешь жить нормально,— Он как-то по-особенному заглянул в глаза, сцепил на столе руки: — Я вот что хочу тебе поручить,— он произнес это так, слов-



но объявлял амнистию,— раз уж ты кинозвезда да к тому же, как оказывается, еще и Эзоп, то и карты тебе в руки. — Он сделал паузу, и из нее расползлось по кабинету напряженное ожидание:

— Театр потянешь? — он пристально взглянул.

Обрубыйш не знал, что именно имелось в виду, но теперь, после туфового карьера, он, кажется, мог бы потянуть что угодно.

И все же спросил:

— А что именно?

— Пьеску нужно поставить. Осилишь?

— Я могу подумать? — Иче вспомнил свои «смотрины» в театре Марка, киносюжет об исчерпанном человеке.

— Это мне нравится. Скажу прямо: если бы ты с налету сказал «да», я бы тебе не поверил. Ну ладно, иди. Работать будешь в меховом цехе.

Камни туфового карьера свалились с плеч...

Иче подходил к дверям, протянул было руку, чтоб открыть их, но вопрос в спину остановил его:

— Эзоп, а ты в Бога веришь?

Иче повернулся не сразу, стоял, опустив большую голову.

Потом, смяв в руках шапку, словно хотел отжать ее, повернулся:

— Я не могу точно сказать...

— Ну вот...

— Бога нет. Но он был. Он создал мир из себя. Он разрушил себя, чтоб создать мир. Это как плод, который попав в землю, разрушается, но дает жизнь сотням побегам. Бог первоначально был Творцом, а потом стал самим творением. Он дал жизнь, он создал все для жизни и как Бог ушел.

Бога нет, но есть память о нем. Кто хранит ее, тот и приближается к нему. Память о Боге и есть Бог. — Он выронил это на одном дыхании и внутренне дрогнул сам: ведь он раньше не знал этой мысли, не подозревал, что она может быть, что она могла жить в его мозгу. И вот он произнес ее так, как будто она жила в нем всегда.

От этого нового знания на мгновение он ощутил в себе какой-то прилив энергии, радостную легкость.

— Идите,— подполковник отчего-то вдруг перешел на «вы» и уткнулся в бумаги на столе.

## 5

Как собаки чувят зарытую в земле кость. Василий со своим дружкой почувствовали: побег.

Они не знали, как именно и когда, но весть о том, что Иче поручили театр, казалось, уже сама по себе таила эту будоражащую надежду — бежать.

Они думали о побеге давно и кое-что (а, в общем, самое основное — карту и компас) уже раздобыли и ждали удобного момента.

И вот, кажется, он наступал. Нужно было только записаться в артисты, терпеливо ждать, а, главное, всегда быть наготове.

С собой решили угнать и самого Иче: если надолго окажутся без харчей и воды, выпить его кровь и использовать мясо.

Разумеется, о побеге ему ни слова.

Все должно было идти своим чередом.

## 6

Это неожиданное задание — театр, ему, Иче, казалось счастливой возможностью выстоять в этой грязи, сохранить в себе что-то человеческое. Но что играть? Как? Единственный его киношный опыт — «смотрины» в театре Марка были не самой надежной опорой. Но они как раз и помогли: обрубьш решил придумать пьесу сам, а, в общем, она, можно сказать, была готова: его история.

И обрубьш в кабинете Барина выложил свои замыслы, хотя насчет того, что эта пьеска о его жизни, умолчал.

Подполковник одобрил эту идею:

— Это хорошо, что и про тюрьму. В воспитательных целях: вот-де, человек, который убил своего ближнего, попав в колонию, сознает весь ужас совершенного, раскаивается, становится на праведный путь!. — Он поразмыслил и вдохновенно добавил: — И пусть приходит к Богу! Да, именно в колонии и к Богу! А? Каково? — Он даже взволнованно закурил и, наверное, в эти мгновения ощущал себя, по меньшей мере, автором «Горя от ума».

— Да-а,— в раздумье продолжил он,— надо бы и взаправду какого-нибудь попяру завести да в поселке храмик построить. Это, так сказать, в русле современности! — и он что-то чиркнул карандашом на листке перекидного календаря.

Матрешка Ленин за стеклом книжного шкафа снова привлекла внимание Иче. Подполковник это заметил:

— Это тоже в русле времени. Так сказать, свобода мыслей, демократизация и всякая прочая хреновина,— он пощелкал зажигалкой и вдруг в упор глянул:

— О побеге уже мечтал, Эзоп? Говори честно.

Обрубьш на этот раз глаз не отвел:

— Я не побегу.

— Знаю, мол, это я так просто,— ткнул подполковник.

— Куда? И зачем? Мир, гражданин начальник, как эта матрешка: тюрьма в тюрьме, неволя в неволе,— нарочито обреченно расставил Иче. — Те, кто на гражданке думают, что они свободны. А наш голубой шарик уже и есть зона. Закрытая зона. Закупоренная наглухо. Я бы даже так сказал: колония для особо опасных. А внутри колонии еще другие подобные заведения: психушки, тюрьмы, а в этих заведениях сам человек тоже маленькая тюрьма.

— Но у человека душа! — Барин наставительно вскинул палец.

Иче по своей привычке держал ладони на краю стола. Задумавшись, непроизвольно завозил пальцами правой руки по темно-коричневой полировке, словно стирал пятно:

— Душа потому и безгранична, что заперта.

— Запомню я тебя.. — Барин произнес это с еле заметной улыбкой.

Иче промолчал.

Барин вышел из-за стола, став у окна спиной к обрубьшу, о чем-то молчал.

— Гражданин начальник,— с улыбкой обратился Иче.

— Ну,— не обернулся тот.

— У меня небольшая такая идейка... Пусть на следующих матрешках ваш художник номера нарисует. Как у эков были. На лбу, на спине, на животе. Вот это, действительно, будет в русле времени. Если партию таких изготовить, нарасхват пойдут. Матрешка Ленин с тюремными номерами. Открывают ее, а там Сталин снова с тюремными номерами на лбу, на спине... Не матрешки, а кайф!

Барин сочным низким голосом расхохотался:

— Ну ты даешь, Эзоп! Ну и угостил! — и подойдя к шкафу, достал матрешку со сверкающей лысиной и бородкой, открыл — и через секунду, видно, представив что-то, заржал своим звучным гортанным смехом.

Рассмеялся и Иче.

Возвращая матрешку на место, Барин отсутствующим тоном вдруг спросил:

— Эзоп, у тебя твоя, кто она там тебе, подруга или жена, хороша?

— Наверное.

— Значит, хороша,— Барин продолжал стоять лицом

к шкафу, задвигая стекло: — Давай поскорей делай свой спектакль, и мы пригласим ее. Разрешу тебе свидание.

Иче метнул в его широкий затылок пристальным взглядом: с чего бы это. Кольнуло в сердце. Обрубьш слышал о кутежах начальника, поговаривали, что он тайно содержит чуть ли не целый гарем.

Так и вышел из его кабинета с тяжелым предчувствием.

## 7

Северное майское солнце еще не очень греет, но если постоять на нем, чувствуешь его тепло, словно ласкает тебя девичья рука.

Но и вместе с тем на душе разливается пьянящая грусть, грусть в тебе, грусть вокруг тебя. Наверное, от того, что в такой ясный день твое небо наколото на проволоку и вышки часовых и отмерено, как скупая лагерная пайка.

И есть слово «невозможность». Иче думает об этом, выйдя из мехового цеха на короткий пятиминутный перерыв.

Сигарета. Майское солнышко. И острее воспринимается это, наверное, самое страшное, самое печальное понятие — невозможность: невозможность вернуть упущенное, невозможность использовать настоящее, невозможность уберечься от боли будущего.

С тревогой подумалось об Оксане и отчего-то вспомнился тот далекий теперь, словно из какого-то туманного мира, магазин с колокольчиком на дверях и высокий красавчик с ключами от автомашины.

Ревниво заняло сердце, а не забыла ли о нем его Оксана. Расставание есть расставание, тем более на такой срок. И тем более, она так молода и красива.

Но не могла. Не должна была. Во всяком случае, во всех письмах были строчки о том, что она ждет и будет ждать сколько угодно, что бы там ни случилось.

И то, что Марк с женой на время взяли ее к себе, тоже, наверное, хорошо. Но сколько времени еще придется ждать!

Из цеха вышел начальник, коренастый молодой мужчина, Антон, тоже стал у стены на солнышке, закурил из пачки Иче.

У дверей цеха маячила унылая фигура надзирателя.

Антон «залетел» за кожу. Умудрился «пихнуть налево» крупную партию фабричного шевро. Дали семь лет. Здесь он устроился неплохо: в работе был ас. Да и он, Иче, за эти несколько месяцев в колонии стал настоящим профи в выделке и покраске мехов и кожи.

Иче поднес сигарету ко рту, от руки остро понесло запахом кислоты. Но через несколько часов он снимет эти резиновые сапоги, эту провонявшую кожей и кислотами рабочую одежду и — в клуб. За пьесу...

Это было любимое здесь время, хотя и очень непростой оказалась эта штукавина — сочинительство. На первый взгляд, простое (что вроде бы проще, чем рассказать свою жизнь), на деле оно имело миллион своих ловушек.

Основная хитрость заключалась в действии: как передать, допустим, его ночную поездку за Оксаной? Вернее, как показать это в крохотном пространстве клубной сцены, где не только прокатиться, колесо от машины поставить негде.

Эту задачку не удавалось расщелкать не один день и неделю. Но все-таки решение нашлось. Пусть все вышло не по пьесным правилам, но дело все-таки сдвинулось: где-то на краю сцены должен был стать ведущий, который вроде бы вспоминал свою жизнь, а сам потихоньку пояснял все «уехали», «приехали», «бежали», «провожали».

Иногда нравилось и самому. Не Шекспир, но все же приятно. И он втихомолку порой гордился.

«Артистам» тоже нравилось. Особенно Виталию и его дружку Ноздре. Эти почти напросились на главные роли. И чего он, Иче, не ожидал, со старанием зубрили написанное. Может быть, и в школе так не учили, а тут усердствовали.

А кроме всего, взяли над ним что-то вроде шефства. Если поначалу кто-то и мог оскорбить, унижить, то сейчас его не трогали. Боялись.

Он знал: Ноздря сделал предупреждение: кто тронет Эзопа, дело будет иметь лично с ним, Ноздрей и Виталием.

В общем-то, за это, конечно, спасибо.

И вот теперь оставалось досочинить концовку пьесы, как того хотел Барин: герой, попав в колонию, исправляется.

## 8

После того давнего разговора с Бариним в его кабинете, когда Иче, словно нечаянно выронил неожиданную и для себя мысль о Боге, она стала одной из любимых, над которой ему нравилось размышлять.

...Бога нет. Но он был. Он создал мир из себя. Он разрушил себя, чтобы создать мир. Бог первоначально был

Творцом, а потом сам стал творением. Бога нет, но есть память о нем. Память о Боге и есть Бог...

Эта мысль, как и всякая другая, в конечном итоге, упиралась в безответный вопрос, что-то смешивала, но и многое теперь могла объяснить. Хотя бы Смерть и Жестокость. Если Бог отдал свою жизнь, чтобы были мы, то имеем ли мы тогда право плакаться о своей смертности?

Бог становился неподсудным.

Эта мысль, что-то высветляя в душе, одновременно приносила острое ощущение одиночества. И покинутости. Ты оставался одиноким, выброшенным в черный хаос мира, в эту мерзлую бездну.

И он, Иче, никогда не признававший Бога, теперь желал обрести его.

## 9

Самое заветное слово заключенного — воля. Ни к чему более так не тянется его мысль, как к ней.

Он раздвоен, разодран: телом находится здесь, за глухим забором, а душой, перелетев на сотни километров, вершит на свободе какие-то свои оставленные дела: кто-то готовится к будущей мести, другой крадет ценности, третий любит и строит новую жизнь.

Всякому свое.

Но мысль о свободе живет в нем, как неутихающая бесконечная боль. И тем дороже всякая связь с той, отсеченной от тебя жизни.

А если тебе пишут, кажется, и время проходит легче: в ожидании от письма к письму. Как вехи на незримом этапе отмеренного тебе срока.

Радостно и больно получать письма в неволе. В первые минуты, когда видишь знакомый тебе почерк, охватывает тебя ликование, но когда оно прочитано, и несколько раз, настигает тоска: ты здесь, а близкий тебе человек далеко, вы разделены.

Обрубаш жил в этом измерении времени: от одного письма Оксаны к другому.

Но полученное несколько дней назад изменило многое.

Оксана писала, что она беременна, наверное, скоро родит. А не сообщала об этом потому, что боялась, что он, Иче, запретит иметь ребенка. Марк водил ее к какому-то известному врачу, у нее взяли анализы и сказали, что ребенок родится безо всяких отклонений, и скоро Иче станет отцом «хорошенького мальчишки». А то, что «мальчишка», показал аппарат.

Дочитывал он письмо с подрагивающими пальцами: он, обрубыш — отец!

Первой мыслью было с кем-то поделиться этой радостной новостью, но с кем? Виталием и Ноздрей? Бариним?

И он уже, кажется, несся к Виталию, держа в кармане руку с письмом, но поостыл, решив, что пусть пока никто не знает: ведь кому известно, сколько здесь придется перенести унижений, а отцу, пусть ребенок еще и совсем крошка, не подобает позорить его. Те унижения, которые могут выпасть на него, обрубыша, долю, не должны пачкать чистое имя младенца.

И вспоминался последний прощальный день с Оксаной: он пьет шампанское с ее рук, а потом была раскидана постель, жаркое тело и красивое лицо, их одновременный вскрик, как знак гармонии слившихся тел.

Думая об этом, обрубыш знал: Оксана забеременела в тот день, когда все у них произошло одновременно.

Отец!...

В первые часы и в первые дни ему еще не верилось в это, он казался и сам себе ребенком.

Мысль об отцовстве забавляла, невольно высвечивая на лице непослушную улыбку.

И было множество вопросов: как назвать малыша, на кого он будет больше похож, каким вырастет...

Но как бы там ни было, он вырастет, имея родителей, свой дом, хотя судьба его ребенка в чем-то повторяет его судьбу, сын вырастет свободным человеком.

Но ошутимей становилась боль от невозможности быть сейчас рядом с Оксаной.

## 10

В ожидании новых весточек из дома, в череде тревожных трудных лагерных дней накатило время первого спектакля. Колония, казалось, гудела, как далекая лавина: премьера!

Вечером клуб, одноэтажное здание, похожее на старинный длинный барак, набился шумливым, однообразно одетым людом.

Нетерпеливые взгляды тянулись к закрытому красному полотнищу занавеса. Заметное возбуждение делало эту коротко стриженную массу похожей на муравьиный копошащийся ком.

В переднем ряду важно расселось начальство, у стен и двери выстроились надзиратели.

— Шайбу! — кто-то выкрикнул из полутемного зала, и по рядам покатил ершистый хохот.

— Ноздря, покажись! — возник еще один насмешливый выкрик.

Но вот по низким деревянным ступенькам на освещенную сцену поднялся сам Барин, стал перед едва заметно колышущимся занавесом, сцепив перед собой руки, щурясь от света, взгляделся в длинное нугро клуба.

Притихли.

Лишь в разных концах нервно скрипнули стулья.

— Сегодня у нас радостный день! — звучно начал подполковник, словно выступал на каком-то митинге красных. — У нас, здесь, в лесной северной глуши начинает жить наш собственный театр! — и он сам, артистично, приподнял раскрытые ладони.

Зал загромыхал. Брошенная кверху рука подполковника разом оборвала аплодисменты, крики «ура».

Барин заправски выдержал паузу и стал говорить красивые слова про искусство, воспитание, а, в общем, получилась ода в свой адрес.

Но вот он вернулся на свое место в центре первого ряда, через минуту медленно, гремя кольцами, раздвинулся занавес, и на сцене появился обрубыш.

— Даешь, Эзоп! — пытался кто-то подвеселить ряды, но на него тут же шикнули.

Пьеса пошла...

Успех, казалось, больше всех достался женоподобному Ваське, который, переодетым в женское платье играл главную героиню.

Самая глубокая тишина стояла в сценке суда, когда Виталию, игравшему главную роль, то есть обрубыша, «суд» предоставил последнее слово.

Все было продумано так, словно и был настоящий зал суда. В глубине сцены за длинным столом расположились три судьи, впереди слева разместился прокурор, а сам заключенный, как полагается, сидел на скамье справа.

Зрители невольно становились соучастниками судебного заседания.

Виталий поднялся со своей длинной скамьи, красивый, с сильным голосом, он невольно вызывал симпатии.

С первых слов он заарканил поджавшийся, неподдельно соперяживающий зал:

— Меня обвиняют в убийстве воспитателя детского дома и спрашивают: признаю ли я свою вину, — он опустил голову, помолчал и снова поднял глаза: — В этой жизни



одни люди наделены душой врача, другие — прокурора, третьи — палача и осведомителя.

Но в этой жизни часто все перевернуто: прокурор по профессии в душе вор, учитель — развратник, а врач — человеконенавистник и палач! — «подсудимый» снова выдержал паузу.

Зал в эти секунды походил на один полутемный приоткрытый рот, жадно ловивший слова Виталия:

— Сожалею ли я об убийстве этого воспитателя?... Но воспитатель ли он или убийца, развративший не одну детскую душу?!

— Мужик, Виталька! — с жаром выкрикнули из задних рядов.

А «Виталька», кажется, вошел во вкус:

— Да, я сожалею о том, что мною пролита кровь! Но в том, что я уничтожил эту гадину, я не виню себя!

По рядам пошло нервное напряжение. И тут «подсудимый», стоявший до этого в профиль, развернулся к залу:

— Горько и другое! Преступника можно уничтожить, но зло уничтожить нельзя. Зло не уничтожимо! Оно, как воздух! — И тут в мертвенной тишине он негромко выдохнул: — Жаль!

Стояла долгая пауза: молчали и на сцене, затихли коротко стриженные и в полутемном зале.

И вдруг словно стала сходить лавина, громко, в азарте забили десятки ладоней, посыпались крики:

— Молодец, Виталька!

— Правду говорит!

— Ура Эзопу!

Досматривали пьесу с улыбками: здесь уже были знакомые картинки из жизни зоны, родное и узнаваемое, а тем более, и артисты сами точно играли свою жизнь.

Премьера, кажется, удалась. Доволен был и Барин: главный герой, честно отсидев, вышел на свободу обновленным человеком.

Под аплодисменты артисты выстроились на сцене, с краю, смущенно улыбаясь, стоял Иче. Впереди этой шеренги, как некий маэстро, выдавал свою заключительную речь подполковник Толстых.

Выждав, когда он закончит, Виталий ткнул в бок стоявшую рядом «главную героиню» Ваську: давай, мол, начинай.

Когда закончили хлопать Барину, Васька, выйдя на шаг из шеренги, кокетливо поправил на голове платочек:

— Гражданин начальник... — зал загоготал.

Барин обернулся.

Васька нарочито стыдливо одернул платье:

— Вы сказали, что мы артисты. Так?

— Так,— посмеивался Толстых.

— А можно нам в поселковом клубе выступить?

Зал притих.

Барин на секунду задумался.

— Посмотрим,— коротко бросил он, но все поняли, что в «гастролях», по крайней мере, не отказано.

Ноздря сжал кисть Виталию.

— Еще подожди,— тот едва заметно шевельнул губами.

— Все на мази,— шепнул Ноздря. — Все на мази, братуха!

## 11

Барин не мог отказать своему тщеславию — блеснуть перед миром своим новым достижением, тем более уже все в поселке, да и далеко вокруг слышали о зэковском театре подполковника Толстых.

Решено было дать спектакль в поселке.

Виталий и Ноздря потихоньку торжествовали.

За день до выступления подбили, подремонтировали обувь. Можно было бы раздобыть и новые башмаки, но решили лучше в старых, во всяком случае ноги, как в новых, не разобьешь.

А какой побег с разбитыми ногами?

Перед отбоем вместе с обрубьем выкурили по сигарете.

— Ну как, на «гастроли»? — Ноздря свойски обнял коротыша за плечи и незаметно с усмешкой подмигнул Виталию.

— Гастроли... — с улыбкой кивнул Иче, не подозревая на какие гастроли намекал Ноздря.

На следующий день после обеда к клубу подали грузовичок.

С шутками-прибаутками погрузили немудреный реквизит.

За всем наблюдали три конвоира с автоматами. Смотрели каждый ящик, прощупывали самую захудалую тряпицу.

Машина выехала из зоны и осталась ждать за воротами. Десятерых «артистов» еще раз прощупали на вахте и под автоматами тех же троих конвоиров они влезли в кузов грузовика. Сидели кто-где: на ящиках, тряпках, скамейке.

Один из автоматчиков сел в кабину с шофером из вольнонаемных, и двое конвоиров разместились на длинной от борта к борту доске, заменявшей скамью.

Сидели автоматами к заключенным, спиной к кабине.

Синее июльское небо подрагивало над громыхавшим по укатанной дороге грузовиком. Первые минуты молчали, словно онемевшие от свободы, от бескрайней синевы, которая сейчас не была опутана колючей проволокой.

Хотя и под автоматами, но все-таки для десятерых одетых в черную «форменку» заключенных, это был пьянящий глоток свободы.

В полукилометре справа, за нескошенным лугом темнела глухая стена леса.

Кусок воли.

Хотя и раньше были эти дороги на туфовый карьер и на лесоповал, все же эта поездка особенная.

— Что, мужики, пригорюнились? — возбужденно блеснули глаза Виталия. — Эзоп, а может, песенку наладим? Нашенскую, родимую, а? — И громко затянул есенинское «Письмо к матери».

«Артисты» заулыбались и один за другим подхватили знакомую мелодию:

...Пишут мне, что ты тая тревогу,  
Загрустила шибко обо мне,  
Что ты часто ходишь на дорогу  
В старомодном ветхом шушуне...

Конвоиры — молодые еще парни — с улыбкой переглянулись.

А дружный хор, словно желая перекрыть натужный рев громыхающего по дороге грузовика, звучал все громче.

Пели, будто опьяненные.

Иче, подрагивая на ящике с реквизитом, тоже во всю силу горланил старую знакомую песню, старательно вытягивая высокие нотки, видел прощальный день с Оксаной, замирало сердце, словно сейчас билось под ним ее жаркое тело и рядом вставала другая, тоже хмелящая мысль: он скоро — отец! И ошутимей казался конверт с письмом, лежавший в нагрудном кармане.

Ворота колонии словно долго бежали следом по пыльной дороге, будто пытались настичь и проглотить неумолимо убегающий грузовик. Но вместе с тем они заметно таяли.

В одно из мгновений Ноздря подмигнул Виталию: пора, и, достав сигареты, издали предложил солдатам:

— Братухи! Угощаю!

Конвоиры отсутствующе молчали.

— Мои лучше! — приподнялся сидевший рядом Виталий.

— Да курите, ребятки! — вдруг неожиданно для всех с протянутыми сигаретами Ноздря пошел на конвоира.

— Сидеть! — Тот пригрозил автоматом, но через мгновение оказался накрытым навалившимся на него заключенным.

Второй солдат кинулся было на выручку товарищу, но был сбит подскочившим Виталием. Автомат оказался у Виталия в руках:

— Лежать! Лежать, падла! — процедил он. Солдат вытянулся на дне подрагивающего кузова. Второго конвоира бросили рядом.

Теперь у заключенных было по автомату.

Ноздря припал вперед к борту и сильно забил прикладом по крыше кабины.

Грузовик остановился. Открылась дверца со стороны конвоира, но тут же он вывалился из кабины оглушенный прикладом. Через секунду уже выпрыгнув из кузова, Ноздря стоял над распластавшимся на земле солдатом. Стащил с него автомат.

В кузове под командой Виталия пятеро заключенных, навалившись на конвоиров, вязали их.

Иче, словно не осознавал случившегося, потерянно стоял в конце кузова.

Связали и перетащили в кузов и третьего конвоира.

Все произошло быстро, без единого выстрела.

Вдали тонкой, еле заметной полосой виднелся забор колонии. С вышек заметить все это не могли.

Пригрозив водителю, приказали ему продолжить езду не раньше, чем через час. Отобрали деньги, сняв с него гражданскую одежду.

В трусах и майке тот забился в угол кабины.

Выпотрошили карманы и у других.

Иче сидел за своим ящике, обхватив руками свою большую голову.

Остальные заключенные, сбившись в кучку, вопрошающе стояли у борта, будто в ожидании команды Ноздри и Виталия.

Те их, кажется, уже и не замечали.

Ноздря стал над Обрубьшем, толкнул дулом автомата в плечо.

Иче с ненавистью посмотрел на него.

Ноздря усмехнулся, кивнул в сторону заднего борта:

— Поднимайся. У нас будут свои «гастроли».

Иче отвел дуло автомата:

-- Я не пойду.

— Не валяй дурака, Эзоп! — Ноздря снова ткнул в него автоматом:

— Давай, Эзоп, давай, если что, то ты все равно с нами повязан. Как сообщник. Ну! — Ноздря нарочито дружелюбно приподнял Иче за подмышки, столкнул к заднему борту.

Они бежали к лесу друг за другом: впереди Виталий, следом Иче и замыкал их Ноздря с автоматом наперевес, нацеленным в спину обрубьша.

Шелестела, цеплялась за ноги высокая луговая трава, затрудняла бег, словно так старалась удержать беглецов.

Топали, временами оглядываясь, словно проверяя: есть ли уже погоня или нет.

Но вот — первые белые стволы березняка, а через минуту лес полностью поглотил их фигуры.

Еще несколько минут, огибая деревья, они бежали в глубину, и, когда уже не стало за спиной просвета и лес плотно обступил со всех сторон, остановились перевести дух.

Обрубьш, припав к стволу спиной, сполз к земле. Виталий и Ноздря сидели на завалившейся старой лиственнице, упершись руками о колени, тяжело дышали.

Три автомата с петлями ремней лежали в ногах. Ноздря повернулся лицом к Виталию. Долго, словно в чем-то объясняясь, смотрели друг другу в глаза.

И через мгновение по лесу покати́л резкий длинный крик: Ноздря, спрыгнув со ствола, вскинув кверху кулак, бил им по воздуху, словно только что одолел заклятого врага:

— Я-я-а!

А потом, чуть пригнув коленки, сотворив руками «хрен», ткнул выпяченным кулаком в ту сторону, откуда они бежали и где сейчас на вышках стояли облапошенные вертухаи.

— А-а-а! — тыкал он скрещенными руками.

Виталий протянул к нему кисть, на которой справа налево черной змейкой пролегла наколка: «Не слишком радуйся!»

— Херня, братуха! — подпрыгивал от счастья Ноздря, и трещали под его ногами сухие сучья.

— Свобода! Свобода! — Они вдвоем вдруг посмотрели на сидевшего в основании дерева Иче. Облокотившись спи-

ной о ствол, он привалился к нему головой. Лицо с закрытыми глазами казалось маской усталого, заснувшего человека. Ноздря с усмешкой подмигнул Виталию и для Иче бросил:

— Не унывай, Эзоп!

— А у меня должен был сын родиться! — почему-то в прошедшем времени проронил Обрубыш.

Подняв глаза, долгим взглядом смотрел куда-то сквозь глуповатую улыбку Ноздри. Свобода!

Виталий в упор взглянул на него со своего ствола, и они оба пожевали друг друга открытыми взглядами.

Виталий прихлопнул себя по коленкам: — Ну харэ. — Достал из кармана карту и похожую на черную компактную пудру школьный компас.

Развернув вчетверо сложенную размерами с газетный лист карту, долго рассматривал ее. Пока он намечал направление, Ноздря опустился на землю рядом с Обрубышем, боком к стволу. Их головы оказались рядом.

— Виталь, а надоть человека в курс дела ввести, — окликнул он.

«Виталь», скользнув по их лицам невидящими глазами, будто и не слышал.

Ноздря хлопнул по вытянутой на земле ноге Иче:

— Эзопу доверить можно все! Он у нас, как могила, будет молчать! Да, Эзоп? — И он рассмеялся Иче в лицо, гоготал дико, с откровенной издевкой.

Обрубыш внутренне содрогнулся. От ударившей, хотя и неясной догадки, по хребту пополз животный страх.

Иче невольно поднялся.

— Ну все, двигаем в западном направлении! — как-то профессионально произнес Виталий, бросив ладонью вправо от себя.

Подхватили автоматы и — в прежнем порядке: впереди Виталий, за ним Иче и сзади Ноздря двинули по хмурому лесу.

## 12

Ноздря «доверил» Иче весь их с Виталием план. Это был дерзкий замысел...

Виталий до колонии служил в ВВС, летал на бомбардировщиках. Жена его спуталась с комполка, и однажды Виталий застал их.

В ярости он нанес ей больше десяти ножевых ран. Она умерла. Комполка успел уйти.

Виталий пошел на побег ради мести. Цель была добраться до своего бывшего аэродрома, захватив самолет, угнать его за кордон.

Ноздря бежал, чтобы просто бежать.

Выложив это, он свойски хлопнул обрубыша по плечу:

— А тебя мы специально выбрали. Ты маленький... может, понадобится где-то пролезть... А как самолет возьмем — пожалуйста, возвращайся... Так что, не бойсь. А то ты, я гляжу, ты ни жив ни мертв. Держи хвост пистолетом. Эзоп! — и он хитро подмигнул...

### 13

Без еды и питья они пробирались сквозь лес уже сутки. Со страхом и надеждой одновременно оглядывались на малейший шорох: боялись погони, людского глаза и мечтали подстрелить хоть какую-нибудь зверушку.

Прежнего строя не придерживались, шли как выходило, и, хотя Иче уже не чувствовал за спиной дуло автомата, он знал: теперь он в двойной ловушке, ведь ему раскрыли весь план, и если бы он вдруг попробовал бежать, его бы просто-напросто пристрелили.

Придуманное Ноздрей, что его взяли на «вдруг понадобится» было шито белыми нитками.

Но тогда зачем? Зачем понадобился он, Иче? И холодела душа от слышанного на зоне: беглецы, если долго не могли найти еду, убивали одного из товарищей, пили его кровь и поедали.

Во вторую ночь он понял, что за ним все же следят. Виталий и Ноздря спали по очереди, словно сменяли на посту один другого.

Теперь на него пала двойная нагрузка: не было еды, и он боялся заснуть.

Утром еле поднялся. Голова туманная, во рту сухо, распирает сильное нервное раздражение. Ему теперь тяжелее, чем этим двоим.

Но в кармане письмо от Оксаны... «Отцом хорошенького мальчишки»...

Выжить! Он должен выжить!

Мысль о самоубийстве была отмечена, увиделось, как эти двое режут и жрут его мясо...

Стоять до последнего!

Но где взять силы? Если б только без еды. Но ведь и без сна.

Прошедшая ночь была, наверное, самой тяжелой и страшной в его жизни, утро, казалось, не наступит никогда.

Все время хочется пить.

Мозг стал похож на какой-то аппарат, который проигрывает кассету с одними и теми же беспорядочно записанными фразами, обрывками фраз.

Перед глазами маячат две фигуры в черной робе. Ноздря и Виталий.

Ремни цепляются за кусты, какие-то сучья, и снова авкут по земле. На старой сгнившей листве от прикладов остается след.

Ремни цепляются за кусты, какие-то сучья, и снова автоматы свисают с плеч.

Один из троих автоматов выброшен. Но почему его не дали ему, Иче?

...Какой смысл держаться до последнего? Все равно убьют... Религия исчерпанного человека. А это могло бы помочь. Не испытай ничего, пережить все. И тогда уже ничего не страшно... Испытать счастье отцовства не увидев сына... Все то, что в человеческом понятии не имеет смерти, сильнее человека.

В ногах все большая слабость, и сковывает животный страх. Но нужно идти.

Он видит, как оборачивается на него Ноздря и что-то выразительно говорит Виталию. Тот качнул головой.

...Беглецы...

Человека нельзя освобождать внешне больше, чем он свободен внутренне.

Вот эти двое... Ноздря... Разве был он когда-нибудь свободен? Виталий, наверное, был...

Пошли четвертые сутки. Без еды и сна! Все! Нет сил!

Надо привалиться к стволу. Хотя бы на минуту. Отдохнуть.

Вот тело припало к шершавой лиственнице, на секунду стало хорошо, словно с плеч свалилась тяжесть. Но сразу же свои лапищараскрыл сон.

Пусть убивают! Пусть рвут на куски его мясо, но дальше он уже не пойдет.

Иче сел на землю, привалился к стволу дерева. Закрыл глаза. Очнулся от боли в голове: Ноздря, вцепившись в его волосы, несколько раз рванул на себя:

— Сдох что ли, Эзо-оп? — и криво усмехнулся.

Сели напротив. Впивались в глаза. Но теперь ему, казалось, уже ничего не страшно.

— Слышь, профессор,— вдруг начал Ноздря с ухмылкой. — А что это за словечки, которые весь мир могут трахнуть?



«Я знаю мысль, которая всех людей сразу делает смехотворными шутами. Всех. Но эту мысль говорить вслух нельзя... Это страшная мысль... Если человек заговорит об этом вслух, мир за одну секунду утонет в грязи. Захлебнутся в этой мысли, как в блевотине...» — вспомнилось Иче.

Он посмотрел на Ноздю, который, казалось, посмеивался над ним, но на самом деле ждал откровенного ответа.

— Маленьким нельзя... — в тон ему с ухмылкой ответил обрубаш.

— А если я тебя сейчас пришью?! — Тот ткнул дулом автомата в его горло.

Иче равнодушно отвел от себя прохладный ствол, глаза убежали вдаль. И потом, будто вместо ответа, достал из кармана сложенный пополам конверт, раскрыл двойной тетрадный листок, нашел строчки о том, что у него родится «хороший мальчишка», улыбнулся.

И ему вдруг показалось, что его улыбка сейчас походила на улыбку седобородого старца.

Ноздря затормошил Иче за плечо:

— Эй ты! — Но тот, словно потеряв сознание, ничего не слышал, лишь ниже сполз по стволу к земле.

— Выключился сука, — Ноздря стоял перед ним на одной коленке.

Макушки деревьев сходились вверху, словно заглядывая вниз, рассматривали трех беглецов.

Ноздря пристально глянул на Виталия:

— Надо кончать!

Тот ничего не ответил, поднялся.

Ноздря посмотрел на обрубаша: заросшее щетиной лицо было усталым, но спокойным.

Ноздря вытащил из кармана складной нож. Блеснуло лезвие.

Снизу, с коленки, посмотрел на Виталия вверх:

— Запороть или сразу по венам?

Виталий долго всматривался в лицо Иче, тот по-прежнему сидел на земле, привалившись головой к стволу, с клюнувшим в грудь подбородком.

Вопроса Ноздри как будто не слышал.

Тот вытер о свой рукав лезвие ножа, опустившись на обе коленки, удобнее устроился возле руки Иче.

Виталий сверху наблюдал за ним: вот Ноздря перехватил руку Обрубаша повыше запястья, приподнял ее. Пизьмо, оставшись в ней, свисло белым лоскутом. Вот Ноздря

поелозил устраиваясь поудобней, вот он занес над запястьем Иче нож, а письмо свисало с руки.

Ноздря сбросил его в сторону, оно, скользнув, легло в ногах Виталия. И вот он снова чуть склонился над рукой обрубьша, снова занес нож и уже готов был полоснуть по венам, но в то же мгновенье клацнул затвор, и по лесу раскатился сухой треск короткой автоматной очереди.

Ноздря завалился на бок, скрючившись, застыл.

## 14

Иче не знал, сколько времени проспал он, а проснулся от укусов комаров и страха от мысли, что он убит и его тело разорвали на куски.

Потом он не раз вспоминал это страшное и странное чувство: живому тебе вдруг кажется, что тебя убили.

Приподнявшись, он вдруг почувствовал, что уперся ладонью о чью-то голову. Рядом лежал Ноздря. Виталия не было. Сразу же мелькнуло: уходить.

Иче быстро отнял руку, голова Ноздри чуть заметно качнулась и осталась в прежней позе: одной половиной лица кверху, другой прижатой к земле. И только минуту спустя по неподвижному профилю и остекленевшим глазам Иче вдруг понял: Ноздря мертв.

На робе зияли рваные окровавленные дыры.

Рядом с Ноздрей валялся автомат. Иче снова поискал глазами, всматривался в стволы деревьев, но Виталия не было. Вокруг стоял немой покинутый лес.

Радостно толкнуло в сердце: уходить!

Подобрав письмо, он припомнил направление откуда они шли и с внезапно появившимися силами стал уходить в сторону колонии. И боялся радоваться. Свобода!

Но скоро это ликование приглушилось, исчезло вовсе, и его место заняли жажда и голод.

Но теперь он должен был выжить во что бы то ни стало. Ради его будущего малыша, ради Оксаны.

И он снова шел, делая небольшие переходы, валился на землю.

В какие-то мгновенья, словно вспышка света, ясно, и, казалось, как никогда раньше, работало сознание. Мысль текла зримо, словно обретя плоть, скользила, как лодка по морю.

Что была его жизнь? Покинутость? Неудачи? Отчаяние? Потеря свободы?

Но свобода — в сознании.

Свобода ничто иное как противостояние злу.

Выжить!

За все время не было ни капли дождя. Летнее небо виделось сквозь густые кроны синими осколками. Словно расколота чаша.

Хотя бы глоток воды...

И, кажется, исчерпаны последние силы. Падая, Иче казалось, что уж не поднимется никогда, но снова поднимался и пробирался сквозь враждебный лес.

Он, кажется, забыл, как звучит человеческий голос и сам бы не смог выговорить и слова; пересох рот и одеревенел язык.

Но надо выжить!

Первые просветы показались фантомами. И еще долгие метры ему не верилось, что лес позади.

Вышел он прямо на колонию. Если вышки часовых, когда бежали они, были далеко в стороне, то теперь они высились в полукилометре напротив.

Только спелый луг отделял его от заборов с колючей проволокой.

Возвращение.

Ему вдруг увиделись руки врача, поднявшие только что родившегося младенца и отчего-то вспомнился безумный хохот Власа.

Бессильно опустившись на колени, Иче долго смотрел на вышки часовых, к которым так долго шел и, кажется, впервые в жизни заплакал...

...Наверное, он был счастлив...

# ВЕК ОТКРОВЕНИЯ

---

## Роман

### *Часть первая*

## Я Р М А Р К А

### I

Большое окно затянуто металлической решеткой с рисунком под соты. Множество железных ячеек, выкрашенных в голубое, душили свет окна, и просторная комната выглядела бы тускло, но, хорошо обставленная — в коврах, хрустале, с белыми декоративными вазами, — обретала вид защищенной от мира уютной кельи.

Дом Двушника. Никто в Городе уже и не помнил, как появилась эта кличка — Двушник, но казалось, она была дана ему с самого рождения.

Двушник и Кама выходили из комнаты, провожая Фарсида. Все трое улыбались друг другу, как самые старые добрые друзья. Они и в действительности росли вместе, и всем троим было лет по тридцати пяти — тридцати семи. Росли вместе — выросли разные: Двушник выбрал деньги, Кама была его женой, Фарсид писал книги.

Двушник вытянулся в кресле у журнального столика. Взгляд его водянистых рысьих глаз продрался сквозь решетку к гаснущему небу. Глаза Двушника неприятны — тусклые, неопределенного цвета, с переворошенным грязным нутром. Двушник с ненавистью посмотрел на жену, которая после ухода Фарсида уютно устроилась на софе с этой его паскудной книгой. Вся ушла в эти тухлые строчки, в этот раздражающий, бьющий по нервам шелест страниц. И ничего вокруг, и никого уже нет. Нутро раздавило и окровавило, как давят колеса живую человеческую плоть. Хотелось вырвать книгу из этих бережных сейчас и каких-то благодарных рук, уничтожить, изорвать каждую страницу.

— Убрала бы сначала,— недовольно бросил Двушник, кивнул на столик со спиртным и холодной закуской.

— Что?

— Что, что? Вот эти! Это! Это! — сорвался Двушник на крик, тыча ладонью в тарелки, стаканы. — Это!

На глаза попалась рюмка, из которой пил Фарсид. Он зло ткнул в нее пальцем. Рюмка слетела со стола, мягко шлепнулась о ковер и, словно еще поддразнивая, что разбиться ей не судьба, качнулась из стороны в сторону. Это озлобило еще больше. Двушник, вложив всю злость в удар, резко пнул рюмку ногой, она со звоном ударилась о шифоньер-стенку и осыпалась на красный ковер множеством осколков.

Кама в раздумье пригладила на коленях юбку.

...В комнату вплыли сумерки. Двушник припал на одно колено, склонившись над серебряным подносом, на котором корешком вверх, наподобие остроконечной крыши, была поставлена книга Фарсида.

Скрестив руки на груди, Кама стояла у окна, с безучастным видом смотрела на мужа. В глазах ее были усталость и безразличие.

Двушник пристально взглянул на жену и, не поднимаясь с колена, протянул на раскрытой ладони коробок спичек:

— Подожди!

От ладони, казалось, поползла по комнате вязкая тишина. Взгляд Камы тек вдоль вытянутой Двушниковой руки, мимо его тела, большие карие глаза словно что-то с грустью просчитывали, выискивая какой-то единственный шанс. Не найдя его, она опустилась на колени.

— Подожди. Мне хочется, чтобы ты подожгла книгу этого нищего писателишки,— он кивнул на книжку, которая стояла на подносе, как желтая игрушечная крыша. Название романа и фамилия Фарсида были выписаны строгим красным шрифтом.

После секундной паузы Кама подчинилась, опустившись перед книгой на колени, замерла в минутном раздумье и чиркнула спичкой. Несмелое синеватое пламя поползло по обложке, лизнуло веером раскрытые страницы. Книга задыхалась, но когда огонь уже уверенно ухватился за нее, пламя заплясало с чистой синевой.

Все еще стоя на коленях, Двушник и Кама в упор посмотрели друг на друга. Немой, тяжелый вопрос. Огонь от книжного костра заплясал в рысьих, остро сверкнувших глазах Двушника:

— Люди придумали свои разные дохлые науки, раз-

вели писанину, совершают, как им кажется, величайшие открытия: космосы, атомы, хренатомы, но на самом деле с каждым разом все больше и больше открывают свою звериную сущность. Потому, что каждое свое дурацкое открытие они в первую очередь используют для своих звериных целей! — Двушник с желчью смаковал каждое слово. — Наивысшим познанием человека будет то, что люди признают себя зверями.

— А разве сейчас не так?

Кама чуть присела, заворуженно глядя на колдовскую пляску огня, легко пожиравшего книгу. Верхние листы и обложка ее сгорели, сжались и походили на смятые листы черной копировальной бумаги.

— Сейчас не так. — Двушник близко придвинулся к ней. — Сейчас даже самая последняя падаль считает себя чуть ли не самым святым существом. Но скоро все открытия этих смехотворных дураков, вся их писанина вконец растопчут их же самих, и тогда каждый на этой земле признается, что душа, благородные поступки, добро, зло, Бог — все это болтовня, а человек — всего-навсего зверь, и потому каждый захочет жить, как назначено ему природой: есть, пить, получать всяческие наслаждения. И еще: есть самая большая жажда — быть самым сильным, самым первым зверем. Чтоб иметь возможность пить лучше других, есть лучше других и иметь самую лучшую на свете зверицу. Таковую, как ты. — Двушник раскрыл белые груди Камы, жадным ртом вобрал большой, набухший розовый сосок и возле горящей книги увлек ее на пол.

...Потом налил водки в бокалы: «За тебя! За твое сладкое тело! За твое сладкое дыхание! Возьмем от жизни все! Живем один раз! — И усмехнулся: — Ничто человеческое нам не чуждо!»

## 2

Богдан раскрыл дверь дома, вышел на крыльцо. В глаза бросилось вечернее небо: чистое, с большим красным солнцем на алом, будто распаренном горизонте. Богдан глубоко вздохнул, резко бросил по сторонам большими, грубыми кулаками и смачно пробасил:

— Э-э-эх! — любимое восклицание, словно вызов кому-то.

Сейчас это был возглас довольного жизнью, крепкого самца. «Эх!» — значит, в мире порядок, все идет своим правильным чередом. Жизнь — для человека. Все хорошо. Весь этот светлый мир — для тебя. Бери! А кроме всего —

впереди самые главные человеческие радости. Что такое тридцать семь лет? Даже не половина жизни. Тем более, когда у тебя есть все: стоящее дело, уважение людей, добротный дом, машина, хорошая семья и главное — сын. В общем, все, что полагается настоящему человеку. И если судить по той поговорке, что человек должен построить дом, вырастить сына и посадить дерево, то самое главное уже сделано: дом построен, сыну, слава Богу, шестнадцать, так что осталось дерево посадить. Ну это уж как-нибудь... Дерево посадить — и младенец осилит... Вот только почему тогда эту пустяковину...

Богдан прошел в сад, довольным взглядом хозяина осмотрел его: пять-шесть молодых яблонь донашивали свои налитые плоды, по обеим сторонам извилистой асфальтовой дорожки разбежались невысокие черешни, в глубине — молодой орешник раскидал по сторонам упругие ветви.

Богдан разбросал ногой опавшую рыжую листву, поднял орех, прижав его к гладкому стволу, легко расколол ударом крупного кулака. Его толстые пальцы с треском сломали крепкий панцирь, скорлупа отлетела в сторону, и на здоровых белых зубах с хрустом раскрошилась похожая на мозг золотистая сухая плоть ореховых долек. Горьковато-приятный вкус раздражил аппетит. Богдан покружил под орешником, расшвыривая опавшие мертвеющие листья, поднял еще три ореха.

На душе было уютно. Богдан поднял к небу спокойные черные глаза: все то же закатное солнце горело под легкой синевой, одинокий ястреб стремительно сорвался вниз, и полет его показался таким же резким, как удар остроготопора по освежеванной туше. Везде шла жизнь: и на земле, и в небе, и под землей, как, наверное, сейчас под его башмаком, где-нибудь в черноземе, шевелится какой-нибудь червь. Всегда и везде — жизнь.

Звякнула цепь — около забора стояла собачья будка. Крупный волкодав выбрался из своего сработанного подтеремок логова. Пес походил на откормленного бычка с большой лохматой головой и таким же мощным туловищем. Он оперся о лапы, напряг прогнувшийся косматый хребет и широко зевнул. Зевок долгий и ленивый.

— Шейх! — позвал Богдан из глубины сада.

Волкодав безразлично взглянул, неторопливо переставляя лапы, поволок за собой задрезавшую длинную цепь.

— Че-ло-ве-чи-на! — Богдан с любовью потрепал собаку по отвислому уху.

Пес тут же заурчал и попытался поймать клыками руку хозяина. Богдан позволил эту игру, толстые пальцы заплясали между острых клыков в теплой и влажной пасти.

— Дружище! — Богдан поднялся, вытер о рыжую шерсть пса влажную руку.

Далеко с улицы рванулся и сразу стих рев пожарной машины. Через пару минут она взревела снова, но теперь близко и натужно.

Богдан вышел на улицу. «Пожарной» уже не было видно. Он оглядел свою красную «Ладу», стоявшую под окнами, на тротуаре, прислонившись к переднему крылу, закурил.

С противоположного тротуара к нему направлялась молодая женщина. — Наталья. Попыхивая папирсой, Богдан всматривался в ее лихую полуулыбку, и казалось, вот-вот с губ женщины сорвется легкая, сманивающая фраза. Так и получилось: за несколько шагов она улыбнулась и нарочито развязно выплеснула:

— Сегодня хоть отвезешь куда-нибудь в лесок?

Богдан поводил из-под лба глазами: услышал ли кто из соседей. Добродушно усмехаясь, пожал протянутую руку. Теплые длинные женские пальцы отдались Богдановой ладони, доверчиво потонув в ней.

— Ну что? Махнем? — Интонация ее, казалось, подразумевала, что все это свойские шутки и просто-напросто бабская пустая болтовня, но за этой «просто болтовней» и в глубине черных горящих глаз (только загляни поглубже) увидишь, что все эти развеселости на самом деле — скрытая игра на грани откровения.

Богдан первым приоткрыл ладонь, отпуская руку Натальи. Но она не торопилась, ее пальцы, словно жадно впитывали каждое мгновение, медленно стекали с его ладони.

— Толку с тебя, как я погляжу, не будет, — нарочито весело отмахнулась она.

— Не-е. Я жену люблю во как! — пробасил Богдан, чиркнув по горлу толстым пальцем.

— Ну ладно, «люблю», как дела у вас?

— Хорошо.

— Верка дома?

— Заходи. Мои бабы все дома.

— «Ба-а-бы», — мол, тоже мне, деловой, добродушно передразнила она и легко, точно пушинка, скрылась в калитке. Запах ее духов еще некоторое время таял в дыхании Богдана.

Минут через пять она, смеясь, вышла из калитки, обернулась к оставшейся в воротах жене Богдана:



— У тебя не муж, а целый вагон целомудрия.

— Он у меня такой,— отчего-то вступилась за Богдана Вера.

— Слышь, Верка, одолжи мне своего муженька на полчаса. — И тут же взглянула на Богдана: — Отвези в рабочую слободку. Очень нужно. А то машину уже сто лет как купил, а меня так еще и не покатал.

— Ладно. Так уж и быть,— как после долгих уговоров пробасил Богдан.

Из машины Наталья весело подмигнула подруге и быстро перебрала пальцами в «досвиданьице».

— Верну его тебе со всем, с чем брала.

В дороге, сцепив руки на круглых, обтянутых чулками коленях, неожиданно притихла, подобралась, словно с Богданом сидела не прежняя свойская болтушка, а примерная школьница. Машина мягко шла по вечерней спокойной улице.

— Болтаю я тоже... — с укором себе произнесла она, вздохнула, но тут же, пожав плечами, оправдалась: — Черт его знает, Богдан... Как посмотришь на людей — какие-то злые, все грызутся, друг друга ненавидят. А жизнь человеческая и без того проклятушная. Людям как будто и не до жизни. Одна забота — копейки прягать... Проклятушный мир! — протянула она, но уже конец фразы рождал улыбку.

И действительно: тут же после «проклятушного мира» она улыбнулась горящими глазами, растянув уголки аккуратного, подкрашенного рта. И снова стала прежней лихой Натальей, точно грусть для нее была — словно чужое тесное платье, непонятно как натянутое, но тут же сорванное.

Богдан все же ответил на ее «проклятушный мир», пристукнув левой рукой по рулю, на секунду оторвался от летящей под машину стремительной дороги:

— Не-ет, Наталья... Мир есть мир. Кайфовая штука. Лучше не придумаешь. Есть много плохого, но и это тоже для хорошего: чтоб хорошее лучше виделось. — И тут же, словно увидев неожиданный убедительный довод, с улыбкой пробасил: — Если мир умудрился создать такую бандитку, как ты, то он чего-нибудь, да стоит.

Наталья рассмеялась.

— Не-ет,— убежденно басил Богдан,— одна красота чего стоит, вон посмотри, кивнул он в сторону пылающего закатного горизонта.

— Во-во,— быстро подхватила Наталья. — Погода так и шепчет. — Черные глаза ее хитро блеснули. — Волей-не-

волей на грешки тянет Я вот, быть может, и не хочу, а мир вишь какой: птички, закаты. В общем, все так и говорит на этой земле: «Кайфуйте, друзья-товарищи, пока кайфуется».

Богдан рассмеялся, открытым добродушным взглядом посмотрел на нее.

— Говоришь, земля так и намекает?

— Там такой намек, что по такому намеку и жираф грешить пойдет.

— Я люблю эту землю,— тихо забубнил Богдан, подобру-поздорову обходя «намеки» и «жирафы».

Улица пошла с редкими небольшими домами, и через некоторое время машина вырвалась на широкую свободную трассу. Вдоль серой ленты асфальта раскинулись убранные пшеничные поля. Простор от горизонта к горизонту.

Первые домики слободки, как пограничные КП, приземистыми окнами смотрели на дорогу. Стройные пирамидальные тополя возвышались над столетними черепичными крышами.

— Вот и приехали,— завидев невзрачные слободские строения, кивнул Богдан в лобовое стекло.

— А если мне никуда и не надо было? — вызывающе стеганула Наталья.

Богдан медленно повернул голову и словно подставил глаза под щупальцы испытывающего взгляда. Он с потаенным откровением втек в душу и за одно мгновение, казалось, перещупал все ее потроха.

Салон «Жигулей» оккупировала тишина.

### 3

Музыкальная школа, двухэтажный особняк, находилась в парке, среди золоченных сентябрем лип. Стройные деревья, как статные дамы, сбрасывали на асфальт мягкое и еще живое золото листопада — словно платили за игру шарманки. Аккуратная коробка школы всеми окнами своих двух этажей выбрасывала в открытые створки упрямое пиликанье скрипок, бубнящую медь духовых и непрерывные волны фортепианных аккордов.

Фарсид стоял, облокотившись о дерево, глядя на открытые окна, представлял, как сейчас там, за фортепиано, перебирает тонкими пальчиками его девятилетняя дочь: Таня училась музыке второй год.

В одном окне зазвучала бетховенская соната, в другом, перекрывая ее, скрипичный смычок вел быструю мелодию

восточного танца, тяжелой слоновой поступью шли с нижнего этажа басистые звуки духовых, и рядом гарцевали бойкие переборы баяна. А слившись вместе и перекрывая друг друга, все это превращалось в звуковой хаос...

Может быть, таков и мир... Фарсид взглянул на небо. Может быть, и он, состоящий из отдельных гармоничных форм, но сотканный воедино, превращается вдруг в уродство дисгармонии... Музыкальная школа... приоткрытые окна... в каждом — своя красивая мелодия, но все это вместе давит, раздражает слух... Хаос, созданный гармонией. Фарсид посмотрел по сторонам. По только что сотворенной теории, красота этого парка с его ровными воздушными аллеями, детскими голосами, теплым закатным небом — все это становилось частью общего хаоса. На душе стало слякотно и неуютно, словно сейчас пронесли мертвеца.

В окнах школы почти разом смолкли гаммы, сонаты, и через минуту задребезжал звонок. Фарсид дождался дочери, обняв ее за маленькие, обтянутые коричневым платицем плечи, неторопливо пошел через парк, к остановке автобуса.

Близость родной хрупкой фигурки придала душе уюта, будто в комнате зажгли праздничные свечи.

— Хорошо здесь, правда, дочь? — Фарсид посмотрел сверху в большие карие глаза.

Таня согласно кивнула, видно было, что ей по душе взрослая интонация Фарсида. Девочка от благодарности и смущения высунула к уголку рта кончик языка, как будто в губах появился красный леденец.

— Пап, смотри! — звонко, с радостным удивлением крикнула она, показывая тонкой рукой на серый асфальт: шагах в семи поперек аллеи ползла ярко-зеленая гусеница. Вздыбливая спину, словно кто-то подцепил ее палочкой, она переламывалась, как спичка, надвое и броском вперед вытягивалась на асфальте. Потом снова вздыбленная спина — и тут же крохотный бросок вперед. Гусеничные шаги.

— Понаблюдаем? — предложил Фарсид, и они сели на длинную скамью из синего штакетника.

Гусеница, точно заведенный механизм, однообразно-выверенными движениями ползла к середине аллеи. Когда справа или слева появлялись прохожие, Таня чуть подавалась вперед, словно боясь, что люди идут прямо на гусеницу и вот-вот раздавят ее. Один раз и вправду каблук прохожего занесся над живой зеленой палочкой, но опустился рядом, и гусеница продолжала свой переход по ровному, чисто выметенному асфальту.

Долгий взгляд на нее привел к удивлению: неужели ж это ничтожное существо так нужно было миру? Какая в нем необходимость?

Мир... Вдруг ощутилась и ожила непостижимая, безграничная, холодная и черная бездна, словно пробудилась душа и новыми глазами увидела все вокруг... Эта крохотная зеленая Божья тварь своей мизерностью перед непостижимой громадой вселенной неожиданно оживила ощущение реальности: да! есть! и поэтому есть и реально все вокруг: небо, деревья, желтеющая на газонах опавшая листва, серый асфальт, тот пылающий закат и где-то высоко над ним — желтые звезды, космическая холодная бесконечность. И в этой же непостижимой мгле, подобно той же зеленой гусенице, крохотно светится такая же беспомощная земля... Есть мир, и есть — ВСЁ... Ничто так не оживляет реальность и не делает ее осознанной, как какая-нибудь мизерная песчинка ее.

Острое ощущение реальности, что да, есть МИР, есть желтеющие травинки, птицы в небе, есть Ты, есть ВСЁ, снова ударило, как импульс, и через мгновение стихло. Как будто в комнате ярко вспыхнул свет, тут же был снова приглушен, и предметы расплылись в одну, просто знакомую массу.

...Гусеница, как зеленый микроробот, импульсными движениями достигла середины аллеи.

С левой стороны появились две фигуры: оплывшее существо женского рода и рядом такая же вздутая фигура парня. Оба с дауновскими лицами. На круглых, как блин, физиономиях хлопали совы глаза. Оба казались чужеродными телами на этой уютной аллее, меж голубых елей, выстроенных, как на макете, в две ровные шеренги. Но шли они под руку, с показной гордостью, и даже важной поступью волокли свои расплывшиеся тела: вот-де и мы гуляем по парку, и мы тоже можем быть возлюбленной парой. Смотрите на нас, разглядывайте.

Глаза маленькой дочери непонимающе замерли на этих двух болезненных лицах, маленький рот приоткрылся от неподдельного удивления.

— Не смотри так. Это больные люди,— отвлек ее Фарсид.

Девочка метнула было взгляд к небу, но, увидев, что эта пара приблизилась к гусенице, замерла.

Толстая нога со съехавшим в гармошку чулком занеслась над зеленой шевелящейся палочкой; разбитый ржавый ботинок, похожий на старинный тяжелый утюг, вдавил зеленую мягкую плоть в серый асфальт...

На асфальте осталось черное, как после плевка, пятно. Девочка вскинула на Фарсида большие вопрошающие глаза: что же это?

— Пошли,— хлопнув о колени ладонями, Фарсид поднялся, и они направились в противоположную от пары сторону.

Таня обернулась.

— Не следует оглядываться,— заметил Фарсид, думая об этой дауновской паре.

Куда они шли? Может, и у них был свой, если можно назвать, супружеский угол, комната, где приютили их родители, позволив, а может, и специально создав возможность для случки... Венцы природы... Можно ли после этого назвать умной природу, создавшую таких существ?! Впрочем, и остальные не краше, и те же остальные так же идут по жизни, не понимая, что она и для чего была дана. Так же, как эти дауны, все остальные равны перед невзгодами, перед согревающим плоть весенним солнечным лучом, и так же все равны и ничтожны перед смертью. Все пришли в этот мир, чтобы проиграть. Кто бы ты ни был: даун, гений, раб или король. И может быть, наоборот: этот смертоносный мир — обиталище не людей, а таких даунов. И сам, похожий на уродливое дауновское существо, этот мир однажды раздавит щевелиющуюся земную плоть, как ту гусеницу... Люди и дауны.

Снова на душе стало слякотно и неудобно, словно где-то рядом тянулся собачий вой.

#### 4

Ярмарка. Еще задолго до рассвета с разных сторон текут к ней ночные потоки автомашин, тянулся по дорогам едва различимые ручейки из людских фигур и сливаются в один плотный человеческий муравейник.

До первого робкого света еще с час, но огромный прямоугольник базарной площади наполняется движением людей, машин, привезенного на продажу скота. Нестройный всплеск разных звуков мечется в небе — от края до края: взрезают ночь нетерпеливые сигналы автомобилей, глупое мычание коров, остервенело визжат свиньи, где-то возникает брань, и рядом же звучит смех.

Все меняется в этом мире, но ярмарки, как и тысячу лет назад, все с тем же «карусельным» характером. Разве что сегодня на этих «каруселях» побольше всякого рода цепей, ищеек, всевозможных воров — в одеждах гражданских, военных, милицейских. Так же, как и сто, двести лет

назад, чинно шествует по рядам богатый люд и виновато и зло снуют занюханые бедняки.

Двушник вышел на сегодняшней базар присмотреть к зиме одежду: уже на подлете октябрь, а «цыган готовит сани с лета». Двушник любит ярмарки: когда есть деньги, нигде себя не чувствуешь таким значительным, властным, всеильным человеком, как здесь. Он осанисто обходит длинные шеренги торговков, плывут перед глазами разноцветные вещи, разложенные на газетных листах, перекинутые через плечи,— пальто, плащи, куртки, костюмы, жевательная резинка, чулки и платки. Вокруг приглушенный гул: жадная, богатая, нищая людская толпа копошится, вылавливает, высматривает.

Народу заметно прибавилось, и теснее стало на базарной площади; вокруг хлопали удивленные, растерянные, радостные, спокойные или обманутые глаза.

Впереди, где тянулся длинный бетонный прилавок, Двушник увидел Фарсида. «Нам друг без друга никак...» — криво усмехнулась душа.

Фарсид стоял в книжном ряду. И здесь с книгами. Двушник подождал в нерешительности, не зная, подходить к нему или нет, но, увидев, что тот предлагает людям какую-то черную книжку и неловко, видно, стыдясь, что торгует, бросает по сторонам беглый взгляд, направился к Фарсиду, предвкушая, как сейчас «застукает» писателя за неприятным для него занятием.

— Писателям привет! — неожиданно вырос он перед Фарсидом.

Фарсид на мгновение растерялся, но Двушник благородно не заметил этого, смакуя эту заминку нутром. Но тут же кольнул:

— Чем торгуем? — Нажав на «торгуем», осмотрел небольшую книжку с золотистым христианским крестом на черной обложке. — Как на кладбище! — с неприязнью оценил он и раскрыл книгу: — «Новый завет Господа нашего Иисуса Христа»... А я решил зимние тряпки посмотреть... Есть вещицы, но не то... Люди плачут, что у них денег нет, а тут и с деньгами ничего не найдешь,— как бы между прочим заметил он и тут же стрельнул в Фарсида быстрым взглядом, словно метнул кости.

Фарсид смолчал, посмотрел в сторону.

У книжного прилавка столпилась азартно-жадная толпа. Человек десять теснили друг друга на маленьком пятчке: стоявшие сзади, с нетерпеливым любопытством поднимаясь на носки, заглядывали через спины передних. Сквозь эту толпу протискивалась к книгам женская спина

в светлой кофточке и серой юбке. Двое мужчин сзади нее, делая вид, что тоже стремятся узнать, какие продают книги, прильнули к женщине, легко тесня ее. Один из них, плотный и большеголовый, подталкивая «светлую кофточку», отвлекал от второго, который неслышным движением расстегнул черную сумку на бедре этой забывшейся от любопытства женщины.

На какое-то мгновенье Фарсид и Двушник замерли, ошарашенно глядя на распахнувшуюся сумочку, в которую осторожно, словно змея, стала втекать рука.

— Сумка! — неожиданно для себя и других воскликнул Фарсид.

Крик вырвался предупреждающий и тревожный. Интонация возгласа, выплеснувшись на людей, словно сообщила слово «вор», и толпившиеся у прилавка кинулись к своим кошелькам, пакетам, корзинам. Даже те, у кого не было в руках ни сумок, ни кошельков, встревоженно ощупали карманы. После крика спохватилась и «светлая кофта»: судорожно втиснув ладонь в открытую сумку, резко оглянулась и, в упор увидев стоящего сзади как ни в чем не бывало мужчину, поняла, что это ОН. Женщина ошарашенно попятилась, а затем, щелкнув замком, бросилась в сторону. Толпа мгновенно стаяла.

Продавцы стали поспешно поправлять книги, стараясь усердно не замечать оставшихся на пяточке двух воров. Тот, что лез в сумочку, был сухощавым, в черном помятом пиджаке и мятых брюках. Глаза его зло горели, он двинулся на Фарсида, судорожно растопырив пальцы на опущенных напряженных руках. Второй, большеголовый и плотный, шагнул тут же следом и, опередив напарника, спокойно бросил Фарсиду:

— Прогуляемся?

— Прогуляемся.

Фарсид двинулся было за ним, но Двушник незаметным движением стиснул его руку в запястье и повлек в другую сторону.

— Мы знаем, где вас искать! — спокойно пригрозил большеголовый, и через пару мгновений оба вора смешались с толпой.

— Дау-ны! — все еще в горячке пробормотал Фарсид.

— Ладно, торгуй своим Христом... Пойду посмотрю тряпки, — поспешил уйти Двушник. О происшедшем не произнесли и слова, точно оно тут же превратилось в неприятную тайну.

Двушник без особой охоты обходил по-прежнему суетливо-шумные торговые ряды. Хорошего настроения как не

назад, чинно шествует по рядам богатый люд и виновато и зло снуют занюханые бедняки.

Двушник вышел на сегодняшней базар присмотреть к зиме одежду: уже на подлете октябрь, а «цыган готовит сани с лета». Двушник любит ярмарки: когда есть деньги, нигде себя не чувствуешь таким значительным, властным, всеильным человеком, как здесь. Он осанисто обходит длинные шеренги торговков, плывут перед глазами разноцветные вещи, разложенные на газетных листах, перекинутые через плечи,— пальто, плащи, куртки, костюмы, жевательная резинка, чулки и платки. Вокруг приглушенный гул: жадная, богатая, нищая людская толпа копошится, вылавливает, высматривает.

Народу заметно прибавилось, и теснее стало на базарной площади; вокруг хлопали удивленные, растерянные, радостные, спокойные или обманутые глаза.

Впереди, где тянулся длинный бетонный прилавок, Двушник увидел Фарсида. «Нам друг без друга никак...» — криво усмехнулась душа.

Фарсид стоял в книжном ряду. И здесь с книгами. Двушник подождал в нерешительности, не зная, подходить к нему или нет, но, увидев, что тот предлагает людям какую-то черную книжку и неловко, видно, стыдясь, что торгует, бросает по сторонам беглый взгляд, направился к Фарсиду, предвкушая, как сейчас «застукает» писателя за неприятным для него занятием.

— Писателям привет! — неожиданно вырос он перед Фарсидом.

Фарсид на мгновение растерялся, но Двушник благородно не заметил этого, смакуя эту заминку нутром. Но тут же кольнул:

— Чем торгуем? — Нажав на «торгуем», осмотрел небольшую книжку с золотистым христианским крестом на черной обложке. — Как на кладбище! — с неприязнью оценил он и раскрыл книгу: — «Новый завет Господа нашего Иисуса Христа»... А я решил зимние тряпки посмотреть... Есть вещицы, но не то... Люди плачут, что у них денег нет, а тут и с деньгами ничего не найдешь,— как бы между прочим заметил он и тут же стрельнул в Фарсида быстрым взглядом, словно метнул кости.

Фарсид смолчал, посмотрел в сторону.

У книжного прилавка столпилась азартно-жадная толпа. Человек десять теснили друг друга на маленьком пятачке: стоявшие сзади, с нетерпеливым любопытством поднимаясь на носки, заглядывали через спины передних. Сквозь эту толпу протискивалась к книгам женская спина



в светлой кофточке и серой юбке. Двое мужчин сзади нее, делая вид, что тоже стремятся узнать, какие продают книги, прильнули к женщине, легко тесня ее. Один из них, плотный и большеголовый, подталкивая «светлую кофточку», отвлекал от второго, который неслышным движением расстегнул черную сумку на бедре этой забывшейся от любопытства женщины.

На какое-то мгновение Фарсид и Двушник замерли, ошарашенно глядя на распахнувшуюся сумочку, в которую осторожно, словно змея, стала втекать рука.

— Сумка! — неожиданно для себя и других воскликнул Фарсид.

Крик вырвался предупреждающий и тревожный. Интонация возгласа, выплеснувшись на людей, словно сообщила слово «вор», и толпившиеся у прилавка кинулись к своим кошелькам, пакетам, корзинам. Даже те, у кого не было в руках ни сумок, ни кошельков, встревоженно ощупали карманы. После крика спохватилась и «светлая кофта»: судорожно втиснув ладонь в открытую сумку, резко оглянулась и, в упор увидев стоящего сзади как ни в чем не бывало мужчину, поняла, что это ОН. Женщина ошарашенно попятилась, а затем, щелкнув замком, бросилась в сторону. Толпа мгновенно стаяла.

Продавцы стали поспешно поправлять книги, стараясь усердно не замечать оставшихся на пяточке двух воров. Тот, что лез в сумочку, был сухощавым, в черном помятом пиджаке и мятых брюках. Глаза его зло горели, он двинулся на Фарсида, судорожно растопырив пальцы на опущенных напряженных руках. Второй, большеголовый и плотный, шагнул тут же следом и, опередив напарника, спокойно бросил Фарсиду:

— Прогуляемся?

— Прогуляемся.

Фарсид двинулся было за ним, но Двушник незаметным движением стиснул его руку в запястье и повлек в другую сторону.

— Мы знаем, где вас искать! — спокойно пригрозил большеголовый, и через пару мгновений оба вора смешались с толпой.

— Дау-ны! — все еще в горячке пробормотал Фарсид.

— Ладно, торгуй своим Христом... Пойду посмотрю тряпки, — поспешил уйти Двушник. О происшедшем не произнесли и слова, точно оно тут же превратилось в неприятную тайну.

Двушник без особой охоты обходил по-прежнему суетливо-шумные торговые ряды. Хорошего настроения как не

было. Время от времени в памяти появлялся туманный облик большеголового карманника, четкая, как транспарант, угроза: «...знаем, где искать». И кто просил этого писателя соваться не в свое дело?! Не останови его вовремя, волей-неволей пришлось бы идти вместе с ним. В таких случаях никуда не денешься... «Знаем, где искать»... Эти зверюги запомнили наверняка не только фарсидовскую рожу.

И без того ненавистные людишки стали казаться отвратительней и сволочнее: смотрят, вынюхивают, прут. Готовы за один башмак друг другу глотки перегрызть: один — чтоб купить, другие — чтоб продать. И снова припомнилась та угроза: «...знаем, где искать». Сейчас бы автомат в руки... Или маленькую войну! Таковую хорошенькую, аккуратненькую войну! Чтоб поуменьшилось этих грязных, вонючих скотов! А можно бы и покрупнее! Чтоб вся земля трещала... «Да-у-ны»... Точно придумал этот писатель... Хоть на это способен.

Вдалеке, на территории, где торгуют живностью, Двушник увидел бычью фигуру Богдана. Секунду понаблюдал. Наверное, высматривал себе корову... Тоже... как писательшица, считает себя порядочным. Все порядочные до поры до времени. Но чуть что... все, оказывается, «дауны».

Двушник внутренне усмехнулся — это слово неожиданным образом развеселило его. Теперь он бодрее ходил по рядам и, глядя в лица, с каким-то удовольствием в душе определял: «И это тоже «даун», и этот, и вон тот». И жизнь стала по-прежнему прекрасной.

Неожиданно впереди выросли фигуры тех двух воров: худая — в свисающем пиджаке и вторая — полная, с большой головой. Оба рассматривали какие-то железяки, свежешевые цепи, топоры, косы, расположенные подле лакированных сапог седобородого цыгана. Тот сидел на ящике, широко разведя острые колени, обтянутые синим талифе. Тыча в свои железки заскорузлым пальцем, цыган что-то отчаянно доказывал, а на слова тех двоих решительно мотал растрепанной бородой. До Двушника хорошо доносилась его русская, с неповторимым «ромаловским» акцентом громкая речь. Твердя что-то свое, старик-цыган неожиданно бросил рукой в сторону замершего Двушника.

С заколотившимся вмиг сердцем Двушник молниеносно вертанулся к цыгану спиной, нырнул за чьи-то спины и наугад запетлял по торговым рядам, кляня Фарсида: из-за него приходится выделять такие вот выкрутасы. Выбрался к одноэтажному домику с обшарпанными стенами — опорному пункту милиции. Мгновенно, Бог знает

как, в мозгу вспыхнул «симпатичный планчик». Двушник потянул на себя всю в грязных брызгах, заляпанную милицейскую дверь и через пару минут вышел в сопровождении милиционера и двух дружинников. «Там», — махнул он рукой в сторону, где должен был находиться Фарсид.

...Два рыжих глаза Двушника выглядывали из-за угла машины-автолавки. Сладостная была картина: писатель вырывается из рук милиционера и здоровенных дружинников... Пра-вед-ник...

Вокруг моментально образовался круг зевак. «Какие у всех глаза! — с удовольствием наблюдал Двушник. — Сколько улыбок, злорадства, наслаждения! Вроде бы этого правдолюбца-писателишку никто не знает, но сколько ожидания: еще бы, мол, чего-нибудь жареного! Нет! Ничего так не сладко людям, как наблюдать зло! Все любят зло!.. И все они идут к коммунизму!» Двушник почувствовал, как легко стало на душе, словно, выскользнув из плоти, она воспарила к небесам, и, блаженно вознесясь над лающим миром, порхнула в звездную беспредельность: «Да-у-ны»...

Над головами Фарсида и милиционера мелькнула черная обложка с золотистым христианским крестом.

И все же удовольствие было неполным: нельзя было появиться на глаза Фарсиду, чтобы он увидел, как его застали в такой щекотливой ситуации. Эффект присутствия! Сотворить зло и быть при этом свидетелем, и чтобы видели именно тебя... Впрочем, можно и это.

Фарсида тащили к опорному пункту. Двушник встал в стороне и темпераментно, с сочувствием зажестикуюлировал: что, мол, случилось? Как? И неожиданно для себя бросил открытой ладонью: сейчас, мол, подожди, что-нибудь придумаем.

Двушник проводил глазами уже сникшую спину Фарсида, фигуры глупцов-дружинников и придурка-милиционера. Все получилось как нельзя лучше. «Как нельзя лучше!» — вдруг сообразил он, что в этой ситуации и действительно можно сойти еще и за благодетеля. Богдан! У Богдана вся милиция здесь своя. Надо к нему...

По дороге Двушник восхищался своим неповторимым умом, попутно заметив, что пост министра иностранных дел был бы для него не самой тяжелой ношей.

Богдан согласился помочь без лишних уговоров.

— А че он? Книжками торгует? — спросил Богдан по дороге к опорному пункту.

— Да вроде бы нет, — Двушник развел руками. — Но у таких только так и получается: на первом же разе и по-

падают. Это интеллигенция. — И после некоторого раздумья добавил: — Вообще, я тебе скажу, Богдан, интеллигентности не для этого мира. Они — как руль для телеги... Этот мир, брат мой, мир даунов.

— Кого? — не понял Богдан.

— Даунов, — рассмеялся Двушник — Это он сам Фарсид, придумал. Потом я тебе расскажу. Смешная штука. Веселая. Я, наверное, здесь подожду, — не доходя до пункта, остановился Двушник.

Богдан молча кивнул, скрылся в дверях опорного пункта.

Через пару минут серая милицейская дверь отворилась, и из темного коридора, как из чьей-то пасти, с окровавленной припухшей губой вышел Фарсид. В одной руке он держал Евангелие, другой, с платком, промакивал на лице кровь. Евангелие было тоже запятнано кровью.

— Кто это тебя так?! — ошарашенно протянул Двушник, не ожидавший такого исхода.

— Сука! — зло выдавил в сторону Фарсид.

— Ты что-о? Они не суки!! Они хуже! — сочувственно суетился Двушник и для полноты еще подыграл: — Сволочи! Дауны!

Фарсид, глядя на него, невольно улыбнулся.

Богдан подошел с озабоченной миной:

— Что ж ты так неаккуратно? Старшина говорит, что ты там права начал качать. На дружинника кинулся... Что-нибудь было такое?

— Да нет... Они привыкли всех за воров принимать... Думали, что и со мной пройдет...

— С ними нельзя так разговаривать, — мягко, в раздумье произнес Богдан. — Они себя царями чувствуют. Власть же у них. Ты им никогда ничего не докажешь. Сам знаешь: кулак шила не одолеет. На них только один язык действует — деньги. А вообще, не в обиду только, здесь пока не торгуй...

— Да я и не торгую. Просто хотел Библию купить, сто пятьдесят рублей стоит. А деньги откуда? — откровенно признался Фарсид. — Это государство за мою книгу сорок тысяч получило, а мне, как в насмешку, две дало.

Богдан удивленно качнул головой и кивнул на Евангелие:

— А вот же Библия.

— Это часть Библии... Евангелие. Думал, эту продам и куплю полную... Чуть не порвали, суки!

— А эта сколько стоит? — приостановился Двушник.

— Эту я за пятьдесят купил...

Взгляд Двушника замер на золотистом кресте. Что-то, видно, прикинув, он достал деньги:

— Давай сюда, этот свой кусок Библии... Никогда бы не подумал, что я за такую сумму книгу куплю,— признался он. — Но мне аж интересно стало. Полистаем. Может, и вправду людьми станем. Давай-давай. Будет чем похвастаться. Вот, мол, какие дорогие книги мы покупаем,— с иронией произнес он.

— Хорошо,— после неловкой минуты Фарсид взял деньги. — Если вы не спешите, поедем после ярмарки ко мне... Это ж надо обмыть,— оглянулся он на опорный пункт милиции.

По-разному улыбнулись.

На этой ярмарке Богдан выторговал у своего старого клиента, бодренького сухощавого старика, корову с ярко-рыжей телкой.

Площадка, где торговали скотиной, была вся изрыта копытами, и всякий раз, когда загружали на машину купленную корову или бычка, из-под упрямых копыт отлетали комья осенней серой земли.

Буренки Богдана тоже никак не хотели подниматься по наклонному трапу в кузов, упрямо упирались копытами в доски и, словно предчувствуя, что их ожидает, мычали на всю территорию ярмарки. Наконец всем скопом удалось затащить в кузов обеих коров.

— Ну, кажется, все. — Богдан размял туго набитую папиросу, толстые пальцы скрутили пропеллером бумажную гильзу. Глубокая смакующая затяжка.

— Я тоже прибахлился,— усмехнулся Двушник, хлопнул по ладони Евангелием. — Удивительная штука все-таки — эта жизнь. Если бы мне сегодня утром жена сказала, что я вместо вещей куплю эту... книгу, я бы сказал, что она с ума сошла,— неподдельно удивился он. — Или же я сам...

Посмеялись.

— Мы с тобой — как священники,— весело добавил Двушник, кивнув на книгу в руках Фарсида в таком же черном переплете из кожзаменителя и с золотистым крестом на обложке. Библия.

— И не говорите, теперь вы и на людей смотреть не будете,— добродушно поддел Богдан.

Неожиданно ударил сильный ветер, словно прорвало какую-то воздушную плотину. В несколько мгновений спокойная высокая синева превратилась в черную тяжелую плоть, точно небо затопила густая клубящаяся лава. Оша-

лелый ветер яростно метался по немногочисленной уже ярмарочной площади, с шумом протаскивал по земле газетные листы, куски картона, взметал кверху воронки пыли, клочья бумаги, стружки. Озверело набрасываясь на высокие макушки деревьев, силой гнул их к земле, срывая пожелтевшую листву, гонял по всклокоченному воздуху, тащил по земле. Громыхали железные крыши павильонов. А по небу все ползла черная, заглотившая солнце лава.

Оберегаясь от носящейся по воздуху пыли, люди подставляли ветру сгробленные спины, поднимали воротники, прятались за стволы деревьев, здания и машины.

Буйный ветер, то горячечно метавшийся по земле, то яростно взмывавший к небесам, казалось, ворвался и в душу Богдана и, разметав ее границы, сотворил такой же свободной, жаждущей какого-то действия. Богдан вскинул над собой большие руки и, потрясая мощными кулаками, громко рыкнул:

— Э-э-эх! — Этот возглас, казалось, был обращен и к стихии, и к своей душе, объединив их в одно существо: человечина!

Фарсид с улыбкой наблюдал за Богданом. Двушник вобрал голову в плечи, взглянув исподлобья, с неприязнью в голосе пробубнил:

— Как потемнела, падла!

С посвистом хлестнула новая сильная волна ветра.

— Обожаю! — с восторгом произнес Богдан. — Эх! Сейчас бы что-нибудь такое, чтоб размах был! А, писатель?!

— Э-э-эх! — в тон ему дружелюбно поддразнил Фарсид и также потряс над головой кулаками.

Рассмеялись. Лишь Двушник, снова недовольно стрельнув глазами в небо, с прежней неприязнью проговорил:

— Надо сматываться!

— Ладно, поехали! — Богдан направился к машине.

Ярмарка почти опустела. Лишь в продуктовых рядах суетились несколько запоздалых покупателей и, пряча лица от ветра, собирал свои фрукты-овощи торговый люд.

Вереница автолавок, грузовых и легковых автомашин текла к воротам, на выезд.

Богдан, Фарсид и Двушник на красной Богдановой «Ладе» выехали на трассу.

## 5

Директор ждал Богдана. От нечего делать заглянул в сумрачный сарай, где Богдан забивал коров и где завтра, если он привезет с ярмарки, будет разделана очередная

коровья туша. Здесь, как всегда, все было в порядке: черный земляной пол чисто выметен, колоды для рубки мяса — одна большая, величиною с огромный пень, и другая поменьше — посыпаны от мух крупной солью; в углу на столике стояли чашечные весы. На стенах висели толстые, засаленные от работ веревки и жгуты. Довольный порядком, Директор плотно закрыл шаткую, на ржавых петлях, дощатую дверь.

Как обычно, одет он был аккуратно и обязательно при галстучке. «На дне, но чистый», — говаривал он о себе. И действительно, взглянув на него, можно было определить: спивающийся интеллигент, какой-нибудь художник, музыкант или непризнанный инженерный гений лет пятидесяти пяти. Лицо его, всегда чисто выбритое, с посиневшими отекшими веками, припухло. Эта галстучно-припухшая внешность, наверное, неизменно рождала бы усмешки и издевки, но неприятности по работе и горе с сыном вызвали у людей жалость. Долгое время он был директором школы, но городское начальство имело своего молодого родственника, и Директора потихоньку выжили с должности. Заболел Азор — единственный сын, Директор стал катиться по наклонной вниз, нигде не работал, а чтоб иметь деньги, сдавал Богдану в «аренду» этот сарай, а по субботам его времянку снимали картежники.

И вчера, как обычно в директорской времянке, сошлись карточные «тузы»: в галстучках, с «дипломатами», привели с собой одну девицу — Настеньку.

Часам к одиннадцати на кону сгрудилась крупная сумма — тысяч тридцать. Игровой стол был весь завален десятками, пятидесяти- и двадцатипятирублевками.

В сумрачной комнате, освещенной лишь двумя бра, азартно горели глаза игроков. Один из троих проигрался полностью, с почерневшим лицом взял опустевший «дипломат» и, выходя из времянки, бросил: «Я вернусь». В чуткой, напряженной тишине удар двери показался громким и резким.

— Бедняжка, — вздохнула Настенька, которая полулежала на софе с полуобнаженной грудью.

— Ничего. Он еще молодой. Выкрутится, — нарочито серьезным тоном обнадежил один из игроков, мужчина лет шестидесяти, с солидным брюшком, у которого сполз набок сильно ослабленный галстук.

Решили «подмочить» неплохую игру, включили магнитофон, желтый клубок света вокруу двух бра, похожих на сдвинутые бокалы, смягчаясь, растекался по комнате, пе-

реходя в уютный полумрак. В тон ему приглушенно текла мягкая мелодия.

— Настенька, у тебя красивое тело... Как у мадонны... — Игрок помоложе поднял ее с софы, нарочито ласково заглянул в глаза. — У тебя танцы хорошо получаются. — Он церемонно расстегнул одну пуговицу ее блузки, другую...

— Подожди, я сама, Шафир.

Она хотела было пройти в соседнюю комнату, но сидевший в кресле «солидный животик» с хрипотцой с нарочитым упреком прослащавил:

— А как же, козочка, я? — Он покачивал в такт мелодии ступней. — Я, может быть, никогда и не видел, какое бывает, как говорит Шафир, мраморное тело. Присядь, Шафир, присядь, — произнес он: дескать, она сама разделется.

Сквозь музыку проступала сочная тишина.

Шафир вытянулся на манер «животика» в кресле рядом и протянул раскрытую пачку «Явы»:

— Кури, Михей.

По комнате потянулись разлохмаченные клубы сигаретного дыма.

Настенька, пританцовывая в такт мелодии, сбросила на софу блузку, стянула юбку. Посмеиваясь хмельными глазами расстегнула бюстгальтер.

...Директор через каждые полчаса выходил из дома посмотреть, все ли в порядке, не «пасется» ли возле дома какой-нибудь подозрительный тип или милиционер. В этот раз он не вышел за калитку, а стал у ворот и, как дворняга, с поднятой настороженной головой вслушивался в осеннюю густую ночь. Тишина. Земля казалась вышвырнутой в промозглую темень, лишь где-то внутри черного неба тлеющим углем угадывалась тусклая пленка луны.

Директор еще раз проверил засов калитки и, шаркая большими калошами, подошел к приземистому окну времянки. Розовые шторы блекло подсвечивались изнутри, и по ним, как по экрану, металась резкие тени. Из комнаты, как тонкий дымок, тянулась музыка. Он приник лицом к стеклу, взгляделся в небольшую щель между рамой окна и шторой и оглушенно замер: прямо перед глазами танцевала обнаженная Настенька. Директор с затаенным дыханием и громко заколотившимся сердцем протащил по стеклу пятерней, словно этим движением мог увеличить щелку между шторой и рамой. Он сильнее вдавил похолодевший лоб в стекло. Молодое, еще не успевшее сноситься тело вилося в брызгах приглушенного света, гибкие руки взметнулись вверх, подрагивали приподнявшиеся груди,



упругий, маленький живот, как ореховый панцирь, овально стекал в черную треугольную впадину меж туго налитых ног.

— Дьявол! — чертыхнулся Директор, зачем-то зыркнул по сторонам ошалелыми глазами и, шумно сглотив, снова сплющил на стекле повлажневший лоб.

Неожиданно в полоску пространства, видимого Директором, въехал карточный столик. К замершей на мгновение Настеньке метнулся Шафир, подхватив ее, обнаженную поднял на стол.

Сбоку донесся гулкий удар о стену: сын Азор, неловко распахнув дверь дома, стал на крыльце. Свет, выпавший из дома, осветил его худощавую фигуру. Минуту он вглядывался в небесную темень, потом, затворив дверь, двинулся по двору. Далекий свет уличного фонаря тускло выхватывал из темноты сутулую фигуру.

Сердце сдавило в ноющий ком: парню всего двадцать пять — и такая беда... Свесив голову, словно волоча по земле взглядом тяжелый предмет, он молчаливо шагнул было мимо Директора во времянку, но тот мягко придержал его.

— Подожди, сынок, — еще не зная, что сказать дальше, он покрутил пуговицу на рубашке сына. — Не холодно? Одедся бы потеплее...

— Небо давит, — глухо, как бы разговаривая с собой ответил юноша.

Свет из окна тускло объял его опущенную голову, в темноте, как на негативе, проступил болезненно-потупленный профиль Азора.

— Небо умерло и давит. Надо к людям, — прежним тоном, как бы размышляя сам с собой, произнес он.

Взгляд Директора замер на подавленном лице сына. Вдруг ударила мысль: а может быть, это и к лучшему — пусть увидит эту голую девчонку. И может быть, заплатит ей хорошенько, пусть она побудет с ним. Может, ласка и близость с женщиной что-то изменят... Но его тут же охватила тревога. В растерянности Директор не заметил, как сын высвободил свою руку и открыл дверь времянки. Из комнаты, сквозь выпавший свет, ударила музыка.

В первые секунды Азора не заметили. Настенька с развязным весельем, раскидав по сторонам стройные руки, выпятив острые груди, откинув назад голову, хмельно кружила на легком карточном столике. Двое мужчин по-хозяйски развалились в креслах, и, снизу вверх глядя на обнаженную Настеньку, похотливо-небрежными глазами смаковали танец молодого подвластного им тела.

Азор при виде этих двух и танцующей голой девушки замер в каком-то своем тяжелом раздумье.

Настенька, вдруг увидев его, невольно вскрикнула, неловко прикрылась руками, сжав полусогнутые ноги, казалось, хотела вся свернуться, как сворачивается в трубку горящий листок.

Шафир и Михей метнули к дверям настороженные взгляды, но тут же облегченно расхохотались.

— Настенька! Это же наш Зоря. Будущий художник, — сквозь музыку и смех выговорил Шафир.

Настенька сползла со стола и метнулась в соседнюю комнату. Легко колыхнулись и замерли за ней шторы.

— О-ох, Азор, ну и напугал ты нашу козочку, — сотрясая животиком Михей. — Ну, заходи, коли пришел, господин художник.

Азор все еще стоял в дверях — в потертых джинсах, черной рубашке и со своим вечным белым шарфом. Один конец шарфа свисал со спины, другой — с груди, как и полагалось настоящим художникам. Глаза Азора смотрели на игроков, но, казалось, не видели их, словно смотрел он со света в темноту или вдруг, увидев какую-то важную мысль, проникал в ее лабиринты. Игроки от этого взгляда все же свернули свой смех.

За спиной Азора показалось припухшее лицо Директора. Оба вошли в комнату. Парень присел на краю софы, опустив глаза к носкам туфель, медленно, точно священнослужитель, укорил:

— Вы тоже знаете, что небо умерло... Но оно вон как на вас давит...

Шафир и Михей знали о болезни Азора и, как обычно здоровые люди обращаются с больными, со снисходительным смирением приготовились слушать.

Директор незаметно развел руками: что я, мол, могу поделать, и присел подле михеевского кресла на корточки.

— Михей, — помялся он и, как побитая собачка, посмотрел на него. — Божеское дело сдалешь... Может... если ему... эту... бабу... эту девчонку... может... кто его знает... поможет? — Директор подавленно свесил голову и несмело продолжил: — Я заплачу... сколько ей там надо...

Михей рассмеялся неуклюжому «сколько ей там надо», но, глянув на сгорбленно сидевшего Азора, прервал смех. В глазах Михея мелькнуло неподдельное сострадание. От этого взгляда зашло в надежде директорское сердце, показалось, что прежде самодовольное, сытое лицо картежника осветила человечность.

Но вдруг, увидев себя со стороны, как скорезился он подле кресла этого дельца, в собачьей позе вымаливая для своего сына женщину, невольно вздохнул: «Что же это?..» Но что произошло особенного? Просто на этой земле, затерявшейся в черном холодном чреве мира, одним человеческим несчастьем больше, другим — меньше. А тем более, сколько их было с праотцовских времен и сколько еще будет! Нет в этом горестном мире такого надежного крыла, нет пути, который спрятал или увел бы человека от беды. Нет и не будет...

— Сделаем, брат мой! — Михей хлопнул пухлой ладонью по спине Директора, вошел в соседнюю комнату, где неслышно затаилась Настенька.

Магнитофон уже молчал, и в настороженной тишине отчетливо скрипнули за шторами пружины железной кровати, покатыл оживленный приглушенный спор женщины и мужчины. Шафир с безучастным видом покуривал, все так же развалившись в кресле. Азор, подперев ладонями лицо, сидел на уголке софы. Директор, по-собачьи положив подбородок на красный подлокотник михеевского кресла, напряженно вслушивался, так и не поднявшись с корточек.

— Ах ты моя умница! — донесся из комнатки покровительственно-теплый голос Михея. Разошлись шторы, и проем дверей заполнила его широкая, с черным галстуком на брюхе, начальственная фигура.

— Азор, — он свойски поманил пальцем.

Тот послушно поднялся, поправил на шее свой вечный белый шарф.

Директора в секунду смело с места, страх оглушил сознание, он бросился к выходу, ослабевшие вдруг ноги, казалось, вот-вот подкосятся, и тело не дотащится до дверей. На глаза попался столик с закусками и спиртным, стоявший недалеко от дверей. Директор воровски отгородился от всех спиной, дрожащей рукой наполнил до краев водкой граненый стакан, торопясь, облив подбородок, осилил его, подцепив с блюда лимонную дольку, выскочил во двор. От подсвеченного окна, как от ночника, тек в темноту жидкий свет. Директор прислонился плечом к стене, помолил обезбоженное небо о помощи. На мгновение показалось, что где-то, словно в ответ на его мольбу, задрезжал чей-то смешок. Директор прислушался. Ночь ответила напряженной тишиной. Смех ударил снова. Но теперь он исходил из души, из его разорванного мира. Он ткнулся лицом в холодную стену, в отчаянии впечатал в нее кулак. Сквозь заскрежетавшие зубы вырвался плач.

Из времянки с деловым говором вышли Шафир и Михай. Увидели подрагивающую в свете окна спину Директора. Переглянулись. Михай успокаивающе тронул его плечо:

— Че ты... как маленький... Дай Бог, соберешь деньги — вылечишь сына...

— Я уже не могу... Бесполезно... Как все бесполезно в этом мире! Как все бесполезно!

Громко щелкнула зажигалка Шафира, в темноте родилось похожее на огненное перо маленькое трепетное пламя. Закурили.

Вдруг сквозь зашторенное окно вырвался крик Настеньки. Метнулись к дверям. Во времянку вошли плотной очередью. Настороженно остановились: Настенька, по-детски всхлипывая, торопливыми движениями натягивала юбку. У ее ног валялось сине-белое покрывало.

— Мало вам, что делаю, что вы хотите, еще этого психа мне подсунули!

Из маленькой комнаты вышел Азор. Он был одет, белый шарф, по-прежнему обмотанный вокруг шеи, одним концом свисал с груди, другим сбегал за спину. Все напряженно замерли. Взгляды уперлись в глубокие, как тоннели, и точно оглушенные болезнью глаза.

— Верьте мне! — Азор, как в портретной раме, встал в дверях, медленным взглядом прошел по лицам. — Верьте мне, я люблю другую! Не думай, сестра моя, что я сумасшедший, — он мягко посмотрел на все еще испуганное лицо Настеньки.

Та машинально поправляла на себе черный бюстгальтер.

Директор обнял сына за спину, мягко повлек к дверям: — Все правильно, сынок. Мы тебе верим.

Они вышли, тихо закрылась дверь. Со двора послышались шаркающие шаги и приглушенный заботливый голос отца.

Настенька опустилась на софу, подняв с пола покрывало, обернулась им.

— Он что? Тебя трогал? — спросил Шафир.

— Не трогал! Это вы специально, чтоб посмеяться.

— Так что же случилось? — Михай присел рядом, провел пальцем по тонкой синеватой жилке на обнаженной шее Настеньки.

— «Что случилось, что случилось», — передразнила она. — Я уже лежала, а он на колени, как поп, со своими психическими глазами: «Я не могу Вас любить!»

Михей и Шафир разом, как по команде, громко захохотали.

— Вам смешно! — все еще обижалась Настенька. — Вас бы на мое место.

Последние слова точно подстегнули Шафира, он ткнул в брюхо Михея пальцем, и, все больше сотрясаясь от смеха, еле выговорил:

— Михей, тебя бы на ее место! Тебя бы...

И еще долго во времянке звучал истошный мужской гогот и нервный женский смех.

Потом все опустошенно смолкли, замерли, и в чуткую сумрачную тишину, казалось, прокрался гадливенький страшок.

— К добру бы наш смех,— суеверно проговорил Михей.

Все мельком переглянулись, точно споткнулись о беглые взгляды друг друга, все, казалось, вспомнили долгий, прицельный взгляд темных глаз Азора...

...Директор с больной головой наутро поплелся во времянку, «подлечился» оставшейся после игроков «Столичной», потом, порой подолгу застывая в раздумье, нехотя прибрал в обеих комнатах. И вот теперь ждал Богдана с ярмарки.

## 6

Узнав, что с Богданом приехал писатель, пусть молодой, Директор обрадовался: давненько с людьми не разговаривал. С хмельной сдержанностью, как обычно, при своем галстучке, интеллигентно уговорил Фарсида и Двушника зайти на «две-три минуты».

Но прежде стаскивали с грузовика купленных Богданом коров. Те упрямо упирались копытами в наклонный трап, круто дергая мощными головами, старались вырвать из рук мужиков натянутую веревку. Кто кого пересилит. Победили мужики. Буренкам отдали на время заросший порыжелой травой и кустарником заброшенный директорский сад и вчетвером — Директор, Богдан, Двушник и Фарсид — разместились во времянке... Сидели за карточным столиком, на котором прошедшей ночью кружила обнаженная Настенька. Директор, все больше обращаясь к Фарсиду, рассказал про вчерашние танцы и «всю голую молоденькую бабу».

Разговор об «упавшем мире» двинулся к первопричинам. Директор, подобно тому, как голодный набрасывается на пищу, жадно ухватился за беседу, с хмельным азартом «выкладывая» довод за доводом:

— Понимаешь, друг мой,— говорил он с теплотой Фаренду,— это дело простое. Как эта пустая рюмка... Богдан, разлей, пожалуйста,— попутно заметил он. — Все беды от того, что люди мир не любят. А некоторые еще хуже, презирают или ненавидят. У кого как, но все не любят.

— Ты что-то не то рубишь! — Богдан откинулся на спинку софы. — Как это можно навидеть или ненавидеть мир? Ненависть к человеку, я это еще понимаю; бывает, что и брат брата ненавидит... А как можно ненавидеть мир?.. Это ж тебе не человек. Это вон какой, э-эх! Да и вообще, как можно ненавидеть неживое?! Он неживой, и все тут! Если тебе на голову столб упадет, ты что будешь этот столб ненавидеть?

— Человек найдет, что ненавидеть! — вмешался Двушник. — Если на голову ему свалится тот же столб, то человек сейчас же проклянет того, кто этот столб поставил. Ненависть — находчивая штука! — просмаковал он. — Так что все можно ненавидеть. Но этот мир я люблю. Как можно не любить весеннее солнышко, тепло, красоту, баб? Что может быть лучше красивой женщины? Клянусь честью, если бы я был Богом, то красивым женщинам сразу бы дал бессмертие. Да ладно, красивых женщин на наш век хватит. Лишь бы деньги были и еще... сами знаете что. Живи себе, наслаждайся, кайфуй, как хочешь. И пусть беды будут от нас подальше.

— Я об этом и говорю,— живо подхватил Директор. — До первой беды любовь человеческая, в этом убеждаюсь с каждым годом все больше и больше. Вот и получается, что ненависть к миру, как бацилла, в человеке сидит. Только до первой беды никто про нее не знает. А потом... Не дай Бог... Светлый мир в проклятье превращается! — Директор произнес это с печальным знанием.

Все поняли, что говорил он о себе, и в комнате воцарилось неловкое молчание.

Директор крутнул по столу вилкой, зубья зацепили пустой стакан, и тишину комнаты пронзил тонкий стеклянный звон.

— Да и как любить этот мир? — в раздумье произнес Директор. — Иногда смотришь, а человек на том же самом теплом солнышке сидит, пригрелся, природой любит, думает, для него оно, солнышко. А это, может, какому-то змею в темноте жрать темно. Вот он и зажег это солнышко. Включил, как мы лампу, и жрет все подряд: зверье, людей, тараканов, солону, деревья, дома — все, что есть на этом свете. И никаких тебе смертей, землетрясений, разложений — просто все это в утробе этого дракона пере-

малывается: урчит, скворчит — в мировое дерьмо переваривается. Вот и весь мир... И как это можно любить?.. И не любит человек мира. Потому и все беды его... Возьмите хотя бы эти самые глобальные проблемы. Несколько лет назад их еще только семь-восемь насчитывалось, а теперь уже за третий десяток перевалило. И все из нелюбви... Да хотя бы взять использование ресурсов и загрязнение планеты. Почему мы все уничтожаем, почему все свое дерьмо, все свои отходы в реки и чистые озера сбрасываем? А потому, что мира не любим и не ценим. Или другая проблема — войны. Мы ведь не потому друг в друга бомбы бросаем, что убивать хотим, а потому, что с миром не согласны. Этот мир не любим. И все остальное отсюда и вытекает. Ненависть к миру — вот проблема. Все беды от того, что человек мира не любит и любить не может. Ненависть к миру — вот проблема, самая глобальная проблема. Если хорошенько подумать, не такая уж и веселая картинка получается. Если я кого-то не люблю, мне все равно, что с ним произойдет, пусть хоть режут его, пусть хоть травят. А уж если кого ненавижу, то при случае сам на тот свет отправлю. — Он снова помолчал и, глядя перед собой, произнес: — Вот только для этого мира не существует «того» света. Этот мир ни подорвать, ни взорвать, ни сжечь, ни еще как порушить нельзя, он, как Кошечей Бессмертный, — вечный. Может, потому его и не ценят и не любят, что вечный. Сама-то жизнь человеческая — как глоток воздуха: вздохнул, и все, а мир вечен. Вот какой змеище! Это для людей есть «этот» и «тот» свет. А миру все равно, как ему существовать: по кускам или по песчинкам, полсолнца или целое, половина земли или один пупее. Миру все равно, что в его темени шевелится.

Снова помолчали. Двушник хрустнул водянистой долькой огурца и, шамкая, проговорил:

— Директор, ты таких страхов наворочал, что писатель, по-моему, аж за голову взялся.

Директор с горькой улыбкой покивал:

Фарсид, словно и не видя его ухмылки, замершими глазами смотрел в какую-то дальнюю точку. Взглянул на Директора:

— Может быть, ты и прав. Может быть, все беды людские от того, что люди мира не любят.

— Любят — не любят, мир — не мир!.. Для меня один хрен, — вставил Богдан. — Дай Бог, чтоб только этот мир стоял для наших детей. Слава Богу, они у нас есть, растут, взрослеют, значит, и этот мир должен стоять! Дай Бог, Директор, чтоб Азор поправился и дописал свою картину!

Директор благодарно кивнул, глаза его влажно моргнули: видно, это было для него самым сокровенным пожеланием — только бы Зоря поправился, и, конечно, потом он сможет делать все, что угодно, и дописать картину.

— Мой Зоря — художник, — пояснил он Фарсиду. — Такую картину написал! Вот я дурак, как не догадался показать... Ладно, выпьем и покажу... Ну, за вас! Как хорошо, что мы сегодня вот так встретились!

— Это спасибо Богдану, выручил меня, — улыбнулся Фарсид.

— Да нет. Это ему надо спасибо сказать. Это он увидел, ну а потом...

— Пустяки! — развязно отмахнулся Двушник. — Как говорится, нет худа без добра... Вот вам и мир. Оказывается, худо — не так уж плохо. Если б не поймали они Фарсида, мы и не сидели бы здесь. Вот вам и худо, — он рассмеялся, но смех получился гадливенький, и все вдруг заметили, что давно подняли бокалы и не пьют. Поспешно выпили.

...Картина Азора, холст размерами метр на метр двадцать, была завернута в плотную серую бортовочную ткань. Директор бережно, с некоторой торжественностью в лице, придвинул кресло поближе к окну, поставил картину на подлокотники, прислонив ее к спинке кресла и стене. С холста повеяло мраком. В первые мгновенья казалось, что в небольшом пространстве комнаты выставлен кусок черной ночи. Картина была написана в трех тонах: черном, белом, красном. Огромное плато черной трапецией уходило в глубину полотна. Плато покоилось на запястьях безвольно опущенных кистей, словно черный кусок картона на коротких крюках. Центр его занимали сфинкс с насмешливой застывшей полуулыбкой и распятие — напротив.

В переднем левом углу плато гнезился гадюшник и от него во все стороны расползлись лоснящиеся гады. Змеи вились по сфинксу, поднимались по распятию. У подножья распятия человек занес топор над поваленной телячьей тушей с женской головой. Рядом обнаженные тела занимались любовью.

На переднем плане из развалившегося башмака выростала человеческая лохматая голова. Рядом — человек поедал человеческую голову. Повсюду вились красные ручейки.

В левом углу, возле гадюшника, стояли четыре фигуры — мальчика, юноши, мужчины и старика. Они смотрели на гроб.



В верхнем правом углу нацелилось на плато орудие. Рядом, вытянувшись по стойке «смирно», солдат бил в барабан. Барабанщик смотрел на человека со вскинутой рукой, повернутого спиной к зрителю. Глаза барабанщика впились в этого человека, словно ждали какой-то важной команды, от которой зависела судьба всего плато. Казалось, вот-вот прозвучит эта команда, опустится рука и орудие, нацеленное на плато, обрушит на него всеобщую смерть...

Директор, как сдающий экзамен студент, с напряжением следил за фарсидовскими глазами:

— Ну как? — не выдержал он.

— А что, красота! — вставил Двушник.

Фарсид рассмотрел картину вблизи, отошел чуть дальше:

— Действительно, этот мир любить невозможно. Здесь нет места для любви... Но вот этот человек, стоящий спиной... Хочется развернуть его... Что там у него за лицо... Что он прикажет... Хочется остановить его руку...

— А чего там останавливать? — усмехнулся Двушник. — Было бы чего жалеть! А такой мир и жалеть не стоит! Все эти гадюги! Людоедство! А те вообще в луже крови сношаются! Не-ет! — протянул он и точно скомандовал: — Только — огонь!

— Но ведь там и ребенок... — проворчал Богдан.

Фарсид пристально взглянул на него, глаза его замерли, потекли вдаль.

— А может, этот человек, который стоит спиной, — это каждый из нас... Каждый, кто картину смотрит! — Фарсид обратился к Директору.

— Так и хотел Зоря! Он так и говорил! — Директор заволновался. — Поэтому он и не показал лица... чтоб каждый зритель... чтоб наш мир... Эх Зоря, Зоря! — Директор скрипнул зубами, попытался удержать слезу, но, не прошенная, она покатила по щеке.

Он поставил на стол локти, утопил в ладонях лицо.

— А того, который у коровы хочет бабскую голову отрубить, Зоря точно про меня нарисовал, — Богдан с напускным весельем решил перевести «огонь» на себя. — Клянись, мне и самому иногда не по себе бывает... А что делать? Кто-то ж и этим заниматься должен. Так уж мир устроен...

— Да, — согласился Директор. — Каков мир, таков и человек. Мир — мироедский, человек — людоедский. Человек — зверь. Не про вас будет, конечно, сказано. А если и есть люди, то их можно на пальцах пересчитать.

— Есть люди, и есть звери в облике человеческом. То, что говорят: «Хороший человек» или «Плохой человек» — это болтовня. Не бывает хорошего человека, есть просто — человек. И не бывает плохого человека, есть — зверь. Чисто биологически... — сказал Фарсид.

Двушнику невольно вспомнился вечер с Камой, когда они подожгли книгу Фарсида и когда он произнес: «Наивысшим познанием будет то, что люди признают себя зверями». Но сейчас, глядя на Фарсида, он шутливо укорил:

— Ты что-то расовую теорию разводишь, товарищ писатель.

— Никакой теории... Но только как можно объяснить, что один человек завистлив, клеветник, ради своей выгоды отправит на тот свет брата родного, упавшего добьёт, а другой — добр, ни на кого не клеветает, отдаст последнее, чтоб помочь другому и упавшему руку подаст. Как это объяснить? Как объяснить что один, говоря: «Один раз живу», хапает все для себя, все сметая на своем пути, а другой, зная, что тоже живет один раз, думает, как бы прожить с чистой душой? Как объяснить, что, живя в одних и тех же условиях, один — сволочь, а другой — человек с душой?

— Ну, ты так говоришь... — с неприязнью в голосе возразил Двушник и тут же, словно торопился, протараторил: — На свете нет совсем чистых людей. В каждом есть свой душок, в каждом есть и добро, и зло. И во мне, и в тебе, и в них. Я никогда не поверю, что есть люди, в которых нет хотя бы грамма зла! Все хотят зла! — Двушник, казалось, даже увлекся и повеселевшим голосом продолжил: — Человек без зла даже не интересен! Как погремушка, пустой. Как будто без жизни. Клянусь честью — посмотришь на такого: ну, добренький, ну, хорошенький — Божий одуванчик. А дунешь — и нет его! Нет! В человеке должно быть зло! Зло делает сильным!

— Ты что-то не туда поехал, — вмешался Богдан. — Я не говорю, что я сам ангел какой-то, но, слава Богу, живу на земле тридцать девятый год, а плохого еще никому ничего не сделал. Так что, по-твоему, я одуванчик и меня просто так сдуть можно?

Директор и Фарсид взглянули на мощные плечи «одуванчика» и рассмеялись.

— Да нет, Богдаша, — ласково проговорил Директор. — Ты у нас душа природы, чистейший человек. Без одного пятнышка на душе. Солнечный человек. — И в раздумье продолжил: — Интересная штука получается. На кого только люди не разделяют друг друга: на богатых и бед-

ных, на хохлов и жидов, на русских свиней и черномазых, на коммунистов и фашистов, на проституток и других, на таких и сяких... А на самом деле все просто: есть люди, и есть звери в облике человека.

— Только каждый из себя человека корчит. На людях красивые словечки... То да сё... А у себя дома книги сжигает! — с осуждением заклеил Двушник, припомнив, как сжигал книгу Фарсида. Но сейчас ему казалось, что это было не с ним, и он с каждой новой фразой все больше верил, что никогда не сжигал книги, и не дай Бог, чтоб у него поднялась на это рука.

— Если в стране сжигают книги, скоро будут гореть и дома, — в раздумье произнес Фарсид. — Сначала сжигают книги, потом — людей.

Двушник посмотрел на него долгим, пристальным взглядом.

— Да принесет всем спасение Бог! — суеверно выдохнул Директор. — Ну ладно, давайте выпьем за людей. Если бы не они, то мир давно б уже в прах превратился... Вот ведь что получается, только сейчас это мне в голову пришло: когда на земле зверей в человеческом облике расплодится больше, чем тараканов, тогда и случаются всякие катастрофы, войны, пожары и всякие революции... Диктаторы тонко чувствуют этот момент и используют его. И не только диктаторы... И сейчас тоже так. Народ озверел. Грабят, насилуют! Войной пахнет... — Он задумался и потом медленно проговорил: — Зверь должен быть сытым и под контролем.

Они выпили. Прикладывавшийся к рюмке с самого утра, Директор уже порядком опьянел:

— Зорю мне жалко. На себя я хрен положил... Зоря... Он же великий художник. Видишь, как нарисовал, — он потерял Фарсида за руку, покачиваясь на стуле, обернулся на полотно. — Зоря у меня умница. Он говорит — люди... — Потеряв нить разговора, он смолк, голова жалко и беспомощно упала на грудь. Казалось, он заснул, но через мгновение затуманенные глаза вопросительно-пьяным взглядом прошлись по лицам: — Богдаша, за что Зорю Бог... так?.. Он же хороший, никого никогда... Совсем же ребенок... Совсем... Даже с бабой еще не лежал... — Он снова всхлипнул. — Богдаша...

Тот встал из-за стола, склонившись над Директором, взял под руку:

— Все будет нормально. Бог поможет.

Поддерживая Директора, Богдан мягко повлек его к дверям, но перед самым выходом тот настороженно вски-

нул голову, испуганно, заплетающимся языком пробормотал:

— Картина! Где картина?

Он вопросительно повел глазами по лицам, оглушенно-пьяным взглядом пошарил по комнате. Наткнувшись на прислоненный по-прежнему к спинке кресла холст, высвободился из рук Богдана и, качнувшись, шагнул к картине.

...Кое-как уговорив, уложили его здесь же — на софе. С картиной он все же не расстался, так и свернулся подле нее, как дворняга, стерегущая дом.

## 7

В комнате жена Богдана с младшей дочерью Яной. За окнами нависло тяжелое серое небо — как свинцовая крыша.

Вера сидит на стуле, скрестив на груди пухлые руки. Мысли ее текут в далекое заоконное пространство. Яна смотрит на мать, прислонившись к дверному косяку.

— Что-то папы нашего долго нет, — медленно произнесла Вера. — Может, под ливень попал. Ветер какой сильный был!

— Сходить к Директору? Может, он там? — с готовностью предложила Яна, и, действительно, похожая на стройную пчелку, казалось, вот-вот она легко вспорхнет и полетит. неугомонная и свободная.

**Мать ответила не сразу, словно не могла вернуться из своих заоконных далей.**

— Сходи, доченька, — через паузу ответила она, глядя перед собой.

Со двора послышался быстрый, тревожный перестук женских каблуков. Мать и Яна вопросительно переглянулись: походка Аллы, но что случилось?

И действительно, в дом вошла старшая, семнадцатилетняя, дочь Богдана, торопливо швырнув на софу черную сумочку, села и, согнувшись над коленкой, где был изодран чулок, рассмотрела окровавленную чашечку.

— Что случилось? — Вера тревожно подалась вперед.

— Опять споткнулась. Обидно! На ровном месте, прямо на глазах у людей! — Она вдруг заплакала, уткнувшись лицом в ладони.

Янка уже кинулась к серванту, торопливо поднесла зеленку, став на колени перед сестрой, осторожно смазала сбитую в кровь чашечку.

— Уже несколько раз подряд! — плакала Алла. — Мама, что это? Почему я спотыкаюсь?

— Ну ничего! — успокаивала Яна сестру, дую на позеленевшее, исполосованное царапинами колено. — До свадьбы заживет!

Вера пересела к дочери на софу, поглаживая ее каштановые роскошные волосы, ласково успокаивала:

— Ничего страшного: живой человек и упадет. Живой ведь... — Но мысли матери уже невольно уносились в какие-то тревоги.

«Подлечив» старшую сестру, Яна чмокнула ее, а заодно и мать, в щеку и выпорхнула на улицу. До директорского дома было минут пять ходьбы. Впереди промчалось несколько машин. Одна, красная, вынырнув из-за угла, ехала навстречу. Но Яна уже издали различила, что это не отцовская машина.

Богдановскую «Ладу» она «вычислила» сразу, определив ее по месту, где она стояла: напротив директорского дома.

Хотя воскресный день выдался пасмурным и угрюмым, людские фигуры торчали на углах, сновали по тротуарам, неторопливо-прогулочно раскидывая ногами, шли по проезжей части. Какая-то женщина, точно кошка, метнулась через дорогу перед самым носом бешено взревевшего автомобиля.

Яна шла по улице, легкая, магнитя взгляды. Одни смотрели на девушку, как на возможную невесту, иные просто любовались, некоторые сладострастными взглядами прощупывали молодые высокие груди, ладно сбитую фигуру. Яна замечала на улице такое внимание к себе, и, проходя мимо какой-нибудь кучки зевак, ускоряла шаги.

Интересны неожиданные встречи с теми, кто тебе люб. Душа твоя раскрывается в долю секунды, словно ветром распахиваются окна — нет у нее времени свернуться в неприступный клубок или еще как-то укрыться. Из четверых, стоявших во дворе Директора: его жены, осунувшейся от горя пятидесятилетней женщины, Фарсида, Двухника и отца — Яна увидела лишь Фарсида. Остальные лица, казалось, туманно расплзлись. Сильно забило сердце, точно кто-то отчаянно колошматил кулаками в окно. Было радостно и тревожно.

Яна машинально отвечала на приветствия, чтобы помочь себе скрыть волнение, теребила на груди распущенный, как кисточка, лохматый кончик каштановой косы.

— Чуть-чуть задержался твой папка, — сдерживая гордость и нежность, пробасил Богдан. — Вот, встретились с друзьями... Писателя нашего узнаешь?

Яна скользнула по лицу Фарсида беглым несмелым взглядом.

— Унает, конечно,— улыбнулся тот. — Мы с Янкой друзья! — напомнил он Богдану, что жены их — подруги и Яна порою появляется в доме Фарсида.

Двушник пристально, точно выслеживая, наблюдал за несколько взволнованной четырнадцатилетней девочкой, переводя насмешливые взгляды на Фарсида.

Янка упростила Богдана разрешить ей сесть за руль: «Папочка, ты немного выпивший, гаишники отберут права и все такое». Богдан для начала строго поводил глазами, но Янка не отступала и, получив в защитники Фарсида и Двушника, как заправский водитель, мягко тронула машину. Дав Богдану лишь махнуть рукой в окно, набрала скорость.

— А что? У Богдана дочка — ничего фруктик... сладкий... — просмаковал им вслед Двушник. — Она, кажется, к писателям неравнодушна... смушалась так. А глазенки так и бегали в твою сторону.

— Она ведь ребенок,— с неприязнью ответил Фарсид.

— Э-э-э, писатель, писатель,— нарочито вздохнул Двушник. — Молодежь ты нынешнюю не знаешь... Сейчас такие детки пошли... вообще сладкий мир пошел: совесть не нужна, душа тоже. Лишь бы «бабки» иметь — все удовольствия для тебя: музыка, девочки любого возраста, икра, шампанское!.. — Но, увидев неприязненное молчание Фарсида, вдруг неожиданно для себя выпалил: — А в общем — дауны... — и рассмеялся. — Все мы — дауны. Это ты точно сказал. Точнее не придумаешь. Про зверя не скажешь — даун! Только про человека можно. Ни волк, ни тигр, ни даже змей дауном быть не может! Это только человека так можно назвать... Даун!.. У меня от этого слова аж настроение поднимается! «Э-э-эх!» — как говорит Богдан.

— Наши книги во времянке остались,— спохватился Фарсид. — Зайдем?

— Пошли, конечно. Первый раз в жизни книжку такую купил, не оставлять же. Библия все-таки. А Директор и так начитанный,— усмехнулся Двушник. — Дирэктур школы...

Фарсид и Двушник шли по улице, в руках у обоих были книги с черными обложками — Евангелие и Библия.

## 8

В вечерней, хорошо освещенной кухне — тишина. Лишь четкое причмокивание жующего рта Двушника и редкий,

словно с оглядкой, всхлип: боясь издать лишний звук, осторожными глотками Кама потягивает из стакана чай.

Двушник смотрит сейчас перед собой и не видит. Глаза его, ярко сверкающие в свете лампы, скользят по столу, впиваются в лицо жены, мысли мечутся из прошедшего дня в настоящий и вновь обратно, точно теннисный шарик перелетает с одной половины стола на другую.

Двушник быстро обглаживает цыплячье крылышко, вертит его в жирных пальцах, и снова очень быстро, словно кто-то подгоняет, работают челюсти. Глаза заняты какой-то мыслью, и кажется, в руках у него не цыплячье крылышко, а та самая мысль, которая не дает покоя и которую нужно поскорее обглодать.

«Есть просто люди, а есть звери в облике человека...» — прыгает в голове ненавистная фраза Фарсида.

«Есть люди...» — фраза уже кажется буравом, который сверлит мозг.

Надо выговориться. И уже давно нет хмеля от выпитого в директорской времянке. Вспомнилось, как натравил дуралея-милиционера на Фарсида. «Дауны». Хорошо!

— Дауны! Как тебе нравится? А? — спросил он у Камы. Кама подняла голову.

— Я тебе вчера про зверей говорил, а оказывается, люди не звери...

— Кто же?..

— Дауны, — пояснил он. — Знаешь, такие больные есть. Уроды. — Он передал историю с гусеницей, рассказанную Фарсидом. — И люди тоже, как эти уроды: все давят, все сметают на своем пути... Но себя он, конечно, за человека считает. Ну, а мы с тобой точно за даунов проходим. Мы ведь кушаем — что хотим, пьем — что хотим, кайфуем — как хотим, и деньги всегда есть. — Тьфу-тьфу, — для большей верности он постучал по столу. — Весь этот его ум от «хорошей» жизни. Дай Бог этому государству тысячу лет жизни: всех этих умников-художников, писателишек разных до ручки довело. То, что они зарабатывают, — государство себе в карман. Государство книгу Фарсида выпустило, а заплатило с гульки хрен. Из сорока тысяч ему две тысячи накапали. Ничего... Я посмотрю, как он дальше запоет: у него ведь дети растут. Там такие расходы предстоят — припрет, как цуцика. А это государство, какие бы он золотые книжки ни писал, все равно вот такой хрен покажет! — Двушник вытянул руку, сжав кулак, показывая размеры хрена. — Здесь воры в почете: и государство ворует, и люди воруют. Кто не ворует — тот не ест! — Двушник, довольный своим афоризмом, благодушно отки-

нулся, передразнивая Фарсида: — «Люди, не люди...» А там еще и это ничтожество... «Богдаша», — он помолчал и с небрежной интонацией добавил: — А дочка его... Богданова, младшая, за мужиками уже постреливает. Так и косилась на этого писателишку...

Двушник сидел задумавшись, глаза его, убежав в занавешенное ночное окно, казалось, что-то высмотрели вдали и теперь пронзали его насквозь.

— Если писателишка ей нравится... случай всегда найдется... Спичку только подбросить... А там все зверьми станут. Все любят зло-о! — с наслаждением протянул он. — Эх и столкну я их! Посмотрим, что от их «людского» останется. Глотки будут грызть друг другу, — предвкушая удовольствие, произнес он, представляя, как натравит Богдана на Фарсида.

\* \* \*

Двушника, связанного по рукам и ногам, швырнули на асфальт. Чей-то мерзкий хохот возник над головой и, становясь все громче, стал сдавливать в страхе мозг. Двушник хотел взяться за голову, но не смог высвободить накрепко связанные за спиной руки. Он извивался на асфальте, вбирал голову в плечи, но смех нарастал все громче и громче. Вдруг, дыша смрадом, над ним возникла болезненно раздутая голова дауна. Даун держал красный флаг. Глядя на Двушника бессмысленными кровожадными глазами, хохотал, разбрызгивая пену изо рта, и вдруг занес над его лицом огромную ногу с разбитым тяжелым сапогом. Каблук резко опустился к переносице. Двушник силился кричать, но из окаменевшего рта выходил лишь сдавленный стон...

Наконец он оторвал голову от подушки, судорожно вгляделся в полумрак спальни. «Сон!» — И облегченно вытер мокрый от слюны подбородок.

## 9

Вечер. Семья Богдана. Вера, он сам и дети собрались у телевизора. Богдан изредка украдкой смотрит на детей: мало ли их, много ли — трое. Да хранит их Бог, пусть все будут здоровы и счастливы. Хотя бы как он сам, большего и не надо — хватит и этого. Людское настоящее счастье в уважении стоящих людей: молодых ли, пожилых ли — стоящих. Деньги, побрякушки, железки разные, все это, в конце концов, — хотя вещь и бесполезная, но все же не



та... Сам человек — вот главное. Что же касается денег — есть и они.

Самое же великое богатство, размышляет Богдан, вот оно — его дети: сын Андрейка — умница, играет на пианино, учится в девятом классе, младшенькой — любимице Яне, его помощнице, четырнадцать лет. При мысли о ней душа Богдана согревается, словно омытая ласковыми, живительными ключами. Ну и особая его любовь — старшая дочь Алла. О ней подумалось с какой-то важностью, словно сами мысли пошли степенной, значительной поступью. Алла — любимица и его друзей. И обращаются они к ней не просто как-нибудь, а по имени-отчеству: Алла Богдановна. Звучит! И вот его Аллу Богдановну приходили сегодня сватать. В который уже раз. Вернее, снова разведка: отдадут или нет? На этот раз прежде уважительные, весомые отговорки, которые служили мягким, дипломатичным отказом, звучали неуверенно, и сваха-разведчица ушла не без надежды. Но все-таки Богдан ничего определенного не сказал: надо было еще не один раз обговорить этот вопрос с самой дочерью и вообще со своими близкими.

Парень, за которого просили, закончил школу вместе с Аллой, и, по рассказам жены, у этих сопляков (голову бы оторвал, если бы знал) была какая-то дружба. Но Бог с ней, с этой дружбой: тут, если оглянуться на свою юность, можно было обнаружить те же самые «дружбы», школьные любви, танцульки, танго-манго и еще многое другое. Теперь вопрос стоял в упор. Материальное положения парня интересовало Богдана не очень. Главное — не породниться (как теперь и он научился этому слову) с даунами.

Поговорив с дочерью, Богдан допоздна просидел со своей женой, решая-думая, как поступить. Тревожно, неспокойно, но и гордо было на душе у него: ведь... И много было этих беспокойных отцовских «ведь».

Обручение назначили на воскресенье: близилось первое серьезное торжество в доме Богдана. Первая большая радость с момента рождения детей.

Жена Богдана все эти дни бегала, «не видя себя», охая, причитая, точно на нее свалились заботы всех торжеств мира.

— У тебя, наверное, голова кругом идет, — нарочито серьезно подшучивал он.

— Выручай, если хочешь — хороший передник тебе дадим! — звучало в ответ, или еще что-нибудь в этом роде слышал он, и на него сыпались тысячи поручений: завести

этого столько-то, не забыть про то, пригласить этих, передать то-то, купить того-то.

Богдан исправно мотался на своей машине по городу, не без удовольствия и гордости зачеркивая в своем списке то, что уже завез, купил, достал, кого пригласил.

И дни стояли под цвет радости: золотая осень водила по чистому сквозному небу спелое, как налитое яблоко, теплое солнце. Октябрь начинался с добрых, как материнские пожелания, погожих деньков. Только жить и радоваться таким светлым человеческим миром. Все хорошо. Жизнь — для человека. Все продумала для людской жизни умная природа. Все, до самых мелочей.

В эти дни Богдан, казалось, стал выглядеть старше, мудрее, хотя и всегда старался быть степенно-солидным, как подобает всякому стоящему хоть чего-нибудь мужчине.

Самым главным продуктом на таких торжествах, как, впрочем, и всегда, было мясо. Барашков на шашлыки Богдан закупил, а двух коров, купленных на прошлой ярмарке, он так и не успел забить, отчего-то словно специально, откладывая со дня на день.

— Пропьянствовал мужчина! — доставалось от жены, но теперь оказалось, это было не что иное, как «рука судьбы».

— Я-то знал что к чему! — козырял теперь Богдан. — Так что бабий ум — одно, а мужчинский — совсем другое. Не зря я тогда коров не резал.

Да и сам про себя потихонечку удивлялся: ведь и в самом деле, — как будто нарочно.

А в местечке уже поговаривали о предстоящем обручении: вот, мол, еще один человек переходит важную, даже очень важную черту — выдает дочь замуж.

Поздравляли Богдана и ждали: как-де он справится с таким серьезным торжеством.

## 10

Богдановские коровенки пощипывали траву в неухоженном саду, заросшем бурьяном и кустарником. Обе одинаковой масти — ярко-коричневые с белыми пятнами на одутловатых боках, изредка переставляя копытами, беспечно добывали себе корм. Шумно чавкали отвесистые губы-лепешки, с треском отрывая от земли траву.

Вечернее спокойное небо склонилось над землей, внимательно наблюдая за ходом людских хлопот.

Пять-шесть мужчин, уже готовые забить одну из коров, наблюдали за ними, стоя у сарая. Рядом с ними молодой раби<sup>1</sup> в черной шапочке-тюбетейке, с черной кучерявой бородкой держал под мышкой зачехленный забивной нож.

Директор, как обычно, с припухшим лицом, но чисто и аккуратно одетый и при обязательном своем красном галстуке, сочувственно мотнул головой:

— Я их вчера, как всегда, на ночь загнал в сарай. Жратвы им дал, хлеба... то да сё... В общем, я бы не пожаловался, если бы за мной так ухаживали... А они ближе к ночи так орать стали. Мычат, аж душу выворачивает... Чувствуют... Знаешь,— он тронул Богдана за руку,— как будто просят: не режьте нас. Всю ночь я не спал. Орала и орала... Это ж мать и дочь,— кивнув на коров, пояснил он окружающим.

— Более хищного зверя, чем человек, на свете нет,— с умной интонацией пробасил кто-то.

— Так нельзя говорить,— заметил раби. — Бог создал этих животных для человека. Каждой Божьей твари свое предназначение. Так что выбирайте, какую резать будем.

Богдан вопросительно посмотрел на Директора. Тот неопределенно пожал плечами.

— Для такого торжества не грех мясо и помоложе,— предрешил раби.

— Значит, дочку,— невольно выдохнул Директор.

Это «дочку» точно резануло Богдана по сердцу и словно телеграмму отбило в мозгу: «И у меня дочь, и эта «дочь». Ради моей дочери убивают другую». От этих мыслей уже нельзя было отвертеться, как нельзя отвертеться от всегда неожиданных телеграмм. А мысли... они рождаются всегда готовой фразой, не по одной букровке и слову, а сразу, как вспышка света, как ветер. «Ради дочери... другую...» — хотя мысль уже гасла, расплывалась, все же смотреть на коров было неприятно... Как-то раньше не замечалась эта бабья слезливость; сколько их уже резано-перерезано за все время работы — и рыжих, и коричневых, и молодых... Может быть, и на этот раз не было бы никаких соплей, если бы ни это брошенное Директором вслух: «Дочку...»

Богдан, рассерженный в душе и на себя, и на Директора с его красным языкастым галстуком, хлестко бросил: «Ладно, хватит...»

---

<sup>1</sup> Раби — священник-забойщик.

После этих слов, словно окаченные холодной водой, все резко ринулись с места к коровам. «Мать» повернула в сторону приблизившихся людей большую беспомощную голову. Огромные виноватые коровьи глаза настороженно смотрели на подкрававшихся людей: словно чуткие прожекторы прощупали что-то неотвратно надвигающееся.

— Как человек! — снова удивленно мотнул головой Директор. И вдруг приглушенно, почти переходя на возбужденный шепот, протянул. — Смотри-и-те, пла-а-чет!

И вправду: большая прозрачная, как янтарь, слеза, родившись в печальном большом глазу, медленно поползла по коричневой, горько замершей скуле. Буренка плакала, словно понимала, что это стоявшее рядом существо, еще недавно отделившееся от ее плоти и еще так недавно сладко посасывавшее ее материнские сосцы, теперь обречено на вечную с ней разлуку — на смерть. И ничем эту смерть не отворотить. Тонкий мокрый след от скорбящего большого глаза пролегал по плюшево-гладкой морде.

Люди почувствовали, что прячут друг от друга глаза. Директор сорвал с дерева ветку и нарочито громко стал погонять корову к сараю. Богдану невольно вспомнилась картина Азора: черное плато... человек занес топор над женской головой с коровьим туловищем. На душе стало неуютно и сутолочно.

Беззаконное нутро сарая освещала засиженная мухами большая лампа «двухсотка». Она висела под низким деревянным потолком на длинном черном шнуре. Яркий свет разливался по дощатым, сплошь залатанным фанерой стенам, высвечивал вытоптанный, лоснящийся земляной пол, делая черное нутро сарая похожим на врытую в землю лачугу.

Корова стояла на середине, под самой лампой, как начищенная, а на понурой морде светились жалкие, словно свыкшиеся с неминуемой смертью и виноватые, как у ребенка, огромные глаза.

Мужчины громко, видно, в глубине души чувствуя вину, бросали друг другу бестолковые команды, сняв с черных стен толстые, скользкие от жира веревки и жгуты, повязав копыта и обкутив рога, завалили корову на землю... Из сада донеслось долгое молящее мычанье...

— Это мать! — вскинул голову Директор.

— Давайте, — скомандовал рабы, и несколько мужчин навалились на заваленную тушу, изо всех сил прижимая к земле копыта, застопорив рога.

Убойщик взялся за обвисшее коровье горло, остро сверкнуло длинное лезвие тщательно отточенного ножа, гу-

бы раби забормотали негромкую молитву. И вдруг наступила тишина, и в этой подобравшейся тишине плотным резким шелестом прошелся по коровьему горлу мгновенно окровавившийся нож; корова захрипела, из рассеченного горла густыми клубами хлестнула кровь. Отчаянный храп забился в черной пасти освещенного сарая. Дернулось прижатое к земле туловище, люди удержали эти последние судорожные рывки, и снова из уже развалившегося окровавленного горла рванулся резкий храп.

Глаза Богдана невольно повело к распоротому горлу, и снова вспомнилась картина Азора, словно и вправду сейчас, сдавленная коленом, лежала под ним женская голова с разметанными по земле белыми волосами. Огромные глаза с крупными белками замерли с так и застывшим вопрошающим взглядом.

## 11

— Поздравляю!

— Поздравляем!

К Богдану во двор входили празднично одетые гости. Два длинных, человек на сто, уже накрытых стола, сверкающих от белизны скатертей, блюд, бокалов, бутылок коньяка, шампанского, водки, протянулись вдоль двора.

День обручения.

— Тебе к лицу торжества,— заметила Наталья. — Ты и вправду Солнечный человек. Молодец,— с улыбкой оценила она, и на мгновение убежали вдаль, замерли ее черные горящие глаза.

И действительно, в облике Богдана — строгий светлый костюм, галстук, степенные жесты, спокойная манера приветствовать гостей — во всем виделся опыт прожившего век мужчины, словно было ему не тридцать восемь, а намного больше, и улаживать такие ответственные дела — штука для него привычная.

«Тебе к лицу...» В этих словах Натальи была своя правда: все в этом светлом и добром мире на какое-то время становится катализатором и выявляет в человеке его сущность. Власть обнажает в иных ум, в других — глупость, деньги — в одних подлость, в других — благородство, а смерть раскрывает прожитую жизнь. Так же, наверное, и торжества высвечивают достоинства и уродства хозяев. Как ни странно, действительно, торжества идут не всем, но сильным и добрым. Иные в своей радости вдруг становятся более жалкими, смехотворными, и как бы они ни

старались, все их торжественные мероприятия выглядят, как жалкие потуги и карикатуры...

Двор Богдана на случай непогоды был накрыт зеленым тентом, создававшим впечатление шатра, украшенного множеством шаров, цветов, гирлянд из разноцветных лампочек.

За спинами жениха и невесты висел красный, с восточным орнаментом ковер.

«Желаем счастья!» — горела на нем надпись из маленьких, как раскрашенные орешки, лампочек.

Стол постепенно заполнялись гостями. В глубине двора, сидя друг против друга, договаривались о предстоящих делах дипломатично-степенные старики и старухи: две «делегации» — со стороны жениха и невесты. Богдан изредка подходил к ним, становясь за спинами своих стариков — отца, матери, дядюшек и тетушек, с улыбкой вникал в извечную предсвадебную дипломатию: расхваливали невесту и жениха — каждый своего, обсуждали сотни откуда-то берущихся мелочей и, как обычно, спорили по самому «болевому» вопросу — о сроках свадьбы. Жениховская «гвардия» готова была забрать невесту хоть завтра, и «никакого не надо приданого», а «дипломаты» же со стороны невесты защищали право на время для подготовки и всяких еще непременно предсвадебных дел. К тому ж — поздняя осень была бы не самым лучшим временем для многолюдного торжества. Сошлись на том, что в конце апреля свадьба все-таки состоится.

На улице уже стемнело, в праздничном, ярко освещенном «шатре» стал подниматься легкий гул застольной разноголосицы. Вступили первые пронзающие души звуки зурны, мелодию подхватили горячие аккорды гармонии, заплясали четкие ритмы барабана.

От музыки в «шатре», казалось, стало светлее: раскрыв людские души, она точно высвободила их от чьих-то пристальных подслеживающих глаз.

Богдан по-хозяйски изредка прохаживался вдоль рядов, выпрашивая пожелания гостей. Звонко сдвигались в тостах сверкающие бокалы, светились в улыбках и смехе людские глаза. Гордо и спокойно было на душе Богдана. Все хорошо. Вот таким получилось первое большое торжество в его доме. Первое обручение. Обручение его гордой красавицы Аллы. Аллы Богдановны. Вот она сидит, как княгиня, на фоне яркого ковра рядом с женихом. Пара хорошая. Заметная. Оба красивы. Алла, точно стесняясь такого внимания в свою честь, сидит чуть потупясь. До самых тонких овальных бровей ниспадает белый с бахро-

мой платок, оттеняя черные большие глаза. Богдан любит ее незаметно, чтоб не увидела ни он, ни кто другой.

«Шатер» вдруг на мгновение притих, но через минуту, выскользнув из горла зурны, слетев с белых клавиш гармони, потекла нежная мелодия Востока. Будто угадали музыканты, все же подстерегли настроение Богдана и теперь, начав нежную мелодию, окутали душу в печаль, трепетную отцовскую печаль... Любимая Алла Богдановна... Что там впереди? Какая судьба уготована за этим красивым праздничным вечером?

И овевала душу мелодия, как овевает землю высокий звездный вечер, легко унося ее в непостижимые дали непостижимой человеческой радости, печали и любви. С чем сравнимы отцовская любовь, отцовская гордость, отцовское счастье?!

Настаивался, как мед, хмелел вечер обручения.

Хлопотливо носилась с блюдами, бутылками, приборами между рядов насмешливая Наталья, норовила как-то оказаться рядом с Богданом, обдав его шлейфом манящих духов, успевала шпильнуть на ходу какой-нибудь раскованной откровенностью: «Закажи танго — позажимаемся», — и улетела, чтоб снова через некоторое время оказаться где-то вблизи.

В глубине двора, подалее от грохота музыки, примостились Директор с Азором, Фарсид, Двушник. Женщины сидели рядом, в своей компании. Директор поймал взгляд Богдана, поманил пальцем. Тепло улыбаясь хмельными глазами, сунул в руку Богдана бокал с водкой и с хмельным пафосом поднял тост:

— Дорогой наш Богдан! Народная мудрость гласит: человек должен вырастить сына, построить дом и посадить дерево. Ты достиг уже много: и сына вырастил, и дом построил, осталось только дерево посадить! — Тут Директор выдержал паузу профессионального оратора, осмотрел лица слушавших его. — Здесь, наверно, думают: вот, мол, Директор нашел тост под возраст дедушкиной бабушки... Но они ошибаются... Однажды я задумался: ладно, сына вырастить — дело нелегкое и очень важное, дом построить — тоже нелегко и очень важное, сколько сил вложить надо! А почему тогда третье пожелание — такая пустяковина, как дерево посадить? Разве можно сравнить с первыми двумя? Как будто нет. Тогда почему же именно этот пустяк?

— Клянусь, Директор, — Богдан повел по воздуху бокалом, словно в подтверждение, — я тоже об этом недав-

но думал. Вроде бы чего там, какая польза — одно дерево?..

— Вот-вот! «Вроде бы...» И я точно так же думал: «Вроде бы». — Он увидел, как в глазах Двухника, Фарсида и всех тех, кто сидел за столом вблизи, появилось любопытство, и вспомнились ему давние дни его красивого учительства, когда на уроках ученики слушали его с открытыми ртами. Директор вдохновился: — И я тоже думал: ну почему же все-таки дерево?.. Почему этот «вроде бы» пустяк? А потом понял, — он снова выдержал паузу, вскинул бокалом, точно чокнулся на высоте с кем-то невидимым. — Здесь одно вытекает из другого: не будет у тебя сына — не нужен тебе и дом. Не будет ни сына, ни дома — зачем тогда это дерево? Но дело и не только в этом. Посадить дерево — это твое последнее дело на этой земле. Сына-то сообразить на старости лет со своей старухой я не осилю, да и дом тоже. А вот дерево как-нибудь в землю да и посажу. А что такое посадить дерево? Это значит, что ты утверждаешь мир, ты согласен с ним, значит, ты был счастлив. Это значит дать благословение новой жизни, благословение этому миру. А если я даю благословение новой жизни и миру, значит, жизнь прекрасна, и я прожил честно и хорошо. И у меня на душе покой. И любовь. А тот, кто прожил плохую, черную жизнь, никогда последним своим делом на земле не посадит дерева. А наоборот — погубит. Потому что проклянет жизнь! Проклянет этот мир. Вот и получается: посадить дерево напоследок — это значит пожелать, чтоб не кончалась на земле людская жизнь, чтоб продолжался твой род, чтоб вечным был этот светлый мир, чтоб однажды мог ты сказать себе: «Богдан, ты прожил со своей старухой Верой хорошую, честную жизнь!» И дай Бог, чтоб так это и было. И запомни, Богдан: черный человек с черной душой никогда напоследок не посадит дерева! Ну а ты, я верю, дай Бог, конечно, сто лет тебе жизни, однажды вместе с внуками посадишь веточку, и, значит, благословишь этот и последующий мир! Извини, Богдан, за громкие слова, но я желаю тебе этого от всей души! И всем здесь присутствующим! И себе! — При последних словах он посмотрел на сына.

Азор сидел потупившись, выделяясь посреди этого веселья, шума, блеска огней, бокалов, как поставленный на отшибе разрушающийся дом. Белый вечный шарф Азора, как всегда, плотно окольцовывал худую шею, свисая одним концом с впалой груди. Замедленным движением больного человека Азор подносил ко рту яблоко и в том же глубоком раздумье медленно жевал. Все это увиделось в одно



краткое мгновение. Спазм в горле пресек дыхание. Директор постарался пересилить себя, но все же дрогнул голос:

— Ну, за сказанное!

Фарсид невольно поднялся, стоя приветствуя слова Директора. Нехотя поднялся Двушник. Богдан, держа в одной руке бокал, другой обнял Директора. И долетела до них красиво-печальная песня Востока.

Интересны людские разговоры на таком многолюдье. Множество самых невероятных тем, непоследовательно вытекающих из предыдущего разговора, появляются, как неожиданные встречные, и через некоторое время сменяются другими.

За фарсидовским столом главенствовал Директор. Любитель пофилософствовать, никак не забывающий о добром времени своего директорства, а на таком многолюдье еще и еще раз доказывающий своим ораторством, что из школы его выжили, он не упускал возможности «подзапустить остановленную машину». Так называл он свой мозг.

Вот и теперь, пользуясь, что рядом с ним сидит писатель, Директор на полном серьезе, забыв обо всем на свете, порой стараясь перекричать музыку, изливал свою оскорбленную миром и людьми душу. В последнее время (об этом знали в местечке почти все умеющие ходить и слушать) Директора сильно беспокоили глобальные мировые проблемы. Он, наверное, и вправду не в самые свои веселые часы подумывал о несправедливостях мира и мирских дел: такая беда с работой, а следом «несчастье с единственным и таким талантливим сыном» сотворили бы философа из самого последнего олуха. Ведь нет большего несчастья для человека, чем горе от своих детей.

Обычно в это самое «последнее время», когда Директор мучился болью глобальных мировых проблем, а дорожка его жизни катила все больше под уклон, слова его начинали воспринимать со снисходительной улыбкой, хотя порой все-таки с пониманием: мол, умный был мужик. Был. Но спасибо и на этом, ведь в нашем сегодняшнем мире с уважительным вниманием слушают только имеющих власть или же деньги, в общем — имущих. И какую бы глупость ни говорил имущий, многие будут слушать его с благоговением, раскрывая для убедительности рты и глаза, словно с ними говорит пророк. И наоборот: какие бы умные слова ни произносил не имеющий ни власти, ни денег, все равно большего, чем брезгливой терпимости, его не удостоят. Одним словом, глупость имущего — откровение Божье, а у неимущего и мудрость глупа.

Но сегодня, в этот вечер, рядом с ним был писатель, к тому же почти хороший знакомый, и, значит, без оглядки ему можно было доверить все тревоги и боли своей души.

— Эх,— искренне сокрушался Директор, двигая вилок по скатерти,— как я жалею иногда, что не поэт...

Жена его, сидевшая напротив, услышав эти вздохи, с виною в голосе упрекнула:

— От твоих разговоров у человека, наверное, уже голова болит.

— Ты вон лучше музыку слушай... Надо же сквозь такой шум все услышать,— искренне изумился Директор, кивнув в сторону музыкантов, перед которыми, став в кружок, лихо танцевала молодежь. — Брат мой,— Директор и сам теперь с виною в голосе обратился к Фарсиду,— может, я и вправду... не это... самое?

— Да нет, мне интересно тебя слушать,— улыбнулся Фарсид.

— Тогда — если что... то сразу перебивай,— вдохновился Директор. — Во-от,— он поскреб висок, словно что-то припоминая, и неторопливо, точно раскачивая качели, продолжал: — Так вот, я и говорю,— все же искоса стрельнул шупающим взглядом в сторону жены и, убедившись, что та вроде бы уже занята беседой с женой Двушника Камой, заговорил смелее: — Знаешь... я так иногда жалею, что не могу стихов писать. Я бы такую песенку про теперешний мир сочинил — в любой газете напечатали бы...

Неожиданно с улицы послышались крики и женский визг. Смолкла музыка, торжество на время замерло, гости потянулись со двора узнать, в чем дело. Выяснилось, что не поладили меж собой принявшие наркотик два еще совсем молодых парня. Вмешавшиеся друзья и родственники еще больше подняли шум. И хотя скоро все же удалось замять скандал, вечер, казалось, был испорчен. Несколько человек уже собрались уходить.

— Вы бы хоть не убегали,— остановил Богдан собравшихся уходить Директора, Фарсида и Двушника.

Оказавшаяся рядом Вера приостановила их жен, стараясь казаться как можно веселее, громко произнесла:

— Если даже мужчины уйдут, жен мы не отпустим.

— Придется подчиниться. Что я буду делать без своей старухи, которая мне никак не надоест? — усмехнулся Директор. — Пошли. — И уже негромко обратился к Фарсиду: — Хоть мы парня поддержим.

Всей компанией после ночной улицы вновь оказались в ярко освещенном «шатре». Опять заиграло трио музы-

кантов, скандал забылся напрочь, и торжество снова становилось шумным и веселым.

Директор, хмельно кося глазами, начал прерванный разговор:

— Вот я как раз перед этой самой заварухой об этом и хотел сказать, Фарсид. Видишь, что с людьми творится: бандитизм, наркомания, друг друга за просто так готовы сожрать. А все из-за чего? Люди стали смерть понимать. Бога не стало, и смерть ближе придвинулась. Люди о смерти понимать стали больше. А через смерть — о мире! И поэтому стали мир ненавидеть. О-о! Это проблема! Еще какая! Вот я тебе и говорю: если бы у меня был бы хоть вот такой талантик, я бы стишки сочинил. Примерно такие. — Он помялся, видимо, собираясь с духом. — Хорошо бы к этим стишкам такую печальную мелодию, медленную, грустную, восточную... И вот смотри, какие бы там были слова. — Директор кашлянул разок и снова пустился в предысторию. — Там есть образ минарета. Ну ты знаешь — башня такая. И вот автор говорит или поет: «Взойди на минарет и крикни: эй, люди, мы не то ищем! Не то ожидаем. Мы умираем не от пуль и не от бомб, а от ненависти к этому миру! Мы не любим этот мир! Мы презираем этот мир! Мы проклинаяем этот мир! И поэтому мы погибнем!» — Директор осторожным взглядом разведчика прошелся по лицам: Азор смотрел куда-то в сторону, жена по-прежнему говорила с Камой, Двухник сидел по другую сторону Фарсида, то ли слушая Директора, то ли думая о своем. Две-три пары медленно двигались в танце. — А дальше, там автор, как будто обращается к самому себе, — уверенно продолжил Директор. — «А может ли человек любить этот мир — холодный, бездушный, обрекающий его на нищету, голод, смерть?»

— Значит, любовь к миру лежит через Бога? — с улыбкой спросил Фарсид.

— Да, через Бога и еще что-то такое, что могло бы сгладить бесполезность мира...

— А! Здесь, как всегда, философия! — вырос над их головами Богдан, положив им на плечи большие ладони. — Вы, я вижу, нашли друг друга. Бог... Библия...

— Да, Богдаша, да, — снизу вверх посмотрел Директор на стоявшего за спиной Богдана. — Это вопрос вопросов: как жить без Бога? Как относиться к миру без Бога?!

— Давай-ка лучше наливай, — по-доброму посмеиваясь, кивнул Богдан на бутылку водки. — Выпьем за здоровье твоего Бога.

— У меня его нет,— вздохнул Директор. — И по-моему, ни у кого его нет. А если и есть, то Бог зловоль!

— Не богохульствуй! — тут же стегнула его жена, которая, даже разговаривая со своей соседкой по столу, каким-то третьим женским ухом все же подслушивала своего мужа.

— Да я ничего... Я ничего против не имею,— Директор вроде бы и сам испугался возможности Божьей кары. — А вдруг... и в самом деле есть Бог...

— Если Бог есть, то он слишком послушен! — произвольно вырвалось у Фарсида.

Все внимательно посмотрели.

— Если Бог есть, то он слишком послушен? — с любопытством переспросил Двушник.

— И нашим, и вашим,— усмехнулся Фарсид. — Хороший человек попросит что-нибудь — Бог сделает. Плохой человек попросит, чтоб хорошему плохо было,— Бог и это выполнит. Кто что ни попросит — Бог все выполняет. — И уже с горечью прибавил: — Потому, наверное, и несчастий столько. Мир несчастен потому, что Бог послушен.

Помолчали. Звучала музыка. Фарсид поднялся из-за стола, став рядом с Богданом, предложил тост:

— За этот дом! За эту девочку, у которой сегодня очень большое событие! Пусть будет она счастлива!

На некоторое время молодежь включила магнитофон, дав передохнуть зурнисту, гармонисту и барабанщику.

Яна с улыбкой склонилась над Азором, пригласив на танго. Тут же Двушник ткнул Фарсида в бок:

— Это она не художника пригласить пришла, а тебе на глаза показаться! — шепнул он на ухо. — Смотри, глазенки так и косятся в нашу сторону.

Янка за руку повела посерьезневшего Азора к площадке, где танцевала молодежь. Положив руки на плечи парня, быстрым и колким взглядом посмотрела на Фарсида.

Снова нашелся Двушник, ткнул его в бок:

— Понял?

— Оставь в покое девчонку! — с неприязнью ответил Фарсид.

— Виноват! — раболепно подчинился Двушник, взглянув на Фарсида, потом на Богдана, представил на миг, какая бы получилась хорошая картинка, если бы сравнить этих обоих «настоящих людей». «Чтоб уже не выдергивались и знали свое звериное место. Людишки-даунишки».

Для гостей снова заиграло трио музыкантов. Нежную, печально-красивую мелодию вела зурна, жаркие переборы гармони словно уносили ее в глубины души, четко бил бу-

бен. Казалось, не мир был создателем музыки, а сама гордая, печально-величественная мелодия была богом, создавшим этот непостижимый мир.

По лицам гостей прошло оживление: Богдан вывел свою дочь на танцевальный пятачок. Заструились над головой гибкие девичьи руки, из-под резко очерченных тонких бровей несмело поднялись на Богдана большие глаза. Как непривычно танцевать свой танец невесты с отцом. Он, широко раскидав по сторонам большие руки, в такт мелодии перебирает ногами. Счастье и спокойствие в глазах. Пританцовывая, Богдан распечатал пачку десятирублевых и взметнул над головой дочери.

Фарсид, словно что-то почувствовав, посмотрел на Двушника. Тот, ссутулившись, будто обернувшись в какую-то мысль, ушел в себя, в замерших желтых глазах высветилась злорадная ухмылка. Фарсиду показалось, что он подсмотрел чужую неприглядную тайну. Быстро отведя взгляд от лица Двушника, Фарсид поглядел вдоль «своего» стола, за которым разместилось человек тридцать: хмельные лица мужчин, скучающие или же горящие в разговоре на ушко глаза женщин, чья-то льстивая улыбка, ухаживания, ревность. На самом краю — мужичишка в кожаном пиджаке с черным тонким галстуком улыбается пьяно-круглыми слащавыми глазами своей соседке напротив и тут же подливает коньяк ее мужу. Если бы на секунду сейчас выплеснуть наружу все то, что происходило в каждой душе: флирт, мысленные измены, поцелуи, объятия, пожелания добра и зла, драки за женщин, мужчин, душевная похоть, благородство и низость. Если бы все это выплеснуть в один миг наружу, случившийся бы хаос имел заряд не одной бомбы. Невидимая людская бойня и давка Невидимая война, которая в конце концов переходит в войну настоящую.

Войны случаются только потому, что этого хотят сами же люди. Диктаторы лишь чувствуют приближение этого момента: людские души вызывают войну, диктаторы исполняют эту волю. Только по своей же воле люди идут убивать друг друга. Об этом подумалось в какие-то доли секунды. Фарсид снова посмотрел на Двушника, вновь прошелся глазами по лицам за «своим» столом. И потом, в раздумье глядя перед собой на красную этикетку марочного вина, вдруг невольно подумал, что головы сидевших за этим столом превратились в головы животных. И уже не людские лица смотрели друг на друга, а шипели, вырастая из человеческих туловищ, выбрасывая раздвоенные жала, змеи, скалились на человеческих плечах ша-

кальи и волчьи морды, обнажали клыки собаки, лизали чью-то лапу лисьи тонкие языки, чьи-то лапы разрывали платя, и красные языки лизали груди.

— Ты чего-то задумался,— сквозь шум донесся сбоку голос Двушника.

— Так, одна чепуха в голову пришла,— отмахнулся Фарсид.

— Какая?

— Какая?.. У каждого человека натура какого-нибудь животного — змеи, волка,— Фарсид посмотрел вдоль стола. — Представилось это...

Двушник прошелся глазами по лицам. Ухмылка во взгляде перешла в смех. Фарсид с вопросительной улыбкой посмотрел на него.

— Тут одни крокодилы и зайцы,— хохотал тот. — И индюки... Дай Бог тебе здоровья! — словно после внушительной порции удовольствия сыто проговорил он. — У нас с тобой почти одинаковые мысли.

Как падающие осенние листья, плыли по воздуху подброшенные банкноты в празднично освещенном «шатре». Алла невольно улыбнулась с гордостью за отца, за себя, с благодарностью за такое сегодняшнее счастье. Ударило отцовское сердце, счастливо забило в груди: милая дочь, милая Алла Богдановна, как прекрасна ты сегодня! Только бы счастья тебе в жизни, чтоб все было, как этот сегодняшний вечер! Богдан неожиданно для себя и других подхватил свою красавицу-дочь на руки, медленно закружил в такт нежно-печальной мелодии Востока.

Пел о каком-то грустно-нежном счастье высокий, будоражащий душу высокий голос зурны, кипели горячие аккорды гармонии. «Да-да-да»,— выстукивал, словно что-то утверждая, бубен. «Да-да-да!» — прекрасное, горькое, непостижимое в этом холодном мгновенном мире человеческое счастье!

В медленном кружении нес Богдан свою дочь на руках. Свою красивую, уже невестушку, Аллу Богдановну! С чем сравнимы отцовская любовь, отцовская гордость, отцовское счастье!..

...КАК ДЕРЕВО БЕЗ КОРЫ...

1

Хорошими теплыми днями начался октябрь; даже просто посидеть у калитки перед своим домом, погреть на солнце усталую душу — и то много стоит. Директор устроился на табуретке, прислонившись спиной к нагревшемуся за день фундаменту. По улице с шумом пронесется автомобиль, через минуту загудит второй, третий, шелхнется на слабом ветру опавший жухлый лист, ходит мимо, кто по делам, кто куда, местечковый люд.

— Добрый день, Директор!

— Дай Бог вам здоровья! — приветливо откликнется он, и на сердце теплынь да покой. Славный, добрый пришел этот октябрь.

— Да не потревожит тебя Бог! — вырос напротив Аким — сосед, приземистый мужичонка лет сорока восьми в черной кепке.

Директор, приподнявшись, пожал руку.

Аким попросил ножи Богдана: на днях в доме поминки, нужно разделать говяжью тушу.

— Для такого дела ничего не жалко! — отозвался Директор. — Но, поверь, клянусь, все ножи находятся у моего Зори. Богдан доверяет их только ему! А я и не знаю, где он их держит. Честное слово!

— А где Зоря?

— Вроде бы дома... Но он ни за что не отдаст без Богдана... Попробуй, если хочешь.

Азор вышагивал в одиночестве по заброшенному директорскому саду. То ускоряя, то замедляя шаг, порой останавливаясь, замирал ненадолго, поднимая к небу болезненно-тяжелый взгляд черных глаз.

Что искал, что высчитывал его порушенный мозг в сквозной осенней синеве, где и по каким человеческим болям плутала его подраненная миром душа? И зачем принял его, зачем явил для себя этот мир? Чтоб, так отшвырнув в болезненное одиночество, стать против него враждебной, уничтожающей силой? И что тогда можно сказать об этом светлом мире, разрушившем любящую душу, и в ответ что тогда можно сказать об этой душе, которая, даже раздавленная своим создателем, этим миром, болеет за его чистоту? И откуда такое в человеке?

Ду-ша...

При виде одинокой замершей фигуры Азора Аким озадаченно почесал затылок и, набросил на лицо добродушную свойскую улыбку, поприветствовал:

— Художникам салам! — Он пожал вялую узкую ладонь Азора, что-то проворковал про хорошую погоду и, надвинув козырек на глаза, почтительно взял парня под руку: — Азор, брат мой, я к тебе за помощью... Поминки на днях, ножи нужны на часок, немного мяса разделить.

Азор поправил обмотанный вокруг шеи шарф, высвободил руку:

— Инструмент — это дело жизни, со двора выносить нельзя. Только Богдан может.

Никакие уговоры, никакие красноречивые кивки на Директора — хоть отцу доверь — не помогали. На всякий довод Азор, опустив глаза, медленно отвечал:

— Не имею права.

Оставив отца и Акима, снова принялся вышагивать по двору. Когда те, разводя руками, вышли на улицу, Азор заглянул в сарай. Земляной пол, как всегда, был выметен, ямка, куда обычно стекала кровь из разрезанного коровьего горла, присыпана землей. Колоды посыпаны солью и стояли на своих местах, веревки до очередного разделывания туши висели на дощатых щелистых стенах.

Тайничок Азора находился в дальнем углу в потолке: нужно было отодвинуть кусок фанеры, и меж досками потолка и провисшей внутренней обивкой из фанеры обнажалась узкая ниша.

Азор поднял над головой руку, нащупав тайник, вытянул тряпичный сверток. В саду, примостившись на туфе, разложил его на коленях. Несколько зачехленных мусатов и ножей открылись на поистершейся бархатной материи. Азор вытащил из кобура самый большой, с деревянной ручкой, нож. Широкое лезвие сверкнуло на солнце. Он медленно провел пальцем по остро заточенному лезвию, полюбовался ножом и положил его у ног на порыжелую траву. Упершись локтями в колени и утопив лицо в ладонях, долго смотрел на широкое, игравшее на солнце лезвие.

Нужно было сообщить Богдану, что приходили просить инструменты, но он не отдал.

Но Аким уже сам нашел Богдана и разговаривал с ним в его саду. Молодой, хорошо ухоженный сад Богдана был его особой гордостью. И он, не скрывая удовольствия, рассказывал Акиму историю каждого дерева: откуда привез, как посадил и как щедро плодоносит та черешня, яблоня или этот раскидистый орех.



— Люблю копаться в саду,— говорил он.

Два костра из листьев и обрезанных веток дымили в синее небо, расточая вокруг приятно-терпкий запах горящих высушенных листьев. Золотисто-багряные, но уже прореженные листопадом кроны, казалось, на минуту замерли в печали, слушая, как потрескивая в костре, сгорает то, что еще день-два назад было их живой легкой плотью.

В начале сада, возле забора, блаженно грелся на солнце лохматый волкодав. Но, услышав шаги Азора, вскинул большую ушастую голову, приветственно поплелся навстречу, ткнулся теплой мордой в ноги.

— Узнает своих! — крикнул Аким. И тише, для Богдана, с неподдельным удивлением произнес: — Удивительная вещь! Даже родному отцу не доверил! Честное слово, ему не только ножи, ему все свое состояние доверить можно! Богдан засмеялся.

Все трое на богдановской «Ладе» поехали к директорскому дому. Азор вынес бархатный сверток с ножами и мусатами и двинулся дальше — помогать Акиму разделять мясо. Там же, в акимовском дворе, знакомый местечковец заказал Богдану привезти пару барашков. Когда мясо было разделано, распределено, Богдан посоветовал, как лучше сохранить до утра то, что сегодня не пойдет в работу, и вместе с Азором вернулся к директорскому дому.

Директор сидел на стульчике за сараем, прислонившись спиной к дощатой стене. Курил.

Глядя на свой заброшенный, вытоптаный скотиной сад, что-то порой бормотал. Жизнь прошла и вытоптана, как этот порыжелый, точно поеденный ржавчиной сад. Вот тебе и дом построил, и сына вырастил, и дерево... Последнее дело на земле, про которое на обручении говаривал Богдану. Дерево... уже не посадить. Род директорский, его род, подрублен под самый корень и похож на ту высушенную яблоню. Кора ее обглодана, оголенный ствол грязно блестит, дерево умерло... Дерево без коры... Как прав Зоря, небо умерло и давит. Это не он болен, а все остальные... Небо умерло... Это тоже кора. Кора всей земной жизни. Небо и вправду умирает. Эти самые озоновые дыры. Всё похоже, всё повторяет друг друга на этом свете в разных формах... А в школу уже никогда не вернуться. Жизнь вытоптана, как этот сад скотиной. Азору тоже ничего не поможет... Как все бесполезно!

Директор вздохнул, подсосал погасшую сигарету, но она так и не раскурилась. Шаги по двору. Директор прислушался и обрадованно кивнул появившимся из-за угла сарая Богдану и Азору.

— А-а, это вы? Благословен приход ваш! Зоря, принеси стульчики.

Остались вдвоем. Богдан присел на корточки рядом, привалившись спиной к стене сарая. Вроде бы так глаза на одном уровне, можно и поговорить.

— Что-то я до сих пор даже ни в одном глазу. Сам удивляюсь,— добродушно хмыкнул Директор.

— Ну и хорошо.

— А чего хорошего? Тоска. Куда ни глянешь — из всех углов на тебя пулеметы нацелены... Знаешь, что такое человеческая жизнь?

— Не знаю.

— Это вот такой вытоптанный осенний сад, огороженный со всех сторон колючей проволокой. С током! И по углам вышки с пулеметами. А в центре этого вытоптанного сада на ржавом пятачке под прицелом пулеметов глаза, лица, руки, обнимающие, ласкающие тебя. И ты сам. Ты. И вдруг пулеметы со всех вышек — по глазам! По лицам! По сердцу! Вокруг тебя крики, молящие глаза, губы, перекошенные лица! Еще жертва! Еще! Еще! А жертвы эти — все, что ценно в твоей жизни, все твое радостное, твое счастье! Жизнь! И нет уже ничего! Только ты, как собака, жив! И уже нет сил переносить все это, и ты умоляешь, падаешь на колени: убейте и меня. Но в этот момент уже умолкают пулеметы. Как в насмешку: живи, мол, на этом пятачке у тебя еще будут радости, будет и на твоём пятачке праздник. И вот дарована тебе эта какая-то радость. Но ты только приобрел, только приласкал, а пулеметы с вышек тут как тут, снова твоя радость — как убитый у тебя на руках твой младенец. И много вокруг этих маленьких перестрелянных детишек. Ибо неиспитая радость — тот же отнятый у тебя младенец, к которому ты уже привык, которого нежно и сладко любишь. И ты весь в брызгах крови. В одиночестве, а у тебя уже слез нет. Сгорело все. Вместе с душой! Еще вон когда сгорело, и ничего у тебя нет. И Бога нет! — Директор зажег свой окурок, глубоко затянулся. — И Бога нет! — он с глубоким выдохом пустил кверху дым. — Беззащитен человек. Совсем беззащитен. Как на том пятачке, под пулеметами... Почему так, Богдан?.. Черт с ним, пускай будет так: пусть убивает, пусть унижает, пусть косит! Пусть все бесполезно! Но хотя бы знать! Хотя бы знать, Богдан, за что?! Почему?! Ты не знаешь?

Богдан молчал, виновато дымил папиросой и вдруг неожиданно для себя произнес:

— Люблю я тебя. Хороший ты парень,— и несильно, точно для какой-то поддержки, сжал его локоть.

— Да толку от этого! Да и какой хороший? Хороший это тот, у кого душа защищена. От мира, от людей, от зла, и от... добра. Я вот сейчас, вы пока с Зорей еще не приходили, сидел и смотрел вон на ту высохшую яблоню, та, что без коры, и думал: в этом мире все имеет свою кору, у земли есть своя оболочка — это небо, слой озоновый, у деревьев есть кора, у корней есть слой земли. Кости и внутренности человеческие и те под кожу упрятаны. А душа человеческая?.. Дереву нужны солнце, дождь, ветерок. Но если будет много солнца — без коры дерево сгорит, если много влаги — без коры сгниет, если будет много ветра — засохнет. Но когда есть кора — дерево защищено... Как странно, Богдан: живя в этом мире, нужно быть от него защищенным. Чтоб ни грязь, ни подлость, ни зависть, ни клевета не растоптали твою душу. Но какая защита у человеческой души? Бессмертие? Но как может уберечь хотя бы и бессмертие от мирской и людской грязи? Как? Сколько на свете исковерканных, изничтоженных душ? И что с того, что они живут? Разве живы они? Разве я живу?! Разве я теперь человек? Я после всех этих дел — после того, как эти суки меня на улицу выгнали... Я теперь, как говорят твои друзья, самый настоящий даун. Человек с незащищенной душой опасен: его душу могут убить, а следом убийцей может стать он сам. — Директор запрокинул глаза в небо и потом, словно отчего-то не смея говорить с обращенными в небо глазами, ткнул взгляд в землю.

— А тебе никогда не хотелось убивать?

— Нет.

Азор принес табуретки, и они сели одним рядом вдоль стены сарая.

— Будь другом, сынок, купи мне сигарет! — Директор полез в карман за деньгами.

Азор тут же поднялся, не оборачиваясь на протянутую руку с деньгами, глухо бросил:

— У меня есть.

Ушел, тяжело ступая по земле.

Молчали.

— Ты знаешь, почему Зоря заболел? — спросил Директор.

— ???

— Он после этой картины заболел. Не выдержал. Он через свою душу все людские горести пронес. Все беды. А душа не защищена.

— Где ж искать ее нам, защиту?

— Не знаю. Единственной защитой был Бог. Только один Бог мог защитить человеческую душу от мирского зла и людской подлости. Но Бога нет. Бога нет, человек яснее стал понимать смерть и возненавидел мир. Мир рухнет. Высохла людская душа, как кора на том дереве. Высохшая душа мира не потянет.

— Да, с миром что-то происходит. Климат... озоновые дыры. Сгорим, как в крематории... Ничего не жалеет человек.

— Все потому, что в людях душа убита. А с убитой душой не то что небо — все то, что за тридевять земель за небом находится, уничтожат и глазом не моргнут.

— Не понимаю таких людей. Честное слово,— проба-сил Богдан. — Родился, ну живи себе. Если видишь, что что-то людям на вред идет,— не делай. А так точно: с одной стороны мир, как ты говоришь, человека разделяет, а с другой — сам же человек и доканывает. Вроде по-другому должно быть, если уж жизнь так человека душит, человек человеку помогать должен.

— А если нет этого человека? Если... дауны? — Директор на минуту смолк и в раздумье продолжил: — Так и получится: или люди, или дауны. Кто над кем возьмет верх. Но если придет час этих даунов — мир в обугленную головешку превратится. Хотя сам мир на одного огромного дауна похож, но эти страшнее. От них все зло на земле: клевета, подлость, грязь. Это они насилуют, убивают, людские души топчут! — Собственная боль пережитого все больше горячила директорское сердце. — Это они столкнут тебя в грязь и с другими такими же хохотать будут. Дауновский мир! И ничего от них не спасти.

— Человеку нужен сильный Бог.

— Бог нужен... Но Бога нет! Нет давно! И его не воскресить. Когда умирают отец и мать, их уже ничем не воскресишь.

— И как же будет все это?

— Не знаю, Богдан. Как оно все будет и будет ли вообще... Вот ведь как получается: уже не говоря о другом, душа даже от вопросов не защищена. Хотя в этом и вся суть. Мир держится на вопросе. Но на этом горбуне долго не удержаться. Это стра-а-ашный горбун.

Директор добродушно пригрозил пальцем, и они рассмеялись.

— Эх, Богдан, Богдан. — Директор вдруг погасил смех и, хлопнув себя по коленям, грустно покивал: — Мы с тобой от людских трагедий до смеха дошли. Страшно это!—

Он поднялся и с занемевшей от долгого сиденья спиной сутуло поплелся к времянке. — Страшно.

А над головой, над деревьями, над всем городом гасло осеннее небо...

## 2

Утром отец заедет к Фарсиду... Этого было достаточно. Остальное — уговорить отца взять с собой — дело техники. А лучше, чем Яна, подъехать к отцу никто не умел. Стоит только состроить просительно-жалостливую мордочку, ласково прильнуть к отцовской груди головой и жалобно промяукать: «Ну па-а!» И все: проси, что хочешь.

— А школа? — грозно спросил Богдан.

Но какая могла быть школа, когда стояло такое золотое утро, когда, уже прогреваясь, урчал мотор машины, и минут через пять-шесть Яна сможет увидеть Фарсида. Разумеется, в поездку она напросилась не ради встречи с ним. Об этом, конечно, не могло быть и речи. Еще чего... Просто хотелось в такое утро побывать в горах, проветриться, и отцу с ней не скучно. Грозный вид отца для Янки проблемой не был, последовал проверенный прием, и Богдан, уже всю сдерживая улыбку, пробубнил:

— Знает, бандитка, что Богдан любит свою дочь! — в оправдание своей уступчивости.

Как мать ни разводила руками: что, мол, хорошего выйдет из этой террористки? — Янка, уже счастливая, устроилась на переднем кресле, ткнув вперед маленькой точеной ладошкой:

— Поехали, шеф!

Возле фарсидовского дома «шеф» остановился. Через три-четыре минуты, которые для Янки тянулись мучительно долго и жестоко, она перекочевала на заднее сиденье, уступив свое место старшему, так и не решившись взглянуть Фарсиду в глаза. Было лишь какое-то неуютно-беглое, дезертирское «Здрасьте».

Ехали поначалу молчаливо, перебросившись несколькими дежурными фразами, словно в негласном поиске постепенно подбирались к какой-то единственной, приемлемой для всех непринужденной атмосфере. Фарсид обернулся к Яне:

— Что-то мы сегодня невеселые...

В больших девичьих глазах мелькнула робость, словно боялись они, что сейчас обнаружат, выдадут все чувства, все мысли. Глаза быстро опустились, прикрывшись длинными, красиво-тяжелыми ресницами.

Фарсиду невольно припомнился недавний вечер на об-  
ручении. Янка пригласила танцевать Азора, и тут же  
скользящий шепоток Двушника: «Не художника пригласить,  
а тебе на глаза показаться...»

— А что, я танцевать должна? — неприветливый тон  
должен был скрыть, спрятать то, что было на самом деле  
в душе, но Янка тут же рассердилась на себя, испугалась:  
а вдруг у Фарсида возникнет неприязнь?

— И петь, и танцевать. А почему бы и нет? — выручил  
сам Фарсид, не обратив внимания на ее ершистый тон. —  
Жизнь вокруг — самый раз!

— Да, жизнь вокруг — самый раз! И школы никакие  
не нужны, — добродушно ухмыльнулся Богдан.

А потом само собой потек насмешливо-приветливый  
разговор, где со снисходительными улыбками «защища-  
лись» Богдан и Фарсид.

За окнами красной «Лады» почти незамеченными про-  
носились необъятные просторы, поля, далекие горы со  
сверкающими снегами на вершинах, позолоченные осенью  
фруктовые сады.

Янка порою забывала, что с ней в машине едет именно  
Фарсид, как обычно не думают о присутствии какого-ни-  
будь человека, который в этот момент с тобою рядом:  
говорит, молчит, смотрит — все это само собой, просто  
идет разговор, обыкновенная житейская штука. Но это  
«порой» бывало недолгим, и после Янкина душа еще ост-  
рей воспринимала присутствие Фарсида: о чем бы ни го-  
ворили, в душе жила мысль: вот он рядом, говорит с ней,  
смеется ей, смотрит на нее, и просто он сейчас рядом,  
здесь, в этой машине. Раз-другой обратившись к отцу, Яна  
назвала его Фарсидом, но хорошо, что сидела на заднем  
сидении, не глаза в глаза, и никто так и не понял. Не  
видели, к кому было обращено в тот момент ее лицо.

Над ущельем, по извилистой дороге вверх, машина шла  
медленно, натужно ревя двигателем, и казалось, «Лада»  
поднимается не сама, а ползет еле-еле, подталкиваемая  
кем-то невидимым сзади.

На подъеме в салоне стояла тишина, словно разговор  
мог помешать и без того с трудом поднимающемуся в гору  
автомобилю.

Селение открылось из-за поворота: сразу все, как на  
диораме. Беспорядочно разбросанные одноэтажные дома  
лепились гнездовьями к склону горы.

Двор Арама, сельчанина, у которого Богдан обычно  
покупал баранов, стоял в ряду таких же охваченных ка-  
менными заборами широких дворов, на узкой и короткой

улочке, на обочине которой возились в пыли куры. Невдалеке, в замершей позе, скосил морду козел, кое-где возле заборов торчали приспособленные под сиденья столетние срезы-пни.

Машину оставили подле широких деревянных ворот.

По периметру арамовского двора, как и у других селян, тянулись подсобные постройки, примыкая вплотную к дому: сарай, хлев, загоны для скотины. Огромный пес с обрезанными ушами при виде Богдана зычно залаял, но, видно, узнав, принялся дальше обогреть свое мохнатое туловище под теплым полуденным солнцем.

Хозяйка дома, лет пятидесяти полная женщина, в темном платье и косынке, радушно вышла навстречу, вытирая руки о цветастый фартук:

— Благословен приход ваш! Доченька, как ты повзрослела! Ну, дай взглянуть поближе! — Женщина обняла Яну, поочередно подала руку Богдану и Фарсиду:

— Это мой друг,— показал на него Богдан. — Писатель.

— Фарсид.

Женщина внимательно посмотрела на него и повела рукой:

— Ну, проходите в дом.

— Тетя Раиса, Арам на работе? — спросил Богдан.

— А-а! — Раиса обреченно махнула ладонью. — В баню ходит.

Богдан понял, что Арам что-то накуролесил, и улыбнулся:

— Баня, наверное, очень далеко?

— Вот-вот! Уже третий день ходит. Ходит-приходит. Вернее, туда ходит, оттуда — приводят. Вещи туда-сюда таскает. Это они с Маратом «парятся». Э-эх! — вздохнула она. — И еще как парятся. Три дня не просыхают! Вот и сейчас — только отоспался. Арам! Арам! — Раиса повернулась к окнам.

На крыльце появилась сухощавая фигура с помятым, заспанным лицом и пухлым свертком под мышкой.

— Вот, полюбуйся! Опять париться идет! — хмыкнула хозяйка.

— О! Кого я вижу! Кто к нам приехал! Вовремя, Богдан! Как раз мы что-нибудь сейчас придумаем! — Он сунул сверток жене, обнял Богдана, жилистой крепкой ладонью пожал руку Фарсиду: — Друг Богдана — значит, друг этого дома. Мой личный друг,— серьезными хмельными глазами убеждал Арам. — Э-э! Скоро будем на

свадьбе гулять! — Он легко прижал к груди Яну. — Арама не забудешь пригласить?

— Не забуду,— посмеивалась Яна.

— У вас, говорят, здесь отличную парную открыли! — добродушно усмехнулся Богдан.

Арам, тут же оглянувшись на жену, безнадежно махнул рукой и оправдался:

— Вчера решил пойти в баню. Нет, не вчера... А-а, какая разница. Собрал вещи, думаю, зайду за Маратом, вместе пойдем. Зашел. Он обрадовался, обязательно, говорит, пойдем! Жене крикнул, чтоб вещи собирала. Пока трусики, майки там... рубашки, мы по стаканчику. А почему бы и нет — все равно париться будем. А потом перед баней еще одного друга встретили. Мы перед парной выпили, а он нет — нечестно, думаем. А там, ты же знаешь — природа, воздух свежий. В этот день в баню не получилось. Сам знаешь. А утром как с больной головой в парную? Мы с Маратом и подлечились. А потом воды не было. Воды не было, а зачем? Обязательно запивать, что ли! Ну, сегодня я ни к какому другу не иду. Сегодня ко мне Богдан приехал! Заходите! Заходите, мои дорогие!

Раиса взяла Яну под руку, и они первыми пошли к дому. Арам хотел было выскользнуть со двора, но тут же вслед ему стеганул окрик жены:

— Ты куда?

— Пойду Марату скажу, что сегодня не смогу в баню идти! — Арам виновато развел руками.

— Ничего. Не волнуйся. Я заходила к Марату. Ему жена уже сделала парную. Хочешь — иди, она и тебе устроит!

— Я с чужими женами не парюсь! — целомудренно пробурчал Арам и шепнул Богдану: — Хотел самогонки принести. Ну, ничего... Арам что-нибудь придумает.

— Что-то горит! — вдруг воскликнула Яна, указывая рукой на противоположную сторону улицы. Над соседским домом поднимались к небу клубы дыма.

— А-а! — махнул рукой Арам. — Это сосед опять свою мать поджигает!

Богдан, Фарсид и Яна ошарашенно замерли, вопросительно глядя на клубящийся над соседской крышей столб дыма.

— Ничего: подождет-подождет и выпустит старуху. Это он припугивает ее. Перед окнами огонь разводит и припугивает. — Арам махнул рукой. — Пошли, гости дорогие.



— А че он хочет? — спросил Богдан.

— Да там длинная история: пока этот в тюрьме сидел, сестры его что-то... деньги, и братья... в общем, живо-глоты.

— Крыша горит! — воскликнула Яна. — Огонь, наверное, от костра на крышу попал. Сгорит же старуха!

— И точно... крыша... — озадаченно произнес Арам.

Поспешили на улицу. Соседи уже судачили в сторонке от «тех» ворот. Старик с посохом тарабанил в запертые ворота:

— Открой по-хорошему. Бандит!

— Арам, Арам, беда может случиться! — обратились женщины постарше. — От его дома на наши дома огонь перейдет! Что делать?

Арам почесал в раздумье переносицу.

Мальчонка лет девяти, найдя в заборе удобную для наблюдения щель, поминутно доверительным тоном сообщал о «событиях» на «той» стороне:

— Шприц взял! Ружье между ног поставил. Поднял шприц вверх. Смотрит на шприц. Щупает свою руку. Внимание! — мальчонка предупредительно поднял руки над своей головой, приткнулся к щели. — Внимание! Делает сам себе укол! Вот это да! И даже не боится! — Восхищенные глаза мальчишка глянули на взволнованных селян.

Кто-то из взрослых потеснил его, заняв «наблюдательный пункт».

— Надо же что-то делать! — оторвался он от щели. — Крыша горит! Так и на другие дворы перейдет. Что делать? И старуха там...

— Говори, старая! Говори, где прячешь?! — донесся со двора крик.

— Это он ей кричит! — констатировали на улице.

Два старика и Арам курили жадно, с озабоченными лицами, пять-шесть женщин и старух пытливы, с надеждой, смотрели на них. Треск сухого тростника, выложенного на крыше, стеганул, точно кнут.

Богдан взобрался на каменный забор, но тут же в его сторону громыхнул выстрел.

— Папа! — Янка бросилась к спрыгнувшему отцу. — Поехали! Поехали домой! Он же убьет.

— Успокойся. На тебя это не похоже, — Богдан легко похлопал дочь по плечу.

— Если огонь перейдет на окна — старуха задохнется! — сказал кто-то из стариков.

— Фарсид, заговори его! Сможешь?

Богдан черед соседний двор осторожно забрался на подсобные постройки горящего дома, прилег на шиферную крышу.

Фарсид приблизился к забору, секунду подумав, с чего начать «переговоры», поискал глазами камень и, увидев его, поднял.

— Эй, парень, брось баловаться! Мать же свою убьешь! Пожалеешь потом! — крикнул Фарсид и изо всех сил стал бить камнем по воротам.

К нему присоединился старик с посохом:

— Эй, Артур! Одумайся! Все село подожжешь! Снова в тюрьму хочешь?!

— Пошли вон! — донеслось со двора.

Заколотили в ворота сильнее.

Артуром оказался худощавый мужчина лет тридцати, с лихорадочно сверкающими глазами на обросшем щетиной лице.

Пламя все сильнее охватывало крышу. Богдан подполз по шиферной пологой крыше сарая на край, осторожно глянул вниз. Артур сидел на табуретке метрах в трех от сарая, зажав между колен двустволку, жадно, со всхлипом, подсасывал папиросу, видно, забитую анашой. Курил, переводя блестящие глаза то на ворота, в которые вовсю колотили с улицы, то на огонь под окном и на крыше.

— Все село подожжешь. Сейчас милицию вызовем! — кричали с улицы.

— Хоть всю армию тащите! — усмехнулся Артур, смачно подсасывая бумажную ножку папиросы, прикрывая от наслаждения глаза.

Богдан неожиданно под грохот ударов в ворота спрыгнув вниз, бросился на Артура. Оба вцепились в ружье, выворачивая друг другу руки.

— Борются! — сообщил мальчик, впившись глазами в щель в заборе.

Фарсид метнулся через каменный забор. Грохнул выстрел.

— Папа! — Янка бросилась на ворота, колотя в них беспомощными кулачками. — Папа!

Фарсид с размаху ударил обеими руками в холку Артура. Тот взвыл и опрокинулся на землю.

— Сынок! — донесся из горящего дома сдавленный старческий голос. — Сынок!

— Будь ты проклята! Карга старая! — процедил Артур уже со скрученными за спиной руками.

Затолкав его в сарай, подперли шаткую дверь бревном. Костер под окном полыхал вовсю, и больше становилось пламя на крыше.

— Папа! Папа! — плача, Янка бросилась к отцу.

В открытые Фарсидом ворота один за другим вошли соседи. Богдан вынул из петли замок, распахнул дверь. Старушка лет семидесяти сидела в центре переворошенной комнаты, привязанная к стулу.

— Что вы сделали с моим сыном?! Будьте вы прокляты! Где мой сын? — Она дергала плечами, пытаясь ослабить обмотанные вокруг груди веревки.

Богдан устало провел по лицу ладонью, стал высвобождать ее из веревок. Запах гари уже расползлся по комнате, едко проникал в легкие.

— Что вы сделали с моим сыном? Где мой сын? — Старушка зашлась в кашле.

— Жив твой бандит. Ничего с ним не случилось! — глухо пробубнил Богдан.

— Пусть с врагами его что-нибудь случается! — Она размяла затекшие руки и торопливо покатила к дверям.

Богдан осмотрелся:

Неожиданно со двора ворвался испуганный крик:

— Сынок!

Богдан тревожно бросился из комнаты, с замершим сердцем застыл на крыльце: с поднятыми вверх руками Фарсид был прижат спиной к стене сарая. Артур наставил на его горло вилы. Ржавые зубья вдавились во впадину горла и, казалось, вот-вот насквозь проткнут натянувшуюся кожу. Глядя на это, замерли в страхе вошедшие во двор старики и женщины.

— Не-ет! — истошно крикнула Яна, в ужасе обхватив руками голову.

Арам застыл с найденным где-то арканом, петля чуть покачивалась на весу. Глаза его быстро перебежали от Богдана к вилам, наставленным на горло Фарсида, к Яне, снова в сторону Фарсида, на Артура.

— Во-он! Всем во-он! А то прикончу его! — заорал Артур.

Лихорадочно горели его глаза, изо рта вытекала слюна. Увидев, что он опасно качнул ручкой вил, соседи разом бросились со двора.

— Сынок! — взмолилась старуха, медленно подступая к нему. — Богом прошу...

— Не подходить! — ошалело оборвал ее Артур. — Деньги! Деньги на кон!.. Хо-хо! Что, парень, щекотно?! — бросил он в напряженное лицо Фарсида. — А ну, скажи

этой карге, чтоб принесла мои деньги! — Он снова опасно качнул вилами.

— Отдам! Все отдам! Только отпусти его! — еще раз взмолилась старуха.

— Баш на баш: принесешь деньги — отпущу, не принесешь — проткну.

— Отдайте ему эти деньги! — бросилась к старушке Яна. — Отдайте! Мы вам их вернем! Все вернем! Умоляю! — Она опустила на колени.

— Встань! Встань! — засуетилась та.

— Слышь, братишка, — миролюбиво начал Богдан, — на самого святого человека руку поднял!

— Последнего святого в революцию трамваем передавило! — зло процедил Артур.

— Смотри, парень, на писателя руку поднимаешь!

— О-о! Живого писателя, оказывается, вижу!.. Деньги! Верните мои деньги!

— Отдайте ему эти деньги! Фашисты! — Оставаясь на коленях, словно в молебне, Яна ударила кулаком о землю.

Богдан посмотрел на старуху.

— Горе мне! Горе мне! Где ж я возьму эти проклятые деньги?! Все мои денюжки, все последние копейки его тюрьма высосала! Зачем я живу?! Зачем смерть не берет меня?

— Ты слышишь, у тебя совесть есть? — крикнул Богдан.

— Сейчас мы узнаем и про твою совесть! А ну, выкладывай свои деньги! Ну! — крикнул Артур.

— Папа! — бросилась к нему Яна. — Отдай ему...

— Отдам, доченька! Успокойся!

— Выверни карманы! Вон там, перед моими глазами! Близо не подходить!

На Богдане были брюки и джемпер. Богдан стал на указанное глазами место, сунул руки в карманы.

— Богдан! — запрещающей интонацией выдавил Фарсид.

Тот, не обращая внимания, вывернул оба кармана. В одной руке звякнули ключи от машины, в другой — крупная пачка десятирублевых. Богдан, протянув деньги, сделал шаг.

— Стоять! Деньги на землю! И на место!

Богдан опустил на землю пачку десятирублевых. Отошел.

— И ты тоже — карманы! Ну! — Артур шевельнул ручкой вил.

Фарсид в упор смотрел в озверелые, затуманенные морфием глаза Артура.

— Карманы! Пис-сатель!

Фарсид медленно вывернул карманы:

— На смотри! Падла!

Артур с удивлением замер, а потом вдруг расхохотался. Карманы Фарсида оказались пустыми, лишь помятый рубль и горстка мелочи вывалились на землю.

— Пи-с-атель! — Хохоча, он убрал с горла Фарсида вилы, но еще держа их наготове, поднял пачку богдановских десяток. С вилами в руках, пятясь к воротам, он продолжал хохотать, взлохмаченная голова от неудержимого нервного смеха вскидывалась к синему небу, закатывались круглые, совиные глаза. Исчез в воротах.. С минуту еще доносился с улицы его затихающий смех.

Во дворе снова появились соседи, но теперь их было намного больше. Обессиленная от горя старуха опустилась на крыльцо, выплаканными пустыми глазами смотрела в какую-то далекую точку, мерно покачиваясь из стороны в сторону.

Люди бросились тушить огонь. Во дворе закипела торопливая работа: стук топора, звон пустых ведер, всплески воды, шипенье.

— И деньги им выложи, и еще пожар туши! — пробормотал Богдан.

Фарсид передал по цепочке ведро с водой, потрогал пальцем точки на шее, где были наставлены вилы и, казалось, еще жила точечная боль. Почувствовав на себе взгляд, оглянулся: большие черные глаза Яны смотрели с любовью и болью, с откровенной радостью. Фарсид невольно улыбнулся, и в ответ засветились улыбкой счастливые глаза Янки.

Закончили тушить пожар, погостили в доме Арама. Арам поверил Богдану двух барашков в долг, посокрушался, качая начисто протрезвевшей головой:

— Как плохо получилось. Ну, ничего... Милиция найдет. В горах эта сволочь далеко не убежит. Да еще такой, с деньгами.

Проверили отдушину в багажнике, оставленную, чтоб в дороге бараны не задохнулись.

— Пойдет! — одобрил Арам зазор шириною в ладонь.

Из своего двора с опущенной головой вышла мать Артура.

— Сынок,— посмотрела она выцветшими глазами. — Я виновата перед тобой. Извини, если можешь, за проклятье, за сына, за деньги,— она опустила голову. Видно бы-

ло, как в уголке глаз родилась прозрачная слеза, сорвавшись, покатила по глубоким морщинам высохшего старческого лица. — Извини, сынок, — старуха потянулась к ушной мочке, непослушными пальцами сняла сережку.

Богдан, Фарсид, Яна и Арам напряженно замерли возле красной «Лады». Старушка все так же, с опущенной головой, сняла вторую сережку, поправила пряди седых волос и протянула руку Богдану. Раскрылась изборожденная морщинами желтая старческая ладонь, и на ней блеснули две сережки. Они были из желтого старинного золота, с тонким филигранным орнаментом, похожие на золотистые узорные крылья бабочек.

— Возьми, сынок... Все, что у меня осталось...

— Ты что, бабуля?! — невольно отпрянул Богдан. — Ты за кого меня принимаешь? — Он сложил вытянутую ладонь старушки в кулак, обхватив ее своей рукой. — Как же ты так живешь, мать? — с неподдельной болью произнес он.

Старуха подняла на Богдана просветленные глаза, негромко, медленно проговорила:

— Что я тебе могу ответить? С хорошим человеком прожить — уменья не надо, с трудным прожить — достоинство. А это тем более мой сын. Да и к тому же в несчастье человека повинен не только он сам. Дай Бог тебе здоровья, Богдан.

— Откуда ты мое имя узнала?! — искренне удивился он.

— За этот час я не только имя твое узнала... — Старушка приложила пальцы к груди Богдана. — Дай Бог, чтобы ничего не случилось, что могло бы изменить твою душу, сынок, — она еле заметными ласкающими движениями гладила его. — Дай Бог!

Старушка в раздумье покивала, с зажатыми в кулаке сережками побрела к своему дому...

...Спуск — все-таки не подъем. Машина катилась легко, как резвая лошадка, только успевай сдерживать. А «приструнивать» надо: если зазеваешься хоть на миг — тут же для тебя уготована раскрытая пасть ущелья. Каменистая дорога петляла меж гор. Желтое солнце, как лепешка, появлялось то слева, то справа, над широкой дорогой, словно кто-то перекачивал его по небу из стороны в сторону. Когда машина вышла на трассу, закатное солнце уже светило машине вслед, как гаснущий прожектор.

О случившемся в горах не произнесли и слова. Но такое умалчивание еще больше тяготило Фарсида, деньги все-таки выложили за его «голову». Да к тому же еще

этот мерзкий момент с выворачиванием карманов, в которых не оказалось ни шиша.

— Что-то дорого я тебе обхожусь! — усмехнулся над собой Фарсид. — Первый раз на ярмарке меня выручил, второй раз здесь. В третий раз со мной лучше не встречайся — все свое состояние уgroхаеть.

После фарсидовского «самобичевания» в салоне, казалось, стало свободнее, разрушилась незримая душевная теснота, от которой хотелось разбежаться по углам.

— Деньги — это ерунда. Главное — жив-здоров. А то ведь могли и убить... Вот тебе и история для твоего романа, — с улыбкой закончил Богдан.

— Да, хоть прямо сейчас пиши. Особенно когда у меня из кармана миллион высыпался... Уж лучше бы проткнул он теми вилами...

— Бедненький наш писатель, — искренне пожалела Яна, но, оказалось, невпопад, а может быть — и к лучшему. Появилась возможность как-то оправдаться за свою нищету.

— Это ты точно заметила! — С прежней иронией он оглянулся на заднее сиденье, на Яну: — Что бедненький, то бедненький. Художники, писатели, врачи, учителя у нас — самый бедный народ. И это люди, которые вообще не должны думать о деньгах. Если раньше интеллигенцию уничтожали физически, теперь ее уничтожают бесправием, нищетой и унижением. Поэтому у нас сегодня почти нет значительных писателей, писателей мирового уровня. Всех своих великих это государство по миру пустило. В заграницы.

— Удивительно! — кивнул головой Богдан, глядя вперед, на черный асфальт дороги, стремительно летящей под колеса. — В других странах — наоборот: не знают, где бы добыть лишний маленький талантлик... Создают все условия... А у нас...

— А у нас наоборот... как бы удушить талант. У нас это целый хорошо отлаженный механизм — по раздавливанию личности. Звериная цензура — раз, национализм — два. Если ты не принадлежишь к определенной национальности, тебе дорогу не дадут, скорее раздавят. И еще есть одна штука — нищета, на которую толкает государство молодого писателя или ученого. Чтобы создать более-менее значительное произведение, необходим определенный минимум времени даже самому большому таланту. Но государство, когда издает труды молодых, все деньги загребают в свой карман... И это — когда у писателя самый трудный момент, когда он только становится на ноги. И вместо того, чтобы думать о творчестве, молодым прихо-

дится думать, где бы кусок хлеба добыть. Когда у него после десятилетней борьбы, честное слово, по-другому не скажешь, появляется возможность свободно располагать своим временем и если удастся справиться с цензурой, национальным вопросом и в материальном отношении как-то вздохнуть, тут уже все: умирает талант. Это анекдот! Но только вот такой машиной уничтожено не один и не два десятка талантов. Вот и получается, что государство обворовывает не только материально, но и крадет у личности личность... Отбирает, то, что никогда не давало. Это не воровство, это мародерство. А сами еще говорят про использование наемного труда: вот, мол, там, у капиталистов... Э-э-э...

— Они всех так обворовывают. Где только можно! — недовольно бросил Богдан. — Я вот тоже один рубль зарабатываю, а девяносто девять с половиной копеек отдаю всяким начальникам: милиции, полиции, в финотдел, инструктору, тому, другому, ОБХСС. Как так жить? Поэтому народ и недоволен. Вон — все зверьми стали. Так и готовы друг другу глотки перегрызть.

— А если у тебя в машине подслушивающий микрофон? — засмеялась Яна.

— Ну и хрен с ними, пускай подслушивают! Сибирь — уже обжитый край! — сыронизировал Богдан. — Живем, как на фронте: все добываем с боем! Э-э-э, старушка, а ну, поднажми! — Он выдал педаль акселератора, обогнал мчавшийся впереди «Москвичок».

Замелькали за окнами посаженные вдоль трассы деревья, проносились в мгновение, словно кто-то невидимый скашивал их. Скорость чуть приподняла настроение. Богдан на секунду оторвал от руля обе руки и по своей привычке потряс над собой кулаками.

— Э-э-э-э!

— Э-э-э-э! — азартно поддразнила Яна.

— Мужчина! — одобрил Богдан. — Ничего! Все нормально! Черт с ними: и с деньгами, и с ОБХСС, и с Сибирью! Все будет! Главное — жизнь идет! Жизнь — есть! Что бы там ни было — мир прекрасен! Так, товарищ писатель?

— Э-э-э-э! — поддразнил и Фарсид.

### 3

С очередной игры Директору досталась неплохая сумма. В этот раз собралась большая компания самых заядлых игроков. На кону скопилась крупная сумма денег, и перед



уходом картежники отсчитали за все пухлую пачку червонцев. Триста руб. Как хороший семьянин, Директор передал своей Раисе сто — в копилку на черный день, остальные оставил на карманные расходы до следующей игры. Копилку нужно было покупать снова, уже в который раз: когда Директору было невмоготу, хотелось выпить или допить, а карманы были пусты и вялы, как сдувшиеся шарики, очередная «черная» копилка решала все горькие директорские проблемы. Но после новой игры в карты Раиса снова покупала на базаре какую-нибудь гипсовую разукрашенную собачку со щелью на голззе, и не дай Бог, конечно, чтоб Директор прикоснулся к этой новой копилке «хотя бы пальцем». Пусть даже под пистолетом или под ножом. Но деньги, известно, текут как вода, копилки же — пока еще не железные, как и душа, которую изредка нужно чем-то обманывать, хотя бы той же самой водкой. На худой конец — вином.

Тоска находила какими-то волнами, накатывала и топила. И никуда от этого нельзя было деться. В такие дни становилось понятным, почему собаки воют, задрав к небу мокрые носы. Но собакам выть можно, человеку — нельзя. У человека другая жизнь, другое небо, другая луна и другая земля.

...К вечеру Директор успел принять стаканчик для «борьбы с тоской», но лучше было застрелиться, чем недопить. Он со вздохом пересчитал и перепланировал все оставшиеся до очередной игры деньги, но делать нечего: заплатил перекупщикам пятнадцать рублей за бутылку и, пристукнув, бережно поставил ее на стол. За время, пока помыл пару помидоров, нарезал тонкими ломтиками холодное вареное мясо, в общем, подготовился к своей «борьбе с тоской», настроение стало улучшаться. Все становилось на свои места, жизнь (хотя за окном уже стоял вечер) светлела, наполнялась добром и Богом. Но добро добром. Бог Богом, а без близкого человека и добро — тухлая рыба, и Бог — как козе медаль. Директор прошелся вдоль аппетитно собранного стола, снял с руки часы, призвал в светлую уютную кухню свою Раису:

— Садись. Вот тебе время, Директор будет вести урок. Засекай сорок пять минут.

Это было не впервой, директорские уроки случались и раньше. Раиса, только кивнув на бутылку, нарочито серьезно посочувствовала:

— Неужели ты «этот урок» на сорок пять минут растянешь?

— Поживем — увидим.

Раиса вздохнула, скрестив руки на груди, горестно покивала: жизнь-жизнь!

— Уважаемые господа-товарищи,— начал Директор, обращаясь к своей невидимой «аудитории». — Добрый вечер! Сегодня мы обсуждаем,— он налил водки, выпил, смачно крякнул, аппетитно закусив долькой помидора. — Да, друзья мои, сегодня по вашей просьбе мы обратимся к теме «Люди и дауны».

Покончив с жеванием, потирая от удовольствия руки, он прошелся по комнате, Раиса по-прежнему сидела на стуле возле стены, медленно покачиваясь из стороны в сторону.

— Итак: люди и дауны! В последнее время в некоторых высших кругах (Директор имел в виду свои два-три разговора с Фарсидом и Двушником) появились некоторые тенденции... — Директор артистично вскинул указательным пальцем.

— Клоун ты, клоун... Чего юродствуешь? — вздохнула Раиса, распрямив складки платья на худых коленях.

— Если бы я был юродивым, я смог бы сделать мир прекрасным! — парировал Директор. — Да. Я ходил бы по миру и призывал к доброте и любви. А так, подойти по-пробуй к людям: не убий, не укради, не пожелай жену... Скажут: совсем до ручки дошел. Ну, ладно. Прошу, господа-товарищи, не перебивать. Итак: люди и дауны. Здесь невольно возникает вопрос: допустимо ли использование названия болезни? Но приведем сразу и контрвопрос: «Нормально ли зло?! Нормально ли явление фашизма, антисемитизма, нормально ли насилие, убийство, нормально ли клевета и зависть?!» Как видите, ответ напрашивается сам собой: нет и тысячу раз нет! — Директор и вправду начинал входить в роль, азартно вышагивал по кухне. Раиса, хотя и не подавала виду, что начинает прислушиваться, чуть приподняла седую голову.

— Итак, зло патологично. Зло — это шизофрения! И причем не приобретенная, а врожденная, как и даунизм... Тут, я чувствую, зарождается один вопрос: «А вы, товарищ Директор, к кому себя причисляете: к даунам или людям?» Вполне правомерный и своевременный вопрос. Но на него я просил бы ответить вас. Скажите, мои дорогие коллеги, я человек или даун?

— !!!

— Благодарю! — Он походил по комнате. Выпил. — Продолжим дальше, друзья! Пойдем дальше по грустному и смешному лабиринту земной нашей жизни. Итак, по каким категориям мы можем определить: человек или нет?—

Он остановился, словно прислушался к своей «аудитории». — Тут мне возражают: мол, что за такие теории?! Все люди на Земле — люди! И никаких различий! Нет, господа-товарищи! Не все люди — люди! Это горько! Это страшно! Это печально! Но куда страшнее, когда в различные эпохи к власти приходят дауны, совершают перевороты, кровавые революции, толкают людей на войны, убийства, насилия. Когда они и в мирное, то есть невоенное, время ведут самую кровопролитную борьбу против людей. Не между богатыми и бедными идет война, не между капиталистами и другими «истами», не между одним народом и другим, а это дауны ведут извечную ежедневную, ежечасную войну против людей!

Директор искоса посмотрел на Раису. В замерших глазах ее светилась печаль.

— Да-а... Но мы отвлеклись, вернее, перепрыгнули... Нам, вероятно, прежде всего надо **выяснить, кто же люди**, а кто нет. Как узнать тут: даун становится у власти или человек, за дауна отдаешь свою дочь или за человека, с дауном имеешь дело или с человеком. Чтоб не получилось, что люди на службе у даунов, чтоб человек не был у них в рабстве, чтоб в конце концов дауны всех рангов: короли и пахари, министры и ученые, рабочие и пастухи — дауны всех мастей не мешали жить людям, не совершали кровавых переворотов, войн... Но, итак...

Вдруг распахнулась дверь и на кухне с ключами от машины появился Богдан.

Директор пристально взглянул и нарочито серьезно обратился к своей «аудитории»:

— Кстати, вот вам живой пример, давайте определим: Богдан человек или...

Раиса, глядя на Богдана, безнадежно развела руками: такие дела...

— Конечно же — он человек! Конечно же наш дорогой Богдан — человек. Всегда был им и всегда им останется... Он душа человеческая. Проходи...

Усадил Богдана за стол напротив Раисы.

— За рулем! — отказался тот от водки.

— Ну тогда за ваше здоровье! И вообще, а всех хороших людей! Нет, просто — за людей!

Директор уже не закусывал, лишь вытер губы тыльной стороной ладони:

— Пошла родимая!

— Итак, господа-товарищи. — Директор снова принялся ходить по кухне. — На чем мы остановились? Да. Что значит даун?.. И как его отличить от людей? Ведь и у

него может быть красивый нос, и у человека тоже, у человека уши и у дауна. У человека голова и у дауна. Ну и так далее. Простите меня, конечно, господа-товарищи, вам, может, и не нравится: по какому, мол, праву он раскидал человечество на тех и этих. Раскидал. Чтоб не вышвыривала всякая сволочь настоящего человека за борт, как меня. Чтоб, разобравшись наконец, кто есть кто, хоть один годок люди пожили бы в спокойствии и радости... Я задал себе вопрос: можно ли причислить кого-то к людям по уму? Нет! Нельзя! Ибо человек, обладающий великим мозгом, создает невиданное оружие, обладая гибким умом гения, ведет на бойни целые народы! Используя свой мозг Зла — даун. Следовательно, дауном может быть и гений. Так как же все-таки определить его, дорогие господа-товарищи?

— Ну и как? — усмехнулась Раиса.

— А так! Если ты хоть один раз оклеветал невинного — ты даун! Если нет в тебе доброты — ты даун! Если поднял руку на беззащитного — ты даун! Если пнул упавшего — ты даун! Если позлорадствовал над чужой бедой — ты даун! Если тебя душит зависть — ты даун! А зависть — самый первый и самый верный признак, что ты даун! Тот, кто подвержен зависти, тот оклеветает, тот предаст, тот убьет и тот изнасилует! Потому что его душа похожа на это грязное, со слизью и пеной, уродливое, равнодушное существо!.. Я предчувствую еще один вопросик! — Директор остановился, озабоченно покивал: — Вот, мол, он напился и философствует! Я, может, и выпил, какое это имеет значение? Если я говорю неприятные вещи, уж не судите меня. Се ля ви! Но я все равно хочу сказать вам, господа-товарищи... Мы не умеем жить! Мы научились клеветать друг на друга! Мы научились убивать друг друга! Но так и не научились жить! И мы никогда не научимся жить, пока не поймем, что на Земле не все люди — люди! Что на Земле нет ни президентов, ни нищих, нет ни евреев, ни русских, ни китайцев, ни немцев, на земле нет ни гениев, ни безграмотных, ни падших, ни святых, ни шизофреников, ни здоровых! На земле есть просто люди и дауны. И эти дауны ведут извечную войну против людей. Быть человеком — должно стать привилегией! Только так можно освободиться от даунов — этих людей с душами, похожими на тех грязных со слизью и пеной на лице уродливых существ! Вот мы и само собой ответили: как отличить человека от нечеловека. Душа! И только душа! Каким бы ты умом ни обладал, если ты не наделен душой — ты даун! Не нищего избегай, а дауна! Не от больного отворачивай-

ся, а от дауна, не на падшего плюй, а на дауна. Не королю поклоняйся, а человеку, не святому помолись, а человеку, не гения приветствуй, а человека. Ибо и среди королей есть дауны, а среди нищих — люди! Среди падших — душой наделенные, а среди святых — дауны! — Директор вздохнул, посмотрел, сколько осталось в бутылке водки. — Точно. На сорок пять минут не растянул... А я как раз подходил к самому важному вопросу — что такое душа!

Он налил в рюмку, потом, махнув, решил выпить все оставшееся разом — из стакана, но Богдан опередил его:

— Налей и мне.

— Ты же за рулем... Я знаю — меня жалеешь. Но что меня жалеть? Меня уже нет! Я умер! Еще в семнадцатом году! Нет меня! Это кора, не я, это кора без дерева. Сначала люди выбросили меня в грязь, когда отобрали работу. Потом и мир подсек мои корни — когда отнял Зорю. Зачем я только живу? Зачем?! Богдан!

Богдан покрутил в руке рюмку с водкой, стараясь как можно бодрее, заключил:

— Ничего, Директор! Вот получите гостевую, повезешь Зорьку в Америку. Вылечишь. И все будет прекрасно! И Зоря допишет свою картину, станет мировым художником, заработает кучу денег, и ты потом скажешь: «До какого светлого дня я дожил! И как прекрасен этот мир! Как прекрасна жизнь!»

Директор горько покивал: да, мол, да, жизнь очень прекрасна...

#### 4

Двушник любит детей. Своих. На широкой софе возится он с маленькой трехлетней Машей. Сам лежит на спине, а девочка елозит по его груди. Он выбирает губами хрящик ушка, мягко покусывает, целует детскую головку с мягкими, пушистыми волосами. Остальные дети — каждый по своим комнатам, с ним сейчас лишь маленькая Машенька и Кама. Жена сидит на своем излюбленном месте у широкого зарешеченного окна. Кусок черной ночи привален за окном. Кама с улыбкой смотрит на Машеньку, которая возится с отцом, любит эту семейную картину в большом, роскошно обставленном зале. Двушник непрерывно «облизывает» дочь:

— Ягодка моя! Звездочка!.. Сегодня стою на улице, — поигрывая с дочерью, Двушник заговорил с женою. — Человек пять мужиков. Один и говорит. Слышал, говорит, что младшая Богданова дочь с писателем гуляет. Это про

Фарсида. — Двушник прижимает к груди дочь. — Как-то, я не помню уже где, намекнул про них: мол сегодняшние соплячки на взрослых мужиков заглядываются. Пое-е-хало! Слова мои круг обошли и ко мне вернулись. Лю-д-и-и... Сейчас на кого хочешь любое пятно посадить можно. Стань на одном углу и про самого чистого человека скажи любую грязь — мигом распространят. И еще с каким удовольствием, и разбираться не будут... Людишки-даунишки. На самого святого пятно поставят. — И тут же обратился к дочери: — Для чего у человека ушки? Чтоб подслушивать! Для чего у человека язычок? Чтоб наговаривать... Вот теперь мы посмотрим, как они из себя человека корчить будут — Благородный Фарсид и Благородный Богдан. До них дойдет же, что люди распространили... Дойде-ет!.. А для чего у человека зубки? Зубки у человека, чтоб кусать!

— Не говори ребенку такие вещи. Скажут, у родителей услышала.

— Чего она понимает?! Да и плевать! Кто бы чего стоил?! Для чего у человека ручки? Чтоб отнимать!.. Ты знаешь, зашел один раз в магазин... Не помню зачем. Ну, не важно... Смотрю, здоровенная баба стоит — как подъемный кран. Ноги — во-о! На ногах такие растоптанные, как лапти, босоножки, и один палец, как огурец, торчит. А на нем такой толстый замызганный ноготь... Чуть не стошнило. Думаю, чем вот такой человек от зверя отличается? Абсолютно ничем! Все то же самое, как у зверя! И этот грязный толстый ноготь, чем не звериный коготь! И остальное... Гордое звание — человек! — усмехнулся он. — Че-ло-век!.. Для чего у человека ножки? Чтоб растаптывать!.. Эх, столкнутся же эти двое! Эх, как столкнутся! Богдан за свою дочку, этому твоему другу детства, писателю, что хочешь оторвет... Мя-я-сни-ик!.. Ягодка ты моя! Звездочка!.. Все люди — звери. Есть же, например, разные отряды — парнокопытные, например, ползучие или как их там еще. Есть волчьи: собаки, шакалы и сами волки. Так и люди — все звери, только один волчьей породы, другие — собачьей, третьи — как шакалы... Э-э-эх, и столкнутся они... Только спичечку подбросить.

— Зачем тебе это все нужно?

— Нужно. Я не люблю, когда кто-то из себя светлую личность ставит! Все звери! Все! И они столкнутся...

## 5

Беда уже была. Незримо войдя в Богданов дом, она час за часом незаметно обживала еще полные смеха и

любви комнаты и до поры до времени, пока, не набрав силу, не показывалась, не выдавала себя. Беда сама выбирает свой час. Словно чья-то рука для большей силы выше заносит меч, чтоб с размаху нанести верный уничтожающий удар.

Алла. Любимая Алла Богдановна лежала в своей маленькой комнате с разбитыми в кровь коленями. Разодранные окровавленные чулки валялись подле кровати, как свидетели чего-то непоправимого.

Богдан сидел в изголовье дочери, поглаживая только-только замершую после плача девичью голову. Вера сидела тут же на низком стульчике, скрестив на груди руки. Теперь они оба — Богдан и Вера слышали, как в душах впервые так ясно зазвучало страшное и почему-то казалось — непоправимое: «Болезнь!»

Теперь уже Вера не успокаивала ни себя, ни дочь прежними утешениями: «Ну, упала... Живой человек и упадет...»

Сегодня все уже было по-другому. Сегодня Алла прогуливалась со своим женихом и снова несколько раз, спотыкаясь, падала. Падала на «проклятые», еще не успевшие подлечиться колени. Она бросила жениха, взяв такси, вернулась домой. И вот теперь лежала на так и не разобранной постели. В комнате горел свет: в октябре темнеет рано. Вроде бы только недавно был полдень, а вечер уже вешает свои темные покрывала.

Взгляд Богдана останавливается на разбитых коленях дочери, и тут же обрывается его сердце, накатывает на душу острая боль и горечь.

— Ничего! Все будет хорошо! — Богдан пригладил каштановые мягкие волосы дочери. — Все пройдет!

— Папа, мне страшно! — Алла вскидывает припухшие от слез большие глаза.

Богдан не в силах устоять перед ними: столько в них мольбы, столько вопросов. Никогда, кажется, ни в чьих глазах он не видел столько вопросов, в которых сошлось, выразилось все — все самое главное.

— Папа! Я умру?! — Алла, сжав руку отца, снова заглянула в его глаза с мольбой.

Чьи-то холодные руки точно разорвали сердце.

— Ты что, глупышка?! Что ты говоришь?!

— Папа! Мне страшно! Почему я боюсь?! Я не хочу умирать! Папа! Слышишь?! Не хочу! — Алла как ребенок бросилась к отцу на грудь, крепко обняла, словно сейчас чьи-то руки навсегда разлучат их. Снова зарыдала.

— Да умереть мне! Что ты говоришь?! — Вера одернула задравшееся платье дочери, погладила ногу вокруг окровавленной чашечки.

Как-то неслышно открылась дверь, и в комнату заглянуло виновато-вопросительное лицо молодого паренька. Жених Аллы. Увидев Богдана, Веру, растерянно замер в дверях. С его появлением маленькая комната показалась еще более тесной. Вера вопросительно взглянула на мужа, тот бережно отстранился от дочери и бросил парню:

— Проходи, Данил.

С опущенной головой вышел, следом потянулась Вера. Ушли во времянку.

— Ты куда сбежала? — хозяйским тоном отчитал Данил, усаживаясь на стульчик у окна, где сидела Вера. — Еще свадьбу не сыграли, а ты сбегаешь! — нарочито оскорбленным тоном поругивал он, и со стороны это его «свадьбу», «убегаешь». произнесенное еще совсем мальчишкой, могло бы вызвать улыбку.

— А я, наверное, скоро умру! — Алла вытянулась на кровати, прикрыв ноги покрывалом. — И ты останешься один. — Ей захотелось поиграть в трагедию, она артистично вскинула руку, как будто еще несколько минут назад и не было сильного испуга и слез. — И ты, как все мужчины, найдешь себе другую, молоденькую жену, и вы поженитесь.

— Я тебя сейчас обзову! — строго предупредил Данил.

— Охо-хо! Обзовет! Пришел, сел, хоть бы спросил: ударила тебя невестушка, не ударила, что с его любимой и единственной на свете! Все вы, мужчины, одинаковые, вам только одного и надо!

— Ты это про что?!

— А про то! — вдруг Алла смолкла, задумалась, глядя в потолок долгим взглядом, спросила: — Данил, а если я вправду умру, ты сразу женишься?

— Дура ты! Я предупреждал тебя...

— Ты еще совсем маленький! Ты не понимаешь жизни! Мужчины всегда морально младше своих одноклассников. Женщина на несколько лет старше своего возраста!

— Поэтому болтает такую чепуху!

— А может, и не чепуху... Мне страшно. Данил, мне и вправду страшно!

Она нашла у своего изголовья его плечо, прошлась вниз по руке. Он взял ее ладонь, прижал к губам.

— Данил, странно как-то: сейчас я вот есть, а может, меня скоро и не будет. Останешься ты, весь этот свет, деревья, дома, солнце. Пройдет немного времени, и тебе най-



дут другую невесту, вы сыграете свадьбу. А меня уже не будет, я буду лежать там, одна, и не буду видеть твоей свадьбы, твоей невесты. А вы будете веселиться, танцевать. Ты будешь говорить своей невесте, что ты любишь ее больше всех на свете, как мне говорил. А меня уже не будет. Ничего не будет...

— Перестань болтать глупости! А то я сейчас уйду! — Данил даже приподнялся.

Алла продолжала смотреть в потолок, глаза ее, казалось, видели все то, о чем она говорила:

— Данил, если я умру, ты только не забывай меня. Если хочешь жениться — пожалуйста. Но только не сразу. Я понимаю, мужчинам необходимо жениться! Но ты только подожди три года... Хорошо? Мне там не будет обидно...

— Я уйду!

— Нет! Ты скажи: хорошо!

— Я на глупые вопросы не отвечаю.

— Ну я прошу тебя, пообещай. Пообещай, что ты три года не женишься!

— Ну, обещаю! Только мы всегда будем вместе!

Он быстро и осторожно выглянул из комнаты: никого нет, подсел к ней на кровать и стал целовать ее еще неопытными, неумелыми губами.

— Значит, ты обещаешь?

— Да. Но мы всегда будем вместе. Всегда.

— Какой вы глупый, какой вы глупый народ — мужчины! — Она с благодарностью отвечала ему такими же неумелыми пухлыми девичьими губами.

## 6

Богдан раскрыл двери дома, вышел на крыльцо. В глаза бросилось вечернее октябрьское небо: чистое, с большим красным солнцем на розовом, будто распаренном горизонте. Богдан глубоко вздохнул, и вдруг ему показалось, что все это уже однажды было. Точно так. Все казалось знакомым до мелочей: и то, как он вышел на крыльцо, как взгляд охватил все небо сразу — пылающий закат, огромное багровое солнце. Знакомым показалось ощущение, что он, глядя на весь этот осенний закат, с тревогой подумал о своей дочери. Может быть, это была не мысль, а ощущение: Алла в больнице. И все это показалось знакомым, когда-то уже пережитым — множество лет, а может, десятки столетий назад.

Богдан закурил свою «беломорину», думая о дочери, незаметно для себя оказался в своем любимом опадающем

саду. Уже девять, нет, десять дней, как Алла в больнице. Врачи до сих пор не узнали ни причины болезни, ни саму болезнь. Что делать? К кому обращаться? Богдан покружил под орешником, разбросал ногой опавшую рыжую листву, поднял орех, прижав его к гладкому стволу орешника, легко расколол ударом крупного кулака. Орех оказался пустым. И снова ударило ощущение, что все это уже однажды происходило с ним и теперь повторяется. Может быть, это было в другой, какой-то прошлой жизни, тысячи лет назад, а теперь повторилось вновь, словно какой-то рисунок перевели через копирку.

Богдан покружил под орешником, расшвыривая мертвеющие листья, увидел еще один орех, но, не подняв его, раздавил большой медвежьей ступней.

На душе было слякотно. Богдан поднял к небу грустные черные глаза. Закатное солнце горело под легкой синевой, одинокий ястреб стремительно сорвался вниз, и его полет показался таким же резким, как удар топора по освеженной туше. Везде шла жизнь: и на земле, и в небе, и под землей, как, наверное, сейчас под его башмаком, где-нибудь в черноземе шевелится какой-нибудь червь. Всегда и везде — жизнь. Богдан невольно в удивлении качнул головой: может быть, одна из самых непонятных тайн, одна из самых удивительных вещей этого мира то, что в нем есть одновременность. Одновременность миллионов и миллиардов жизней. Если на миг представить, сколько работы, сколько жизни совершается всего в одно мгновение: тот же самый ястреб снова сорвался вниз, какая-то мошка подбирает свою микронную добычу, по ветвям деревьев течет сок, где-то в океане скользят триллионы рыб. И все это происходит одновременно: триллионы маленьких и больших существ в один миг и то же мгновение совершают непостижимую разнообразную работу мира. Как это все могло быть сотворено? Алла... Неужели ж, умея сотворить такое чудо, природа окажется бессильной перед болезнью. Этого нельзя понять. Такое трудно понять. Потому что природа так сильна и богата. Природа могущественна.

Это придало Богдану уверенности, настроение стало подниматься, и теперь снова стало казаться, что мир вновь обрел свои прочные основы. Миру возвращалась его красота, мудрость, даже опадавший осенний сад, казалось, таил в себе неистребимую жизнь. Все будет хорошо, Алла! Все будет, как надо!

Богдан постоял на улице, решил поехать к Директору, посмотреть завезенную вчера корову, может, сегодня же ее и забить.

Напротив директорского дома, через улицу, стоял ветхий саманный домик. Хозяева решили по весне развалить его и поставить добротный кирпичный дом. Но это по весне, а сейчас хозяин дома, мужчина лет сорока с залысиной и короткими усиками, готовил дом к сносу: отключил воду, газ и теперь собирался спилить стоявший перед окнами высокий тополь. Подле дерева лежал остро отточенный топор, ножовка и зеленая, с замасленной черной цепью бензопила.

Директор, как всегда, аккуратно одетый, в чистом коричневом костюме, при галстукe и с припухшим лицом спивающегося интеллигента, что-то настойчиво доказывал соседу и, когда подле них остановилась «Лада» Богдана, обрадованно, словно пришла долгожданная подмога, призвал Богдана в свидетели:

— Помнишь, я тебе говорил про дерево без коры?

— Помню. — Богдан пожал руку Директору и его лысоватому соседу Борису.

— Борис вот хочет спилить дерево — когда начнет строиться, оно, конечно, мешать будет. Я ему не советую пилить, все равно пень останется. А у пня — какая разница, те же корни. Лучше метра на полтора кору ободрать. Ну, макушку и ветки, само собой, — спилить... Дерево до весны высохнет. Потом его только поддеть чем-нибудь, трактором или экскаватором — вырвет, как гнилой зуб.

— Директор знает, что говорит! — с улыбкой кивнул Богдан.

— Можем поспорить! — Директор с готовностью протянул руку.

Борис почесал затылок, обошел широкий ствол тополя, запрокинув голову, осмотрел верхушку, что-то прикинул в уме.

— Действительно, — поразмыслил он, — если дерево спилить, пень останется. Какой-никакой, а выковыривать все равно придется. Корни у него, наверное, дай Боже! — Он снова почесал затылок и, махнув рукой, будь, мол, что будет, коротко бросил: — Давай... кору...

Весело взялись за работу: ломать — не строить, рубить — не растить.

Директор, как подавший рацпредложение, стал рубить топором кору. На противоположной стороне улицы, под окнами директорского дома, выстроилась группа уличных наблюдателей: обсуждали, как проходит работа.

Дерево обкорнали. От огромного, высотой с трехэтажный дом, тополя остался оголенный, как карандаш, трех-

метровый ствол. Ветви свалили в кучу. Кора была ободрана на высоту человеческого роста, и укороченный ствол походил на силуэт катушки или на обглоданный в середине кочан кукурузы. Оголенное тело ствола белело свежо, было гладким и еще влажным от древесных соков.

— Теперь все,— подытожил Директор. — Солнце и морозы высушат, дожди и снега подпортят. К апрелю это уже не дерево будет, а гнилой зуб. Ковшом экскаватора колупнешь — как морковка выскочит.

Закурили.

— Вот так и человеческая душа в этом мире,— зафилософствовал Директор. — Как это дерево без коры. Беззащитна. И солнце вроде бы нужно, а так — оно во вред, и дождь вроде нужен, а без коры тоже во вред.

— Если бы кору не сняли, тополь бы еще поднялся,— сказал Богдан.

— Конечно,— быстро подхватил Директор. — Уже бы в первую весну росточек вверх пошел... Без разговору бы пошел. А так — все...

Наблюдатели теперь стояли рядом, делая свои предположения, пророчили дальнейшую судьбу тополя.

Богдан с Директором зашли во двор. Богдан осмотрел сарай, проверил свет. Ямку для стока крови уже Директор приготовил. Корову забить решили сегодня, но прежде нужно было съездить к Алле в больницу.

— Я тоже с тобой,— попросил Директор. — Сколько времени девчонка в больнице, а я, сволочь, так и ни разу у нее не был.

На базаре он не позволил Богдану тратиться, сам купил виноград, гранаты и помидоры из своих «картежных» рублей.

Разговаривали на лестничной клетке второго этажа. Алла все больше смотрела в окно, порой, казалось, забывая о том, что рядом отец и Директор.

Вот уже сколько времени Богдан приходил сюда, но неизменно возникала одна и та же мысль: домашний красный халатик дочери, надетый здесь, почему-то казался больничным, казенным, так же, как зеленые аккуратные тапки. Там, дома, в этом одеянии Алла выглядела совсем другой. Может быть, свое влияние оказывали эти стены с казенными грязно-синими панелями, каменные лестницы с железными перилами.

— Никто из них не приходил? — Алла пригладила на плече вьющуюся прядь каштановых волос, на пальце блеснуло обручальное кольцо с камнем.

— Приходили! — соврал Богдан, поняв, что «из них» больше относилось к ее жениху, который так и не появился ни в больнице, ни дома у Богдана.

— Скажи им: пусть не появляются здесь! Я их терпеть не могу! Как человек попадает в беду — все!.. Обо всем забывается!

Рука Богдана невольно потянулась к голове дочери: хоть как-нибудь приласкать, успокоить, но, не привыкший к каким-то внешним ласкам, легко похлопал ее по плечу:

— Ты напрасно так на людей говоришь: приходили они, и Данил приходил, спрашивал. Наверное, с работы не может вырваться. А так они приходили, вон Директор знает.

— Конечно, конечно! — быстро закивал тот и увидел, каким жалким, смешным был сейчас в распахнутых, все видящих глазах девушки.

— Жалеее? Ну жалейте, жалейте. — Она быстро поцеловала обоих и неуверенной, боязливой, как показалось Богдану, походкой зашла в «свое» неврологическое отделение.

— У меня сердце оборвалось, когда я ее в больничном халатике увидел, — вздохнул Директор, выходя на улицу.

— Не зна-а-ю... — развел руками Богдан. — Такая была здоровая!

На территории больницы, среди развесистых позолоченных каштанов, высился девятиэтажный детский корпус. В круглой беседке напротив — пять-шесть девочек и мальчиков лет девяти-десяти о чем-то оживленно говорили. Директор и Богдан наверняка бы прошли мимо, не обратив внимания на типично больничную картинку: коротко стриженные детские головы, цветастые пижамки и штаны и одинаково голодные по жизни «заброшенные» глаза. Эти глаза с невольной тоской, наверное, были похожи на тысячи таких же глаз обитавших в больницах детей. В них всегда есть та общая детская мысль, состояние, вызванное общей средой, атмосферой и потерей, пусть на время, постоянного домашнего тепла. Этих детей всегда, наверное, можно отличить от других, так же, как можно отличить и многие другие социальные типы, хотя бы партийных чиновников. Одинаково оглушенное выражение глаз у просидевших от звонка до звонка зэков, и еще десятки социальных групп можно распознать по глазам: в них высвечивается одна, самая «главная» мысль, состояние духа.

Дети в беседке были обыкновенными детьми из больницы, но Богдана остановила манера их разговора. Они

сидели на деревянных скамейках полукругом: как обычно в таких компаниях, центр занимали важные «лидеры» — мальчик в полосатой пижаме и девочка с розой-заколкой в распущенных волосах. С краю, несколько отчужденно, сидел черноглазый мальчик с яркой книгой в руках.

— Деньги-деньги! — нарочито вздохнула «роза». — Одни не знают, как их заработать, а я не успеваю считать.

— Я тоже хотел «Волжанку» купить, но попалась новая «семерка», пока поезжу. «Семерка» — тоже машина, — небрежно заметила «полосатая пижама».

— Кто умеет крутиться, я ничего не говорю — пусть крутится! — со взрослой интонацией одобрил еще один мальчуган в зеленой пижаме. — Иначе не проживешь. Крутись, если можешь! Один раз живем! Надо кайфовать! Веселиться!

— О чем ты говоришь! — нарочито возмутилась «роза». — Да разве ж можно перед детьми такие вещи говорить? Надо книжечки читать, просвещаться! Духовная пища! — девочка с распущенными волосами насмешливо кивнула на мальчика с книгой.

Все рассмеялись поддерживающим смехом. Особенно старался наголо стриженный мальчик в коричневой поношенной пижаме.

— Слышь, — небрежно обратилась к нему «роза», — хочешь понравиться даме?

Тот смутился, быстро кивнул круглой, как помидор, головой.

— Возьми эту книгу и выбрось ее в туалет! — с прежней повелительной интонацией приказала «роза».

Богдан и Директор невольно замерли. «Поношенная пижама» медленно, не отрывая от мальчика с книгой пристального взгляда, шагнула к нему. Книжка в одно мгновение была прижата хозяином к его маленькой худой груди:

— Не дам!

— Дашь, еще как дашь! — заверила «роза».

— Не дам! — на глазах у мальчика с книгой выступили слезы.

— А ну перестаньте! — громыхнул Богдан своим басом.

Дети сразу сникли, поджались на своих местах, точно рассыпалась компания, как порванные бусы. Снова в их глазах проступила невольная больничная тоска.

Директор и Богдан молчаливо, загнанные в свои мысли, выходили с больничного двора по узкой змеистой аллее, петлявшей меж старых огромных деревьев. Сквозь прореженные листопадом кроны виднелось осеннее небо.

— Ты что-то очень задумался! — улыбнулся в машине Богдан Директору. «Лада» нырнула в плотный поток машин на центральном проспекте.

— Неприятные мысли клюют, Богдан. Неприятные... Я все про детей в беседке думаю. Как сказал бы твой друг Двушник...

— Он мне не друг,— перебил Богдан. — Так... Как обычно в местечке...

— Ну, все равно. Он был сказал: будущие князьки, которые будут так же швыряться людьми, как швырнули меня; будущие лакеи, которые за теплое местечко штиблеты лизать будут, как тот, в коричневой пижаме...

— А люди?

— Может, один из всех, из всей этой пижамной компании родился человеком. Один. Не больше.

— Наверное, тот, что с книгой? — добродушно усмехнулся Богдан.

— Может, он, а может быть, и не он. Может быть, и никто.

Пауза.

— Ты знаешь, Богдан, я вот на старости лет все больше и больше убеждаюсь, что все те слова, которые я детям говорил: «Все люди — братья, все люди — люди», — это ложь! — И с большим нажимом Директор повторил: — Ложь!.. «Люби ближнего...» Этот закон никогда не работал. И не будет работать. А если и работал — только для даунов. Дорвется какой-нибудь такой зверь до власти: «Люби ближнего своего...», — а сам потихоньку пульки для них отливает и ближних тех по тюрьмам да психушкам расфасовывает... Откуда тут узнаешь, даун пришел к власти или человек? А когда узнаешь, уже кровь всю льется...

— Нахлебался ты от них! — неподдельно посочувствовал Богдан.

— Еще как! Разве ж я этими «картежными рублишками» должен был заниматься? Еще как нахлебался! И мой Зоря, может быть, из-за них заболел. Все его картины буржуазной грязной мазней называли! Душили парня, как могли. Падлюки! А парень за людскую жизнь переживал... И после этого — «Люби ближнего», или еще паскуднее — «Люби врага своего...». Нет ближних. Вернее, у человека есть ближний, у дауна — нет. Они не способны к такой любви, к такой жизни. Биологически. Я об этом в последнее время много думал. Знаешь, какая мысль мне в голову пришла?

— Какая? — не отрываясь от дороги, спросил Богдан.

— Все животные на земле делятся на разные виды. Это всем известно. Так? Так. Виды в свою очередь делятся на подвиды. Так? Так. Допустим, змеи. Смотри, гадюка — змея? Змея. И удав — змея, безобидный уж — тоже змея. Все змеи, а все разные: одни жалят насмерть, другие заглатывают своих же змеев, третьи, как уж, безобидные. Так же и человеки: одни — люди, другие — нет. Биологически...

— Может быть... Может быть,— в раздумье глядя перед собой, следя за движением впереди, произнес Богдан. — Эти тоже говорили, что любят. Каждый день Аллу сватать приходили... а как...

— Такие «ближние» не то что просто «ближнего» — родного брата за копейку в могилу спихнут. Как можно любить таких? Таких не любить — таких под контролем держать нужно. Даун должен быть сыт и под контролем. Вот что единственное возможно. Без всяких подхалимских слащавостей. Об этом надо думать. А не «люби ближнего...» Настоящий человек и без этой заповеди любит. И не только человека, травинку на земле, птицу в небе, малую букашку не сможет обидеть. А другой будет орать: «Люби ближнего», — а сам, дай ему пушку, того же ближнего и уничтожит. На земле уничтожит, а потом и до «ближних» на Марсе доберется... Людям нужно научиться управлять даунами. Тогда и будет любовь.

— Директор, тебя в правительство надо... А что, не смог бы? Еще как бы смог!

— О-о! Сколько огурцов надо! — посмеялся тот. — Анекдот знаешь?

— Говори.

— Это Петька говорит Василию Ивановичу: «Василий Иванович, а если бы Урал весь из самогонки был — смог бы выпить?» — «С огурчиком бы смог. А почему не смочь?!» — «Ну, а если Волга из самогонки? Смог бы?» — «И Волгу бы смог, только пару огурчиков — и смог бы». — «Ну а... если Каспийское море? Смог бы?» — у Петьки аж глаза расширились. «Ну, Петька, на Каспийское море огурцов не наберешься!»

Богдан свернул к местечку...

...Корову, как всегда, забивали в освещенном большой лампочкой сарае. Повязав копыта и ноги, завалили на землю — горлом возле ямки для стока крови. Несколько человек навалились на тушу, прижимая ее к земле. Раби взялся за обвисшее, как мешковина, коровье горло, сверк-



нуло длинное острое лезвие ножа. Придавливая коленом хребет, Богдан снова вспомнил плато Азора — женскую голову с распущенными волосами, над которой завис топор. Вспомнилось, как пробежали по коровьей морде слезы и слова Директора: «Это мать и дочь». Тут же подумалось об Алле... Глаза Богдана наткнулись на лезвие ножа, которое, войдя в горло, резко прошло вперед-назад. Богдан выматерился и, точно убегая от рванувшегося из расчеченного горла судорожного предсмертного храпа животного, вырвался из сарая, сильно хлопнув дверь. Мужчины, сдерживающие последние удары напрягшейся, из последних сил еще сопротивлявшейся смерти туши, настороженно переглянулись:

— Что это с ним? — вопрос отчего-то был обращен к Директору.

Налегавший обоими коленями на коровьи ноги Директор пожал плечами, оставил уже затихшее распластанное на черном земляном полу безжизненное животное, взглянул на огромные, как яблоки, коровьи глаза, вытер руки и вышел вслед за Богданом. Тот нервно вышагивал по заброшенному саду, жадно курил.

Директор с немым вопросом обратил к нему припухшие глаза.

— Не могу... Что-то случилось... Не могу уже... — вышагивая, бросал Богдан. — Как вижу этот нож на горле, тех вспоминаю: дочь и мать... Что на Алкино обручение забивали. — Богдан, ткнувшись глазами в землю, прошагал мимо Директора и, швырнув окурок, резко бросил: — Все! Я завязываю! На хозяина работать пойду, а с мясом — все! Баста!

Директор молчаливо понимающе покивал, не смея посмотреть в глаза, проговорил куда-то в сторону:

— Я понимаю тебя, Богдан. Лучше меня, наверное, никто тебя не поймет... Только эту... нужно уже хоть через силу... как-то до конца... Испортится все... Сам знаешь.. Я тебе помогу, как умею. — И, уже обняв за спину, тепло попросил: — Надо, Богдан, доделать, надо!

Тушу освежевали молча, была какая-то угрюмая, как будто насильно навязанная, работа. Азор, скрестив руки на груди, наблюдал из угла за быстро мелькающим в руках Богдана засаленным сверкающим ножом. Директор и еще один мужчина, без слов понимая, как и что сделать, помогали Богдану.

Наконец шкура была снята, вынуты внутренности, тушу с трудом подвесили на балке под потолком. Желтый

свет лампочки, падая на красную тушу, словно лизал вокруг еще теплое и рыхлое мясо.

Подвешенная туша с раскрытым, как пасть, ребристым нутром, должна была отвисеться до утра, чтоб мясо «взялось», «отстоялось» и уже не было таким рыхлым и развалистым.

Богдан угрюмо курил, потягивая дым из скрюченной в пропеллер «беломорины», оторвав зубами, сплюнул на пол кусок бумажной ножки. Взгляд повело на большую, как столетний пенёк, измочаленную наверху колоду. Два ножа сально поблескивали под свисающей с потолка лампой. Тут же наклонно вонзился уголком лезвия мясницкий большой топор. Снова вспомнился кивок Директора: «Дочь и мать... Смотри: плачут, как человек». Увиделся мокрый след, пролегли от огромных вопрошающих глаз, так и замерших с детским упреком. Снова все это как-то суеверно и спутанно связалось с именем Аллы, ее болезнью.

Богдан нервно сорвался со своей низкой скамейки, вырвал из колоды топор, занес его над двумя поблескивающими лезвиями ножей и со всей силы, с выдохом ударил. Но во время удара произвольно, словно отчего-то жалея эти послужившие ему инструменты, что-то в долю секунды сработало в мозгу, руки не смогли пойти на ножи, их повело чуть вперед, и топор вонзился в сантиметре от лезвий. Ножи так и остались целыми, лишь слабо, от удара по колоде, качнулись из стороны в сторону, точно щепки на легкой волне.

— Все! — вырвавшись из сарая, грохнул дверью Богдан, словно он и вправду уже никогда и ни за что не вернется в его черное чрево. От мощного удара о косяк дверь отскочила назад и распахнулась настежь.

Мрачное нутро сарая вновь обнажилось, в нем, как подвешенное вымя, тускло светила под потолком желтая лампочка.

Богдан торопливо вышел из директорского двора.

## 7

Обычно Настенька выходила на «работу» с утра. Если не было загульных «сеансов», выходила подработать и под вечер. Город в это время обволакивали сумерки, людские фигуры чуть затенялись, но стройная фигура Настеньки, смазливая мордашка были приметны издали. Настенька становилась популярной. Первое время она выстаивала на своем «стартовом» месте — уличном перекрестке

недалеко от центра Города — минут десять, стесняясь пока еще долго маячить на глазах у горожан. Хотя и Город был большой, состоял из девяти районов (он, казалось, собрал все национальности мира), Настенька в первое время не выбирала своих клиентов, а поскорее, по первому же приглашению, садилась в машину, лишь бы поменьше быть на глазах у людей. Теперь она уже разбиралась в клиентах, с первого взгляда могла определить, у кого и сколько «шелестит» в карманах, могла оценить и по машине — тут у нее свои приметы: каков внешний вид автомобиля, марка, оформление самого салона.

Но какой бы разборчивой теперь ни была она, на своем «старте» стояла недолго: минут пять-десять — и уже распахивали перед ней дверцы. Шел самый звездный час Настенькиной популярности.

— Настенька!.. — многозначительно поговаривали в городе. — Не бывал?

— Нет.

— Много потерял.

— Найдем!

И Настеньку находили. Выходила «искать» и она сама.

Сегодняшний день складывался вроде бы неплохо: с утра попало «два тугих кошелька», «работы» оказалось немного, но заплатили хорошо, и потом почти весь день она от безделья провалялась дома, то слушая музыку, то включая «видео».

Вечером Настенька вышла на свой «старт», увидев красную «Ладу», внимательно вгляделась в понравившееся ей лицо за лобовым стеклом. «Лицо» тоже обратило внимание на Настеньку, ответив таким же пристальным, но вопросительным взглядом. Богдан. Но машина не остановилась.

Вырвавшись из сарая, Богдан кружил по городу, выплескивая в скорость нервное напряжение.

Жирные от говядины ладони неприятно липли к рулю. Это невольно возвращало к мыслям о прошедшем срыве, дочери, болезнь которой уже сколько времени не могли определить.

Припомнив, где еще на улицах стоят колонки с водой, подъехал к одной из них. Тщательно, обезжиривая землей руки, промыл их, пару раз плеснув в лицо холодную питьевую воду. Тщательно, насухо протер тряпкой руль. Езда пошла спокойней.

На перекрестке стояла одинокая фигура, всматриваясь в лобовое стекло его машины. Богдан проехал мимо, но глаза девушки остались в душе. Показалось, они о чем-то

просили и ожидали. Отчего-то стало жаль эту одинокую в осенний вечер девчонку. Может быть, ей надо было куда-то срочно попасть... В мысли о ней вплелись мысли о больной дочери. Богдан резко затормозил и сдал назад.

— Садись, подвезу! — открыл он дверь.

Настенька, пригнувшись, заглянула в салон, прицельным взглядом оценивающе посмотрела на Богдана и через секунду, как старая знакомая, усаживалась рядом на переднем кресле.

— Куда? — тронув машину, Богдан посмотрел на девушку.

— Сам смотри, — свойски ответила Настенька, кивком головы разметав по плечам светлые, пшеничной волны, красивые волосы.

Богдан пристально взглянул в молодое смазливое лицо с наведенным румянцем на скулах.

— Тебя как зовут? — Глядя на дорогу, Богдан медленнее повел машину.

— Настя. А вообще, все называют меня Настенькой...

— Настенька... — Что-то припоминая, Богдан отвлекся от прежних мыслей. Показалось, что он уже где-то слышал это имя.

— Меня многие знают... из вашего района, — словно угадала она его мысли.

— Настенька... А слышала такое имя — Директор?

— Это у которого сын такой?... — Она крутнула пальцем у виска.

— Парень заболел... — чуть рассерженно ответил Богдан. — Сколько же тебе лет, Настенька?

— Восемнадцать.

— У меня дочь такая, как ты.

— Дочь — это ничего. У меня были «ребята», у которых внуки, как я, — запросто ответила она. — А что?.. Правильно. Человек один раз живет. Тем более жизнь сейчас — не жизнь, а сплошная «безнадега»! Если не от бомбы, то от какой-нибудь кометы загнием. Слыхал, какая недавно пролетела. Говорят, еще чуть-чуть — и по земле бомбанула бы! Так что кайфуй, пока кайфуется.

— Да-а! — Богдан озадаченно пригладил на затылке волосы.

— А ты, как я погляжу, «папаша» стеснительный...

— Откуда ты это знаешь?

— Знаю. Я людей сразу вижу. И про тебя сразу поняла. Как только первый раз посмотрела, так и поняла. Но в тебе что-то есть... Нет, ты мне и вправду нравишься! —

она погладила Богдана по затылку. — Хороший! — Рука ее скользнула под рубашку Богдана, коснулась груди.

Богдан остановил машину, не поворачиваясь на девушку, бросил:

— Выходи!

— Ты чего?! — насторожилась Настенька.

— Выходи, говорю!

— Фи-и-и! — Настенька небрежно сунула под мышку свою черную сумочку, деланно исказила лицо, презрительно хлопнув дверью.

— Ко-зел! — бросила она вслед резко сорвавшейся машине.

Через полчаса Настеньку с ее «старта» сняла черная «Волга». В машине было двое мужчин лет тридцати пяти — тридцати семи: Двушник со своим знакомым. Город уже весь потонул в сумерках. Ехали по освещенной фонарями улице, но встречные автомобили неслись с включенными фарами.

— Мне сейчас один тип попался, — делилась Настенька, уже освоившись в «Волге». — Я, говорит, тебе в отцы гожусь. То да се... Между прочим, похоже, что он из вашего района.

— А какая машина? — Двушник почувствовал, что «запахло» чем-то интересным.

— Красная «Лада». Я еще номера посмотрела: 12—51...

Двушник вдруг резко рассмеялся и, громко хохоча, толкнул своего товарища в бок:

— Это Богдан... Мясник... Такой здоровенный... детина...

— Узнали? — рассмеялась Настенька и поддразнила: — «Сколько тебе лет?..» Отцы. Матери... Пар-тий-ный! — хохотала она.

— А чего партийный? — с улыбкой спросил товарищ Двушника.

— Действительно! — ухмыльнулась Настенька. — Партийные сегодня сами рады намылиться: дачки, шашлычки, сауны, молоденькие девочки...

— В твой огород камешки, — рассмеялся Двушник, взглянув на своего соседа, и повернулся к Настеньке. — Вот, тоже из партийных — заместитель мэра города. А зовут Степан... Так что такие шашлычки...

— Длинно что-то. Но, видно, из своих! — свойски оценила Настенька, откинувшись на спинку сиденья.

Ладонь ее легла на мягкую обложку книги. В салоне машины был полумрак, лишь кругло светились щитки приборов. Настенька поднесла книгу к окошку — под скользящий свет уличных фонарей.

— О-о! Библия! — с нарочитым почитанием произнесла она, разглядев в полумраке золотистый крест на серой обложке.

— А-а, это ты про это... — мельком посмотрел Двушник назад и снова, держа ладони наверху руля, взгляделся в отсвечивающую в свете фонарей желтую дорогу.

Настенька веером перелистала страницы. Двушник взглянул на нее в зеркало обзора.

— Еле-еле пятнадцать страниц осилил, — признался он. — Как начинаю читать, сразу спать тянет. А так вообще-то ничего. Исус Христос, оказывается, иногда свойским человеком был. Вино любил попивать и пожрать был не дурак. Так что свой парень иногда...

— А почему иногда? — подхватила Настенька.

— Он насчет баб хромал... Водочку любил, а насчет баб чего-то не того. Если, говорит, тебя твой глаз соблазнит — выколи его.

— Зато его мамаша — христосская — молодец оказалась баба. Гульнула с голубком...

— Там, наверное, такой голубочек был... — рассмеялся Двушник. — Но все равно — молодец деваха: гульнула не гульнула, а Христосика родила.

— Так не гульни она, на кого ж люди бы молились? — поддержала Настенька. — Молодчина, девочка...

— Вот-вот! — вскинув палец, вставил Степан. — Женщина не согрешит — и Бог не родится.

Машина выехала за город.

## 8

...К утру говяжья туша «отвиселась», мясо «взялось», и теперь это была не развалистая рыхлая мякина, а «сцементированная» красная плоть.

Покупатели — те, кто знал, что Богдан торгует мясом на дому, уже часам к шести стояли во дворе Директора. Солнца еще не было, стояла предрассветная мгла осеннего утра. Лишь свет уличного фонаря, падавший во двор, высвечивал пять-шесть женских фигур, зябко поеживавшихся в ожидании, когда начнется торговля.

При появлении Богдана все разом взбодрились, уважительно приветствуя, двинулись за ним к сараю.

— Как твоя дочь? — поинтересовался кто-то.

— Так же, в больнице, — коротко ответил Богдан, давая понять, что говорить об этом не хочет.

Богдан снял с себя теплую куртку, надел черный фартук. Коровья туша, подвешенная за четыре ноги, висела

низко, почти касаясь длинным хребтом вытоптанной черной земли.

У входа в сарай Богдан поставил столик с весами на чистой, но чуть поблескивающей от жира клеенке.

Азор уже достал ножи из своего тайника и держал их наготове, словно ассистент на операции, следя за действиями Богдана. Стоял оживленный говорок покупательниц, которые с нетерпением ожидали начала работы.

Богдан проверил на палец лезвие топора, стал у середины туши, секунду что-то прикинув, занес топор над головой. Удар был резкий: «ток», словно ловко было расколото полено.

Появился Директор, успевший уже чисто выбриться, с красным галстуком под пиджаком. Приветливо со всеми поздоровался, протиснулся между столиком и дверным косяком в сарай к Богдану. О галстук Директора в местечке уже давно ходили разные легенды, и сейчас из темноты двора хриплый мужской голос шпильнул его:

— Сегодня ж не барана режут, Директор?

Тот с добродушной усмешкой взглянул в темный проем дверей:

— Чё? Не тот галстук я надел?

За стеной сарая покатил приглушенный утренний смех.

Еще несколько четких ударов топора, и туша разделалась надвое. Скоро пошла быстрая, умелая торговля. Поднимались и опускались чаши весов: на одной стороне с кусками мяса, на другой — с гирями.

Рассвело. Поднималось холодное утро поздней осени. Еще недавно тихий говорок перешел в громкий, почти базарный торговый шум. С мясом, как всегда, было плохо, поэтому каждый старался уйти с полной сумкой.

Очередная — пожилая женщина, заказав «вес», негромко, стараясь, чтоб не услышала очередь сзади, попросила:

— Сынок, в долг поверишь?

— Хорошо-хорошо, — успокоил ее Богдан, завернув в газету взвешенный кусок мяса.

В дверях, перед столиком с весами, стала молоденькая женщина лет двадцати.

— Четыре килограмма, — заказала она, чуть робея; видно, только-только начиналась ее роль хозяйки в новоиспеченной семье.

— Какую часть? — с невольным уважением предложил Богдан.

— А нам ты так не предлагаешь! — донеслась из очереди насмешка.

Молоденькая покупательница в мгновение покраснела, растерялась. Богдан с улыбкой поспешил ей на помощь:

— А что вам предлагать?! Вы и без разрешения какое хотите место оторвете. И не только у коровы.

Очередь поддержала одобрительным смехом. Но тут же, словно в подтверждение слов Богдана, в дверях рядом с молоденькой стала женщина лет сорока, с небрежно свисающим брюшком из-под платьев-кофт:

— А че ты и вправду?! Одним хорошие места раздаешь, а другим плохие. Че нам тогда останется?! — недовольно бросила она Богдану.

— Мне что одни, что другие — разницы нет! — оборвал Богдан.

— Если нет, значит, этот кусок возьму я! — Она стала оттеснять плечом молоденькую.

— Женщина! — робко возмутилась та.

— Че женщина?! Приходят здесь... Глазки строят... — Она уже сильнее оттесняла соседку:

— Озверели! — донеслось сзади.

— Такой попробуй слово скажи, — вступил еще один недовольный голос.

— Сейчас моя очередь! — попробовала молоденькая протестовать, сняла с чаши весов плоско отрезанный кусок мяса.

«Платья-кофты» тут же вцепилась в этот кусок и стала тянуть к себе:

— Посмотри на этих соплячек!

Богдан опешил.

— Вы бессовестная женщина! Это мясо мое! — краснея от стыда, бросила молоденькая.

— Ах, твое?! — вырвала кусок «платья-кофты» и ткнула им в лицо своей соседки. — На, возьми!

В мгновение стало тихо.

На побледневшем вдруг лице молоденькой остался маленький, со спичечную головку, кусочек желтого жира. Быстрая слеза покатилась по дрогнувшей щеке. Закрыв лицо рукой, молодая женщина вырвалась из онемевшей очереди, и в холодной тишине утра отчетливо застучал убегающий ритм каблуков.

— Озверели совсем! — зло бросил Богдан и раздраженно предупредил: — Все! Я закрываю! Вместе с мясом друг друга пожрете!

Он вышел из сарая, попытался было закрыть дверь, но оставшаяся очередь зашумела; разнобойные голоса — недовольные, осуждающие, требующие — заставили Богдана продолжить работу. «Платья-кофты» все же отвоева-



ла свой кусок мяса и, не обращая внимания на недовольство других покупателей, с торжествующим лицом прошествовала к выходу.

— Все! Слава Богу! Больше к этому мясу и пальцем не прикоснись! — заканчивая торговлю, напомнил Богдан о своем решении бросить работу мясника. — Совсем озверели люди! — все еще не уходило из памяти плачущее лицо молоденькой женщины с налипшей песчинкой жира. — Все!

## 9

День. Божий день. Низкое декабрьское солнце стороной обходило землю, как путник с оглядкой огибает за версту жилье прокаженных. Жилье, от которого исходит крик, смрад, от которого рвутся к безысходным небесам судорожные вопящие руки.

Богдан — в своем дворе. Одет в кожаный плащ. Прислонившись к дверце автомашины, дымя папирсой, в раздумье подняв к осенним усталым небесам черные, как дугла, тяжелые глаза.

«Небо умерло», — вспомнились слова Азора. «Душа человеческая — как дерево без коры», — следом услышалось сказанное Директором. «Природа умна. Все придумала для человека. Жизнь прекрасна...» — вспомнились свои мысли. Алла. Как же так? Как же это случилось? Нежданно-негаданно. И никто не знает, что за болезнь. Врачи предполагают то одно, то другое.

Богдан тяжело вышагивал по двору — тяжелый взгляд волочился по земле. Шаги до сада, молодого сада, и назад — к машине. И снова... назад. Нужно найти лекарство. Гамолон. Дефицитное лекарство. Где искать? Но надо найти. Хоть из-под земли. Каких бы денег это ни стоило.

Открылась калитка. Во двор вошли две женщины: мать жениха Аллы и кто-то еще, наверное, из их родственников.

Увидев Богдана, на секунду настороженно замерли сбоку красной «Лады». Вдруг, словно за эти мгновенья заведя пружину, стали «раскручивать» ее.

— Вы обманули нас! — на расстоянии кричала мать жениха. — Обманщики! — Она сорвала с головы темную косынку. — Хотели больную девчонку на нас спихнуть! Бессовестные!

Богдан опешил. Но «бессовестные» обожгло душу, что-то уже готово было сорваться в ответ, но он сдержался, лишь глухо бросил:

— Не надо кричать здесь...

— Это мы еще кричим?! — Мать жениха, ища поддержку: вот, мол, что творится на белом свете,— посмотрела на свою спутницу. — Нас же обманули и еще нам же рот затыкают!

Из дома вышла встревоженная Вера, за спиной стал сын. Пришедшие женщины, словно только и ждали увидеть Веру, набросились с криками:

— Бог есть на свете! Он все видит! Не удалось одурачить честных людей! Не вышло! Бог есть!

— Бог есть... — слабо, точно для себя выдохнула Вера. — Бог есть... — медленно закивала она.

— Верните кольцо! — крикнула мать жениха. — Сейчас же верните кольцо!

— Вернем, вернем,— взмолилась Вера.

— Сейчас давайте!

— Сейчас... Богдан поедет к... Алле. Оно у нее.

— Мы не знаем никаких больниц!

— Твари! — зло бросил сын. — Если они сейчас не уйдут, я натравлю собаку! — Он бросился с крыльца в сад.

— Андрей! — предупреждающе поспешил за ним Богдан.

Пришедшие женщины, видя, что надо спасаться, а тем более «миссия отказа от невесты» выполнена, повернули к воротам:

— Мы вам покажем, как собак натравлять! Мы сейчас милицию позовем! — И скрылись в калитке, точно маленькие шавки, которые, облаяв прохожих, тут же ныряют в свою подворотню.

Вера опустошенно прислонилась к двери. Ткнувшись лицом в ладони, заплакала. Плач был негромкий, с давленным криком в горле.

— Мам! — Андрей стал на крыльце рядом с матерью. — Перестань. Черт с ними! Алла выздоровеет! Посмотришь! Они еще бегать будут! Но шиш им! Посмотришь, мам... Ты только не плачь!

Богдан подрагивающими руками, еще не сумевший успокоиться, нервно скрутил пропеллером ножку папиросы, жадно, глубоко вдохнул первую затяжку. Хмуро смотрел под ноги. Шаги по двору. Запахнув борта кожаного плаща, негромко произнес:

— Заходите в дом. Простудитесь.

— Мама, пойдем! Вот увидишь, все будет хорошо! — Андрей, прижав к себе коротко стриженную голову матери, ласково пригладил волнистые каштановые волосы. — Мы еще потанцуем на Алкиной свадьбе! — подпустил он в голос бодрости.

— Что мне делать?! Порушился наш дом! — запричитала Вера. — Как теперь жить?! Горе мне! Девочка моя родная! Доченька!

— Перестань! — вдруг оборвал Богдан. — Накаркаешь беду...

Он раздраженно вышагивал по двору, потом, видно, что-то решив, вышел на улицу. Калитку закрыл тихо, лишь коротко, как затвором ружья, клацнул задвижкой.

## 10

Подступал Новый год. Казалось, никогда раньше Богдан не придавал такого значения этому дню, как сейчас. Никогда раньше так явственно не ощущалась черта между прошедшим и будущим: погранзона между временным «здесь» и «там». Все было связано с именем дочери. «Здесь» — болезнь, которая все больше и больше обострялась: слабели ноги и в глазах иногда двоилось; «здесь» — непонятное пока еще, но с каждым днем все сильнее гнетущее — «рассеянный склероз»; «здесь» — безрезультатное хождение по аптекам, нужных препаратов не было, лишь на руках удалось купить гамолон, за огромные деньги — по два рубля за одну таблетку, пятьсот штук; «здесь» — бесплодная поездка к знахарю; «здесь» — боль и боязнь. И чем мрачнее, чем безнадежнее казалось это временное «здесь», тем больше хотелось верить, что наступающее «там» все разом изменит, болезнь будет побеждена, и уходящий во мрак мир снова вырвется к свету, и наступит час, когда можно будет благословить небо: «Благодарю тебя! Какие счастливые дни ты подарило мне!»

Богдан купил на ярмарке высокую, под самый потолок, разлапистую красавицу-ель. За три дня до праздника всей семьей принялись украшать ее с детской старательностью и гомоном: он с Верой, Яна, Андрей и Алла. Запах свежести, хвои растекался от ели по светлому залу, придавая настроению торжественность и радость. Радовалась, забыв о болезни, и Алла. Красные, зеленые сверкающие шары, искрящиеся стеклянные сосульки, разноцветные «светофоры» горели уже по всей пышной, игольчатой душистой ели. На остроконечной макушке водрузили ярко-красную «рубиновую» звезду. Богдан с Андреем, как самые высокие, забравшись на стулья, подвешивали к макушке оставшиеся игрушки.

Вдруг ухнул разбившийся об пол красный стеклянный шар. Все разом посмотрели на Аллу: шар выпал из ее рук. Она секунду-другую все еще стояла с вытянутыми к

ели руками, в глазах — отчаяние. Алла ткнулась лицом в ладони, заплакала. Все тревожно переглянулись. Вера метнулась к дочери, мягко обняла ее. Алла уткнулась в материнское плечо. Вера ласково-длинными движениями поглаживала ей спину, коснулась щекой щеки:

— Пройдет. Все пройдет. Ты только успокойся. Родная моя!

— Мама, я боюсь! Опять все раздвоилось! — спина Аллы подрагивала от плача.

С озабоченным лицом стал рядом Богдан, как можно спокойнее произнес:

— Не надо так переживать. Эти таблетки примешь, и все пройдет. — Он пригладил коротко стриженные волосы дочери. — Главное, не расстраиваться и чуть-чуть потерпеть.

Плач дочери затихал. Богдан вышел во двор. Зима стояла бесснежная, с хмурым, по-осеннему неприветливым небом. Богдан размял двумя пальцами зашуршавшую папиросу, продув бумажную гильзу, прикурил.

Медленные, тяжелые шаги по двору. Как все будет? Как вылечить девочку? Рассеянный склероз. Название как будто не опасное, но врачи всякий раз при упоминании диагноза тревожно покачивали головами. Богдан еще не знал, что это был приговор — «рассеянный склероз».

Молодой сад Богдана стоял в равнодушной тиши. Ухоженные, с побеленными стволами деревья, разметали по сторонам голые черные ветви, словно стриженные вороньи крылья. Что-то неприятное сейчас было в этой ухоженности черных деревьев, чистоте асфальтовых дорожек. Может быть, эта аккуратность лишней раз подчеркивала мертвенность зимнего сада, забытого солнцем и теплом. Казалось, никогда эти оголенные ветви не знали весенней жизни, ярко-зеленой листвы, созревших красных плодов, и никогда бело-розовая пляска цветения не коснется их.

Лохматый огромный пес, волоча по земле дребезжащую длинную цепь, поплелся от будки к Богдану, потерся о ноги. Почувствовав хмурое настроение хозяина, вильнул хвостом, растянувшись тут же, возле ног, ткнулся большой понятливой мордой в черный хозяйский туфель. Черные кружки собачьих глаз пристально вглядывались в лицо хозяина, словно с сочувствием вопрошали. «Ну что? По-прежнему плохо нам?»

Это немое сопереживание, преданность невольно тронули Богдана, он опустил на корточки, со скупой мужской нежностью погладил притихшую, с закрывшимися от удовольствия глазами длинную морду:

— Дружище ты мой! Все понимаешь! — с любовью растягивал Богдан, лохматя теплый загревок. — Ничего! Все будет хорошо! И наш сад зацветет! И наша Алка поправится! Жизнь свое возьмет!

Богдан еще с минуту возился с собакой. С каждым сказанным словом возвращалась душе уверенность, словно и вправду преданный пес взял на себя всю боль своего хозяина.

### *Часть третья*

## ПУТЬ

Последние дни января Алла жила этой надеждой: Богдану дали адрес знахаря из далекой деревушки под городом Верхним. Этой надеждой зажила и вся семья.

Здоровье Аллы с каждым днем ухудшалось, в мыслях Веры и Богдана, казалось, прочно поселилась тревога, а главной стала дума: где и как можно выискать спасительное лечение. Перепробовали уже многое: лекарства, поиски ведущих специалистов, возили к одному сельскому лекарю; и вот наметилась поездка к другому знахарю. Чем больше прогрессировала болезнь, тем сильнее хотелось надеяться на какие-то новые возможности. Пока еще вера в исцеление была, пока не пришел еще тот момент, когда все становится бесполезным, а последние шансы используют лишь для успокоения совести и души.

В начале февраля у Аллы стали неметь, отказывать ноги, мялась речь. В доме Богдана, прежде шумном и веселом, поселилась тревога, ожидание чего-то самого страшного, усталость. Когда все вместе собирались за одним столом или у телевизора, как под светом одной лампы, все находились под «током» одной мысли: «Алла...»

С собой в дорогу Богдан взял один лишь «дипломат», в котором свободно уместилась рубашка, пара носок, бритвенные и туалетные принадлежности. В паспорт Богдан вложил небольшую фотографию Аллы, которую, как сказали, нужно было показать знахарю.

Последние минуты перед отъездом. На улице с заведенным двигателем ждало такси. Богдан обнял сидевшую на диване Аллу, на мгновение прижал к груди, скупой поцеловал, в дверях обернулся. Большие, черные глаза Аллы, чуть косившие сейчас из-за болезни, светились радостью, как будто Богдану твердо пообещали спаситель-

ное лекарство, оставалось только привезти его. Глаза дочери ждали, надеялись и в эти мгновенья были счастливы.

В сердце отдалась боль.

— Ты спасешь меня, па! Я знаю! — с трудом выговаривая слова, произнесла Алла.

— Обязательно! — Богдан заставил себя улыбнуться, ободряюще подмигнул. — Скоро на коньках прокатимся! Э-э-эх! — вскинул он ручки над головой, тут же поймав себя на том, что этот его, привычный когда-то, возглас показался забытым и чужим.

— Бог в помощь! Счастливого пути! — стала на крыльце Вера.

Из-за спины выглянула Яна.

Не замечая холода февральского дня, в одном платье, Вера проводила Богдана, что-то суеверно зашептала вслед.

— Смотри за детьми! — в калитке обернулся Богдан, аккуратно прикрыл ее за собою.

Сев в ожидавшую его «Волгу», он перебросил «дипломат» на заднее сиденье, поправил под собой полы дубленки. Заурчал, заработал своими «лошадками» двигатель. С хрустом подминая на обочине застоявшийся снег и ледок на лужицах, машина отошла от дома. Богдан напоследок взглянул на три белых занавешенных окна. В последнюю минуту в среднем показалось лицо Яны, хваткие, черные озорные глаза сейчас тепло улыбались. Качнулась за стеклом раскрытая ладонь. Что-то быстро, выразительно зашептали губы. На душе стало тепло и ясно. «Янкино лицо перед дорогой должно быть к счастью, — становился суеверным Богдан. — Все должно быть нормально. Должно...»

Но в аэропорту уже поджидала первая неприятность. В небольшом зале досмотра тянулась пухлая, по-зимнему одетая очередь. Усталая, возбужденная, нервная. Изредка звенела сигнализация... «Дипломат» Богдана скрылся в пасти просвечивающего автомата, показав на мерцающем экране свое рубашечно-бритвенное нутро, выплыл на черной ленте из висевших, как разрезанные шторы, резиновых ремней. Сержант взял паспорт, кивнул на проверочную арку. Богдан прошел сквозь нее, хотел было двинуться дальше — за паспортом, но следивший за ним молодой лейтенант резко бросил:

— Пройдите-ка сюда.

Ничего не подозревая, Богдан вошел с ним в огороженный фанерой маленький отсек. Лейтенант приказал распахнуть дубленку, и в ту же секунду его руки, пройдясь по бокам, быстро поползли от ног к подмышкам. В первые секунды Богдан не успел осознать, что его обыскивают, но,

когда рука лейтенанта полезла в нагрудный карман и начался допрос: — «Куда едешь?» — Богдан перехватил в запястье милицейскую натренированную руку.

— Ты кого обыскиваешь? — зло процедил он.

— Стоять! — рявкнул лейтенант, вырвав руку. — Я тебе сейчас устрою «обыск». Выкладывай, что в карманах!

Лицо Богдана покрылось пятнами краски, он хотел было ответить тем же тоном, но в то же мгновение увиделись ему глаза Аллы — счастливые, которые верили в исцеление, в мыслях с болью повторилось с усилием выговоренное дочерью: «Ты спасешь, папа!»

Богдан сдержал свой гнев, скрипнув зубами, достал все, что было в карманах: расческу, носовой платок, записную книжку, мелочь, одну распечатанную и вторую, заклеенную крест-накрест, пачку денег.

— Сколько здесь? — властно потребовал ответа лейтенант.

— Девятьсот, — понимая свою беспомощность и зависимость, не желая рисковать вылетом, Богдан подчинился всем его требованиям.

Ничего не обнаружив, лейтенант недовольно бросил:

— Идите, — и вслед за Богданом вышел из спецотсека.

— Если бы мне не за лекарством для больной дочери... — с побелевшим от унижения лицом все же напоследок не выдержал Богдан.

— Счастливо! — с холодной неприязнью бросил лейтенант.

Богдан на секунду замер, но снова сдержался, смял в душе возникшую ответную грубость. Отовсюду с любопытством нацелились на него чего-то выжидающие глаза безропотных, бессловесных пассажиров. Дрожащая от гнева рука никак не могла вложить паспорт во внутренний карман пиджака. Богдан шагнул было в зал ожидания, но его снова окликнули. Он вернулся за «дипломатом». Чувствуя любопытные под шапками и платками глаза пассажиров, прислонился в сторонке к стене.

— Мразь! Чувствует свою безнаказанность! — зло, для успокоения, бросил он в сторону.

Услышавшие эту фразу стали поспешно заниматься своими делами. Подальше, мол, от греха. Богдан еще некоторое время успокаивал себя, стараясь думать, что скоро он, дай Бог, доберется до места, возьмет лекарство для Аллы, а потом, потом можно будет свидеться и с этим лейтенантом...

Зал ожидания постепенно заполнялся гулом. Люди, съездившись от холода, сидели неподвижно на скамейках,

другие с «дорожной интеллигентностью» переговаривались, вышагивали по залу, третьи беззаботно смотрели по сторонам, и все ждали, когда начнется посадка. Наконец в толпе замелькало и поплыло к выходу на перрон долгожданное, с эмблемой Аэрофлота, форменное пальто бортпроводницы. Люди загомонили, тесня, толкая друг друга, потянулись за ней, беспорядочно сливаясь в один плотный нервный ком. Всасываясь в дверь, ком стаял, на перроне расщепился на десятки нетерпеливых зябнувших людей. Мела поземка, пассажиры подставляли ветру спины, притопывали от холода ногами. Дождавшись знака бортпроводницы, вразброд, обгоняя друг друга, заспешили к заветному «Як-42». Хвост самолета, как пасть удава, проглотил всю эту укутанную в пальто, платки, шапки, дубленки, нетерпеливо толкавшуюся у трапа массу.

Место Богдана было у иллюминатора, но там уже сидела женщина лет сорока пяти, в норковой ушанке. Уже без пальто, с пуховым платком на плечах, смотрела в толстое стекло иллюминатора. Среднее место пустовало, у первого кресла в проходе топтался молодой человек в форменном пальто работника связи. С первого взгляда было видно, что это один из тех неполноценных молодых людей, которые часто разносят телеграммы. Глаза его, синие и пустые, временами уходили кверху, нижнюю губу окантовывала высохшая нить пены.

— Давай, садись,— свойски кивнул Богдан на кресло рядом с женщиной.

— Ага. Сейчас,— синие кружки глаз поползли кверху.

Женщина у окна тут же с мольбой повернулась к Богдану:

— Ради Бога, прошу вас, сядьте вы здесь.

Богдан понял, что его хотят использовать вместо перегородки, усмехнулся: женщина брезговала оказаться рядом с больным парнем. Богдан, неторопливо раздевшись, сел рядом с ней, оставил крайнее место почтальону. Тот затолкал свое темно-синее форменное пальто на полку, сунул туда же ушанку и бочком, видно, боясь как-нибудь задеть, коснуться Богдана, вжался в кресло. Он и вправду оказался разносчиком телеграмм, одним из тех, кто и в холод, и в жару, как сгорбленные тени, мелькает изредка на улицах, держа наготове, с явно деловым видом, запечатанные бланки. Речь парня была шепелявая, в разговоре из уголков неряшливых губ то и дело выползали пузыри слюны.

Самолет с мерным гулом шел над белой, тяжелой плотью облаков, словно плыл над густой взлохмаченной завесой из дыма.



Соседка в норковой шапке, видя, что Богдан запросто, не брезгуя, разговаривает с неприятным соседом, качнула головой:

— А я бы не смогла так! Ф-у-ух! — она брезгливо передернулась. — Нет, ни за что бы не смогла!

— Какая разница, тоже ведь живая душа, — усмехнулся Богдан, глядя в ее удивленные и настороженные глаза. Словно в том, что он так спокойно обращается к «такому» соседу, было что-то противоестественное и подозрительное.

— Есть! Есть разница! — с ударением расставила она и вполголоса воспротестовала: — И к чему так мучать было это существо? Всего пять кубиков воды в пуповину — и не было бы никаких мучений.

— Нельзя. Все-таки живая душа, — понял Богдан, что «пять кубиков» — это укол для умерщвления.

— А разве так лучше? — она кивнула глазами на соседа Богдана.

— Жизнь есть жизнь. Извините, конечно, за громкие слова, но жизнь не человеком сотворена, и не человеку отбирать ее.

Серые глаза посмотрели со снисходительной улыбкой: какой, мол, вы еще маленький...

— А что от вас хотел этот замухрышка? — спросила она, бросив двумя пальцами на свое плечо.

— А чего они обычно хотят. Повывадываться. Видят — какой я национальности... Если б я ехал не за лекарством для дочери... — с некоторой угрозой произнес Богдан.

...Город Верхний встретил двадцатиградусным морозом, серым, неприветливым днем. Богдан мотался от гостиницы к гостинице — мест не было. Смеркалось. Огромный город, привлекавший в первое время своей строгой архитектурой, прямыми, как стрелы, улицами, теперь вызывал неприязнь, и, казалось, он, как тонущий корабль, с каждой минутой погружался во мрак. Люди, словно охваченные паникой, суетливо спешили, толкались в густой уличной толпе, впихивали, вталкивали друг друга в дребезжащие трамваи, бежали за автобусами, словно ловили какую-то самую главную, последнюю минуту, после которой все уже будет поздно.

Зажглись желтые холодные огни реклам и убегающих в темнеющую даль высоких уличных фонарей. Не найдя места в гостинице, Богдан решил поехать на вокзал, узнать, как добраться до нужной ему деревушки, и скоротать, может быть, на вокзале ночь. Все-таки не на улице, можно перекусить, умыться-побриться, да и кто знает, ког-

да отправление нужного ему поезда. Добирался на трамвае, устало ткнувшись взглядом в ноги.

— Издалека, сынок? — приветливый старушечий голос был обращен к нему.

Богдан вскинул глаза. Напротив него, одетые в зимнее, тесно сидели две старушки: шерстяные платки, аккуратные темные пальто, цветастые рукавицы. Тепло и с участием улыбались ему. «Наверное, вид — как у побитой бездомной собаки», — подумалось Богдану о себе, а открытые добрые глаза, казалось, разомкнули душу, и, ответно улыбаясь, он выложил все свои проблемы. Старушки призадумались, как воробушки, повернув друг к другу посерьезневшие лица, посоветовались, и на одной из остановок Богдан вышел с ними. Все устраивалось.

Настроение резко поднялось. Город, как знающий себе цену, строгий, скупой на улыбку старикан, впервые, казалось, теплел холодно светящимся лицом, и отовсюду — из огней реклам, пролетов улиц, от освещенных окон домов как будто выступала улыбка.

— Знаешь, сынок, — «главная», как назвал ее для себя Богдан, старушка осторожно ступила на грязный утоптаный снег. — Может, у этой Варвары тебе покажется не очень приглядно, но все же не на улице. Как говорят, худая жена — да своя. Вот. А там и Бог поможет.

Вторая старушка также осторожно, боязливо топала рядом, словно они впервые стали на коньки и вышли на гладкий как стекло лед.

Под высокой аркой прошли к темному подъезду с тяжелой, гроыхающей дверью. Второй этаж, прерывистое учащенное дыхание «главной» старушки (вторая осталась внизу), и виноватый теплый голос: «Старость, сынок, не в радость».

— Пришлось вам помучиться из-за меня, — извинился Богдан.

— Ничего, милый, лишь бы приняла. Да примет. Куда ей деться.

Звонок. Переговоры в полоске света, падающей из открытой двери, и длинный щупающий взгляд по всей фигуре Богдана. Сговорились.

На прощанье Богдан обнял свою неожиданную проводницу, полез было в карман за деньгами, но рука не решилась, «не пошла». Подумалось, что старушка при виде денег обидится, уйдет оскорбленной. «Есть люди, есть...» — вспомнилась фраза из разговора с Фарсидом.

Попрощались еще раз, старушка напоследок улыбну-

лась своей доброй, теплой улыбкой, так и запомнилось ее лицо, окаймленное платком.

Хозяйкой Богдана оказалась полная бесшабашная женщина лет пятидесяти пяти, которая снова, теперь уже в свете прихожей окатила его цепким и в то же время безразличным взглядом и баском курящей бабы заявила, что «ей один хрен, по каким делам прикатил он сюда, но по доброте своей, хотя уставшей от паскудного мира, души уложит его в самой чистой комнате».

Богдан усмехнулся в душе ее «уложит», а хозяйка, проведя его в маленькую комнатку с оранжевыми, оборванными во многих местах обоями, как бы между прочим, словно это интересуется и не ее, спросила:

— Водку с собой, случайно, не привез?

— Нет. Но что-нибудь можно придумать, — ответил Богдан, оглядывая скупно обставленную комнату: железная кровать, со стеганым «солдатским» одеялом, столик у серых пыльных занавесок высокого окна, столетний желтый шифоньер с овальным зеркалом.

— Есть где купить? — Он поставил «дипломат» на круглый коричневый стул.

— Отчего же негде?! Есть! — явно повеселела хозяйка, подробно рассказала, как пройти к «Универсаму».

Чужой город, чужие магазины, и вроде бы обыкновенные, но все же с какой-то особенностью чужие лица. Огромный «Универсам» ярко светился. Богдан с интересом осмотрел его просторное, с высоким куполом, кубическое нутро. Люди с постными лицами обходили пустые длинные прилавки. В глубине, у противоположной стороны, сгрудилась толпа. Богдан, на всякий случай прихватив железную, с проволочными полками высокую тележку, покатила ее к очереди. Люди напряженно смотрели в огромное окно в стене, за которым молодая женщина с безразличным усталым лицом, в белом халате, нехотя разрежала колбасу на куски, шлепком опускала на чашу электронных весов и затем отбрасывала ее на стол рядом. Вторая продавщица упаковывала эти куски в целлофан и, когда над столом поднималась внушительная куча из колбасных кругов, сбрасывала ее к покупателям в ящик-прилавок, похожий на кормушку для лошадей. Люди, как по свистку, начинали штурм, толкая друг друга, старались оказаться у прилавка, шарили руками по кормушке.

Богдан невольно качнул головой. Народ озверел. Что здесь, что там, у себя. Вспомнилось ему, как в последний раз он торговал мясом и как в лицо молоденькой покупательницы ткнули куском мяса.

У прилавка с каждой секундой становилось все суматошной, словно перед голодными скучившимися зверями вдруг выбросили долгожданный корм: образовалась давка, а в кормушке бились судорожно вытянутые голодные руки, цепко хватающие куски колбасы. С вспотевшими за минуты лицами, с лихорадочно сверкающими глазами, добывшие наконец кусок еды, вытаскивали себя из свалки дергающихся пальто, шапок, платков, на ходу поправляя сбившуюся одежду, униженно вздыхали, хотя в глазах все же невольно появлялись счастливые искорки: «...то-то, все же отвоевали...»

Кормушка опустела, толпа растекалась, и — нечего делать, весь день не ел — Богдан присоединился к оставшимся неудачливым покупателям, которые, пристально следя, как по-новой за окном поднимается куча упакованной в целлофан колбасы, плотнее прижимались к ящику-кормушке, готовые во что бы то ни стало в нужный момент добыть упущенное. Стыдясь, но невольно приняв правила этой кормежки, Богдан прижался к прилавку и, когда в ящике появились мутные от целлофана круги колбасы, ловко выхватил из него пару кусков и вытиснулся из вновь скопившейся давящей толпы. Обреченный на зверство — страшный мир...

Водку купил с другой стороны «Универсама».

Чтоб знахарь мог приготовить лекарства, ему нужно было отвезти две бутылки чистого морковного сока и банку меда. Богдан накупил моркови, нагруженный кульками по горло, наконец добрался до своей комнаты, все свалил на стол.

Полная, с распахнутым на груди халатом, хозяйка, в первую очередь увидев на столе прозрачную бутылку «Столичной», как бы между прочим, безучастно, хотя видно было, что не без интереса, спросила:

— Заплатить тебе за водку, наверное?

— Не надо. Это за гостеприимство.

— Я деньгами беру, кажись, ты слыхал,— еще раз для верности притворилась она.

— Я знаю. Но водка не в счет. Только сто грамм нальешь?

Хозяйка тут же повеселела, ожила, стала вдруг породственному откровенной, готовой для Богдана на все; загудела над ухом, заоткровенничала, выложив в один выдох все свои тяжести «паскудной» жизни, со своим вечно пьяным мужем, у которого с отвислой губы вечно свисала потухшая сигарета. Она помыла, помогла перетереть и отжать морковь. Нужные две бутылки набрались.

Потом сидели во второй, бóльшей комнате. Гудел, мерцал маленьким экраном столетний «Рекорд». От оранжевого, с бахромой, Бог знает как сохранившегося абажура по комнате растекался приглушенный свет.

Засыпал Богдан долго, блуждал в тревожных мыслях, которые в какое-то мгновение выходили к надежде, что лекарство будет сделано, и оно поможет, но потом снова давили мрачные предчувствия.

С утра Богдан отправился на вокзал. Холмы оказались хутором, до которого нужно было добираться с пересадками-переходами: сначала на электричке до городка Вехи, а дальше автобусом.

— У черта на хвосте,— хмуро пробормотала кассирша. В округлое окошко были видны ее насупленные брови под низким морщинистым лбом. — Едут! Едут! Откуда только узнают! — Резким движением она выбила и оторвала выползший из автомата белый язычок билета. — Черножопые! Тут и своим жрать нечего!

Богдан оцепенел. Хотел было бросить что-то резкое, но очередь у окошка уже начинала недовольно дергаться. Богдан сдержал гнев, зашагал прочь.

Электричка отходила в одиннадцать вечера, времени оставалось хоть отбавляй. Для начала Богдан проверил в «дипломате» соки. Все нормально. Темные от густой жидкости бутылки лежали горлышками вверх, прочно заткнутые бумажными пробками. Богдан снял шапку, распахнув пальто, сел в длинном, забитом людьми ряду. В здании вокзала стоял смрад бесцельно бродили из стороны в сторону усталые пассажиры, изредка из динамиков доносился однотонный канцелярский голос диспетчера: «...объявляется посадка...», «на первую платформу второго пути...», «граждане пассажиры...»

Богдан посмотрел на часы. Как скоротать время? Куда пойти, куда податься... Если бы лето — куда ни шло, но сейчас на улице самые лютые февральские холода. Ладно. Бутылки проверены, нужно уложить «дипломат» в автоматическую камеру хранения. Автоматы, как наставленные друг на друга улья, стояли в глубине здания, в самом торце. Сделано. Теперь... Теперь и потом... Ими оказались автобусная экскурсия по городу, два сеанса в кино, на одном из них Богдан вздремнул. Обед и ужин. Все.

Поезд, светя двумя фарами, надвигался из темноты, как выползающая из логова дымящаяся голова дракона. Лениво, громокая под фонарями, вытянулся вдоль заснежен-

ного поскрипывающего под каблуками перрона. Люди рассыпались — каждый к своему вагону.

Богдановский вагон был прицеплен к хвосту поезда. Продрогший от холода, быстро вилял меж такими же спешащими пассажирами, обгоняя их, чувствуя позади быстрый скрип по снегу, взобрался на подножку. Оглянувшись, удивленно замер: нетерпеливая толпа катила к этому же последнему вагону. Богдан еще не знал, что эти обгоняющие друг друга, с лихорадочным блеском в глазах люди уже были одной массой, одним телом того потока, той толпы, которая дальше — до самого хутора сохранит свое недовольно-единое движение. За лекарством. За жизнью!

Снизу, с платформы, уже раздались раздраженные крики. Богдана тут же втокнули в тамбур, дальше по узкому проходу в глубь тускло освещенного плацкартного вагона. Где-то в середине Богдан повернул влево, повинувшись уже воле подсознания, в шапке, дубленке, сапогах взобрался на верхнюю полку. На освободившееся место стала закутанная платками женщина, нырнула под полку к окну. В мгновение открытое плацкартное купе забилося пассажирами. Люди плотно сидели на полках, несколько человек влезли на вторую, соседнюю от Богдана, полку. Вагон все наполнялся. Люди, точно песок, заполняли все свободное пространство, тесно выстроились в проходе, заслонив телами окна. Кто-то половчее, как поднимающаяся антенна, вынырнул из голов, поднялся на третью, багажную, полку. По его примеру кто-то еще тут же вскарабкался вверх. От людских тел в вагоне сделалось темнее, в полумраке поблескивали близко посаженные пары глаз. Вагон казался чьим-то затхлым нутром, плотно набитым телами, головами, руками, вздохами, перебранкой, руганью. Богдан, вытянувшись на полке, с удивлением и каким-то незнакомо-острым чувством заброшенности человеческой жизни прислушивался к жалкой и в то же время страшной людской массе, в которой затаилась клокочущая и непредсказуемая энергия.

Кто-то из стоявших внизу чертыхнулся в адрес «устроившегося, как король» Богдана и, через паузу, расчихивая соседей, вскарабкался к нему; вытянувшись рядом, долго ерзал и наконец, пристроившись поудобнее, пробормотал:

— Другие тоже люди.

Решительные действия неожиданного соседа, хотя поначалу показались наглыми, потом, в этой словно эвакуационной ситуации, выглядели вполне естественно: казалось, весь город Верхний, спасаясь от какого-то террора,

хотел удрать именно в этом вагоне. Разве что люди еще не лезли в окна и не взбирались на крышу.

Богдан, зажатый стенкой и широкой от пальто спиной соседа, лежал, как в темном, узком и душном ящике — ни повернуться, ни согнуть в коленках ноги. Что там творилось, в мрачной темени купе, за стенами вагона — неизвестно.

Но вот дрогнул, со скрежетом дернулся поезд. Медленно, словно пробуя рельсы на прочность, пошел тяжелой натруженной поступью, но с минутами набирая скорость, все быстрее и быстрее стучал на стыках рельсов.

Постепенно в вынужденно тесном многолюдье вагона: плечом к плечу, бок о бок, когда близко слышно дыхание соседа, — люди свыклись с неудобствами, духотой.

За стенками вагона стояла морозная звездная ночь. Длинный состав, поблескивая под лунным светом, как черное сверкающее тело змеи, скользил по белым заснеженным полям, извивался на поворотах, входя в лесную черную массу, сливался с ней и, выныривая из лесов, вновь черной сверкающей змеей скользил по снежным бескрайним полям, под эластичным звездным небом.

Казалось, распахнулась вокруг единая мудрая красота, где все предназначалось друг для друга и могло существовать лишь в этом единстве: звездное небо — чтоб пролиться мерцающим светом на белоснежные просторы, бескрайние искристые снеговые поля — чтоб летело по ним красиво сверкающее змеиное тело поезда. Мчащийся в ночных просторах поезд — чтоб неподвижная красота неба и полей не была покинутой и мертвой. И чем больше завораживала расплескавшаяся, будто невзначай, красота лунной ночи, тем большей насмешкой над всем живым и его болью казался последний вагон, в котором неслись затаенные на время людские надежды, ненависть, любовь, человеческая безропотность, зло и усталость. Но затаенные в душах, они были холодным равнодушным взором мира. И может, как этот последний вагон в ночи, одинокая земля мчит в промозгой бесконечности, в своей извечной надежде, извечном поиске бессмертия, бессмертного справедливого Бога, неуловимой истины — этого никем не изведенного спасительного лекарства.

Но, может быть, и наоборот, холодно мерцающая бесконечность насмешливо мчит перед глазами человеческой печали, утаивая от усталой людской тоски, любви, покорности, зла и ненависти — бессмертие, бессмертного справедливого Бога и это не изведенное никем спасительное лекарство — истину.

Поезд сбавлял скорость. Словно усталый после гонки волк, дотягивал последние шаги, притихал. Взвизгнули, длинно заскрежетали тормоза. Поезд дернулся, точно вложив в этот последний рывок оставшиеся силы, замер.

Зашевелился пробуждавшийся вагон. В купе стоял полумрак. Сосед Богдана приподнялся на локте, всматриваясь в происходящее внизу.

— Вехи! Граждане, Вехи! — донесся предупреждающий тонкий голос проводницы. — Поторапливаемся!

Но люди уже узнали свою станцию, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, недовольно бормотали, подталкивая друг друга в спины. В вагоне забился громкий плач разбуженного ребенка.

— Господи Боже мой, бедное дитя! --- раздался чей-то сострадательный голос.

Богдан подумал об Алле, вспомнился ее прощальный взгляд: «Ты спасешь, папа...»

Все же лежа, вперив взгляд в темную плоскость верхней полки, ждал, пока слезет непрошенный сосед. Ныли намятые бока.

По вагону пошло шарканье ног, движение стало посвободней. Детский пронзительный плач не утихал. Кто-то вновь пожалел разбуженного ребенка, раздались и недовольные, раздраженные голоса: «...успокоить не могут!», «...когда же он заткнется!»

Соседу Богдана удалось наконец свесить ноги и затем сползти вниз. Следом поспешил и Богдан. Плотная людская масса раздраженно вытекала из вагона. На улице стоял крепкий ночной мороз. Старое деревянное здание станции с лампой над вывеской «Вехи», с черепичной осевшей крышей, походило на присевшего озябшего старика-сторожа, со съехавшей набок шапкой.

Десять минут пятого. Холод. Богдан поднял воротник дубленки. Люди, вышедшие из вагона, торопливой очередью, словно муравьиный ручей, текли в неуспевающие закрываться двери вокзала. Непрерывный быстрый скрип снега отлетал от длинной вереницы башмаков, словно десяток зайцев торопливо хрустели капустой.

Богдановский «ПАЗик» стоял на маленькой привокзальной площади под желтым светом уличных фонарей. Возле него уже толпился гомонящий народ. Непривычной и невероятной казалась эта толкающаяся в ночи масса. Небо стояло высокое, в черных пятнах меж звезд, с ясной, словно каленой луной. К автобусу, срываясь на бег, спешили распухшие от зимней одежды люди. Автобус на площади, казалось, был каким-то сообщающимся с поездом сосудом,



и теперь, как и положено по закону, в него устремилась людская масса, вырвавшаяся из поезда.

Богдан втиснулся в толпу, протираясь вдоль мерзлого борта автобуса, а потом уже и под давлением возбужденной, орущей толпы, оказался у подножки, а дальше — его запихнуло в нутро «ПАЗика». Здесь уже не было той свирепой толкотни, которая все больше усиливалась за окнами автобуса. Здесь она перешла в деловую, хотя еще лихо-радочную сумятицу: найти место поудобнее, где меньше было бы давки. Богдану удалось пристроить «дипломат» на верхней сетчатой полке, и теперь обеими руками в кожаных перчатках он держался за поручень. «Сообщающийся сосуд» набился до отказа, но люди еще ожесточеннее давили друг друга у двери, стучали в окна.

Вдруг ночной воздух резанул истеричный женский вопль. Люди в автобусе на мгновение притихли, потянулись головами к окнам. Рядом с толпой, на желтом от света фонарей снегу лежал маленький ребенок. В валенках, шубке, в спущенной на самые брови ушанке, он лежал на снегу, как укутанная черная кукла. Лишь маленький кружок лица, с закрытыми успокоенными глазами желтел под светом фонарей. Из уголка рта стекла и застыла черная ниточка крови. Мать его, сорвав с головы платок, с растрепанными волосами билась на коленях возле ребенка, вскидывая к черному небу обезумевшее лицо. Ребенок был неподвижен. Шубка на груди была примята следами сапог. В нечеловечьем вопле билась мать над маленьким раздавленным ребенком, прижимала к себе безжизненную головку, словно укачивая перед сном:

— Сынок! Где же ты?!

Толпа возле автобуса не обращала внимания, разъяренно ломилась в узкие двери. Мать, как подраненная птица, билась возле ребенка, судорожно скребла руками снег, зажав в кулаки, прижимала к лицу.

— Я же тебя лечить везла-а! Родненький! — залетел в автобус ее истошный, раздирающий душу крик.

При виде раздавленного ребенка и бьющейся рядом матери в притихшем поначалу автобусе вдруг поднялся крик: казалось, в мозгу людей разом родилась одна и та же мысль, и, испугавшись, что вдруг автобус из-за случившегося не поедет, все с бранью набросились на шофера. Водитель, не видевший из кабины происшедшего, напуганный, что толпа с улицы и внутри разнесет автобус, тронул «ПАЗик» с места, со страхом поглядывая в зеркало обзора, медленно повел машину, потом, когда смог закрыть дверь, с облегчением выжал скорость.

Позади, сплюснутый ночным небом, желтел под фонарями прямоугольник вокзальной площади. Неподвижно лежал на снегу раздавленный толпой ребенок. Билась над ним обезумевшая от горя мать, подкладывала под безвольную голову платок, уберегая от мерзлой жесткой земли, и не знала, что это маленькое тельце, это уже белеющее лицо становились частью этой мерзлой горестной земли.

Люди в автобусе, когда он катил по ночным улицам городка, подавленные смертью ребенка, молчали. Но вот, словно виновато отгораживаясь от случившегося, кто-то бросил первое слово, за ним опустилось другое, «ПАЗик» наполнился дорожным людским гулом, подрагивая на дорогах, уверенно катил к спасительным Холмам.

Богдан, все еще пораженный смертью ребенка, стиснув над головой поручень, смотрел в окно, за которым белыми пятнами плыли раскинувшиеся за городком поля.

Видевший за свои тридцать восемь не одну смерть, казалось, никогда он так не был потрясен, как смертью этого ребенка. Маленький, не по-детски успокоенный кружок лица, черная, застывшая на нем ниточка крови и бьющаяся от горя мать, преследовали душу: «...лечить везла...»

Говор в автобусе то затихал, то, возникая вновь, перерастал порою в гул и снова потом замирал. В дороге протряслись сорок минут. Автобус, громяхая на всю округу, въехал в уснувшие под снегом улицы какого-то поселка или села. Остановились на широкой площадке. Единственный фонарь высоко горбился над маленькой, с газетный киоск, будкой: «Касса».

Вышли из автобуса уже без суеты, прежней давки. Предутренний мороз мгновенно прихватил отогревшееся в автобусе лицо. Богдан ткнулся носом в воротник дубленки... Неуклюже поворачиваясь, огляделся. Автобусная площадка лежала на широкой, по-сельски просторной улице. Деревянные срубы смотрели в зимнюю ночь заиндевелыми окнами. Поселок спал. Пассажиры автобуса на несколько минут разбрелись, рассыпались по площадке, поскрипывая по снегу, занялись каждый своим. Кто-то достал из сумки термос, шумно хлебнул чая; плотный мужчина в синей спортивной шапочке налаживал лыжи, кругом плясали огоньки зажженных сигарет. Толпа занималась своими делами, и в то же время стояло какое-то одно общее ожидание, люди приглядывались друг к другу.

Кто-то обнаружил на дощатой стенке кассы приклеенный лист бумаги. Красные печатные слова сообщали, что за незаконное лечение такой-то знахарь, житель Холмов, арестован.

У листа сгрудилась толпа, каждый по несколько раз жадно перечитывал красные буквы.

Но, несмотря на это предупреждение (люди верят до последнего), в какой-то момент вдруг началось движение. Никто ни у кого ничего не спрашивал, но каждый торопливо присоединялся к потекшему за площадку людскому ручью.

По каким-то волнам, каким-то невидимым импульсам люди поняли, что всех их объединила одна цель: лекарство, знахарь. Даже те, кто, сойдя с автобуса (а таких было большинство), не знали, куда идти дальше и где эти самые Холмы, увидев, что, слившись в один ручей, толпа утекает с площади, не расспрашивая, не уточняя, пристраивались к уходящим в ночной пролет улицы. К ним присоединился и Богдан. Это было похоже на какой-то молчаливый сговор.

Площадка опустела. Под желтым светом фонаря на снежном пятачке одиноко стоял автобус, вокруг него уже валялись клочки бумаги, разорванные кульки, окурки с черными погашенными носами.

Людской поток, вынырнув из поселка, оказался на лунном заснеженном поле. Вдали черной стеной стояла лесная гряда. Черное звездное небо, казалось, стекало у горизонта в эту черную лесную полосу. Богдан на секунду невольно замер. Великая звездная ночь вызывала удивление и какой-то радостный испуг.

Тут же Богдана подтолкнули. Еще раз обьяв глазами это властное звездное небо, бескрайний простор заснеженного лунного поля, Богдан устремился за людьми.

Теперь толпа знала, что она есть, что она — толпа, что у нее одна цель: поскорее добраться к долгожданным Холмам. Теперь стихийно родившийся еще в поезде закон, что первыми придут самые сильные, стал негласно обьявленным законом. Каждый в толпе старался быть этим сильным и первым.

Началась гонка.

Поначалу полные сил люди шли плотно, шаг в шаг по утоптанной метровой дорожке. Это пока еще единое тело напоминало скольжение черного ящера по снежной пустыне.

Быстрый ломкий хруст снега разносился в ночи далеко вокруг. Еще некоторое время назад, замерзавшие, унылые люди, теперь, забыв о морозе, бежали след в след, обгоняли друг друга на протянувшейся к лесу утоптанной снеговой дорожке. Каждый, слыша за спиной обгоняющее дыхание, прибавлял шаг, торопился, никто не хотел ока-

заться в хвосте. Все знали: пришедший первым — первым получит долгожданное спасительное лекарство и лечение.

В лунном свете лихорадочно горели глаза, мелькали торопливые ноги, в чьи-то спины сыпалась брань, злое бормотанье.

Лунный желтый глаз прицельно бил в хребет скользящего по снегу «ящера». Причудливые сутулые тени падали от него на снежную гладкую кромку поля, черной лохматой полосой скользили вслед за толпой. Со временем «ящер» — человек пятьдесят-шестьдесят — вытянулся в длинную змею. Более слабые отставали, оказывались позади. В этой растянувшейся по снежному полю странной ночной толпе уже наметились впереди самые сильные.

Плотная широкая фигура Богдана с «дипломатом» в руке виднелась где-то в середине людского скользящего ручья. Впереди него, держась за руки, торопливо шла молодая пара. Кто они? Молоденькие муж и жена? Ради кого бегут в этой холодной покинутой ночи? Может, дома их ждет кто-то из больных родителей, братьев? Может, младшая сестра, такая же, как Алла? Родная Алла Богдановна... Ничего... Скоро лекарство будет дома.

Быстрый скрип по снегу. Громкое дыхание, суровая напряженная торопливость идущих сзади и спереди.

Вот уже лунное поле ткнулось в лесную грядку. У входа в нее толпа, словно единое тело, почувствовала ускорение, которое мгновенно передалось по всему «хребту». Точно здесь, в начале угрюмой лесной полосы начинался какой-то новый, важный этап в этой гонке. А может, это было желание поскорее вырваться из плена угрюмых стен, которые с обеих сторон близко подступали к дорожке, словно пытаясь сжать в тиски скользящую по снегу людскую «змею». Черные в ночи деревья, как будто обугленные после жадного пожара, высоко поднимались над белой полосой узкой просеки. На этом густом, черном массиве, как на тропе, покоился промерзлый, светлеющий к утру лунный диск

Несколько человек, тяжело дыша, обошли Богдана. Быстрый, тревожный скрип снега, плотные черные стены вдоль дорожки. Справа с макушек вспорхнула ночная птица. Распластав крылья, как в бреющем полете, она пролетела над головами.

Впереди Богдана, человек на шесть, послышался легкий вскрик. Толпа, не переставая течь, обходила упавшего на дорогу старика. Он поднимался, но всякий раз, пробуя стать на ноги, заваливался на бок.

— Помогите! — вскинул он голову, укутанную ушанкой. — Люди! Помогите!

Старика никто не замечал, человеческий поток, словно ручей, ткнувшийся в камень, стал обтекать его. Ускорившееся движение стало еще напряженней и суровой. Скользнул мимо старика и Богдан.

— Люди! — донеслось со спины.

Богдан, все еще продолжая идти, но уже отделившись от толпы, оглянулся, снова шагнул вперед и снова взглянул на старика. Его, лежавшего на снегу, никто по-прежнему не замечал. Богдан следил, как утекала вперед людская змейка, метнулся было вслед, но тут же, чертыхнувшись, повернул назад, к старику.

Радостно, с надеждой блеснули стариковские глаза.

— Спасибо, сынок, спасибо! — благодарил он, ухватившись за рукав богдановской дубленки. — Дай Бог, чтоб исполнилось то, за чем ты идешь! Мир не без добрых людей!

Богдан взял «дипломат» в левую руку, подставив старику плечо, ухватил за спину. Но на подвернутую левую ногу старик опираться не мог. Таял впереди черный ручей людской толпы.

Стояли в растерянности, не зная, что предпринять. Старик попробовал через силу сделать шаг, но, охнув, выскользнул из рук Богдана на снег.

Снова Богдан помог подняться, крепче обхватил стариковскую спину:

— Попробуй, отец, еще! Давай!

Опираясь на плечо Богдана, старик, почти не ступая на больную ногу, чиркнул по дорожке правой. Снова опора на плечо, легкое касанье больной ногой и шажок. Еще раз. Еще. Еще.

— Все. Не могу, — виновато выдохнул старик.

Людской поток, далеко ушедший вперед, казался среди черных стен леса маленькой фигуркой, маячившей в узком далеком коридоре.

— А ну, попробуй потянуть! — Старик виновато опустился на снег, вытянул ногу.

Богдан схватился за ботинок, рванул стопу. Старик глухо простонал, отдышавшись, попробовал было подняться, но тут же осел на снежную дорогу.

Богдан в растерянности стоял над ним, с тревогой глядя на все больше таявший людской поток, лихорадочно думал, что предпринять. Упускать людей из виду ни в коем случае было нельзя, иначе он просто может заблудиться, а если и не заблудится — ведь неизвестно, куда

выйдет. «Я знаю, ты спасешь!» — увиделось лицо дочери, ее прощальный, с надеждой взгляд: «Ты спасешь, папа!»

Вдалеке последняя фигура растаявшей людской толпы, как узкая и черная сбитая мишень, упала за горизонт, слилась с ним. «Все», — дрогнуло сердце.

— Беги, сынок, — тихо проговорил старик. — Беги. А я как-нибудь.

Богдан посмотрел на подступавшую близко черную стену леса, ткнув старику «дипломат», шагнул в поле. Проваливаясь по колено в снег, падая, дотащился до первых деревьев; сломал ветвь потолще, очистил ее от веток. Поднял старика, сунул в руку наспех сработанный посох:

— Я дороги не знаю. Дойду, пошлю помощь.

— Иди, сынок. Иди. Я как-нибудь. Ничего, не пропаду. Я войну на обе лопатки уложил, не такое было. А ты можешь не успеть... Очередь займи.

— Обязательно. Держись, отец! — Богдан на прощанье взглянул в спокойные глаза старика, подхватив свой «дипломат», бросился догонять толпу.

Оглянулся. На белой дорожке меж черных стен леса стояла неподвижная, ссутулившаяся фигура старика.

Богдан перешел на бег.

За лесом распахнулся белый от снега бескрайний простор полей. Светало. Вдалеке маячила уже разорванная цепочка из людских фигур. Богдану вспомнился ребенок на площади, фигура старика в лесу, он ускорил шаг.

Холмы показались неожиданно, словно из-за горизонта поднялось два верблюжьих горба. Название хутора, наверное, пошло отсюда — от двух холмов, по склонам которых, как жуки, разбежались дома.

Побелевшая, словно заиндевевшая, луна уже была под цвет утреннего пепельного неба, сливалась с ним, меркла далеко за спиной. Раннее зимнее утро вошло на Холмы.

Дом старика-знахаря стоял на дальней горке, на плоской, точно плато, вершине. Это был деревянный старый сруб, обнесенный ветхим плетнем.

Возле знахарских ворот толпились усталые, унылые люди: старик и вправду был арестован. На двери дома был наклеен белый лист, с красными буквами, такой же, как у кассы в поселке. Но приехавшие издалека люди толпились у калитки, что-то выжидали и, несмотря ни на что, успели завести тетрадку со списком очередности. Богдан оказался восемьдесят девятым. Надеялись, бодрились разными слухами: «Старика отпустили», «Старика вообще не

сажали, а плакат на двери — это только для отпугивания приезжих».

Многие уже сняли квартиры: раз приехал, да еще из таких далей, не выждать день-другой — это непонятно...

На стариковском холме Богдану квартиру снять не удалось, опередили. Пришлось тащиться назад. Хозяйка, женщина лет пятидесяти, вышедшая в валенках, рабочей синей телогрейке и вязаном платке, поначалу хмуро отказывала: «Уже и так есть двое». Но предложенные пятнадцать рублей за каждые сутки сделали ее гостеприимной.

На низком дощатом крыльце Богдан обстучал с сапожек снег, обмахнул брюки веником. За скрипучей, на старых петлях дверью оказались в большой комнате. Печка. Две железные кровати. Стол. Три окна.

— Вот там будешь спать,— хозяйка кивнула на койку возле окна и пошла перестилать.

Тепло домашнего очага после ночи на морозе расслабило, обогрело душу. Им овладела приятная сонливость. Богдан разделся, повесил на вешалку возле дверей пиджак. Осмотрелся.

Одна кровать была пухлой, как поднявшееся тесто. На подушке виднелись две головы: мужская и женская. Женская голова из белой постели внимательно следила двумя темными кружонками глаз.

— Можешь ложиться после дороги. Чайку заварить? — тихо спросила хозяйка.

— Нет,— хотелось быстрее нырнуть в постель.

— Ну ладно, отдыхай,— хозяйка вышла.

Богдан, в теплых носках, мягко ступая по все же скрипнувшим половицам, двинулся к долгожданной постели.

Пара женских глаз по-прежнему посматривала на него. Из-под одеяла вынырнули две легкие руки, одеяло сползло на грудь, обнажив длинную шею, овалы маленьких плеч, разметавшиеся на белой подушке каштановые пряди волос. Раскосые карие глаза обдали ухмылкой осторожно ступающую на носочках крупную фигуру Богдана.

— Здрасьте! — окаченный насмешливым взглядом, с неловким шепотом кивнул он.

— Здрасьте! — неожиданно громко получил Богдан в ответ.

Мужская голова неподвижно лежала на второй подушке.

Стройная рука незнакомки скользнула к полу и, играючи, как маятник, пошла вдоль кровати: вперед-назад, вверх-вниз. На секунду озадаченный, Богдан с оглядкой разобрал постель, в брюках нырнул под одеяло, стянув их под

ним, навесил на железную крашеную спинку кровати. Благодатно расслабившееся тело забылось во сне.

Проснулся с мыслью о старике. Двенадцатый час. Добрался ли старик? Где он сейчас?

Придя на Холмы, Богдан обратился в два-три дома, но везде был почти одинаковый ответ: «Помочь ничем не можем», «Начальство за тридевять земель».

Но, может быть, старик добрался сам... За четыре часа все-таки можно... В любом случае — сейчас день, а что может случиться с ним днем?.. На душе вроде бы полегчало.

Соседи Богдана, умытые, одетые, наверное, уже давно уныло сидели за столом, допивали чай. Молчаливо скользнули взглядом в его сторону. Женщине было лет сорок. Красивое лицо. Карие глаза теперь выглядели усталыми, словно за четыре часа после сна случилась какая-то неприятность. Муж ее — сутулый человек, лет сорока пяти, с быстрым недовольным взглядом. Вдоль длинного его лица почти до скул свисали длинные лохматые бакенбарды. Отчего-то они раздражали. Казалось, от висков по обеим сторонам щек свисали волосатые петушинные ноги. Муж подозрительно подслеживал за женой.

Та безразличными глазами оглядела Богдана, повернулась к заиндевелому окну: одевайся, мол, пассажир. Муж громко, со всхлипом потянул из стакана чай. Тут же карие глаза искоса окатили его ненавидящим взглядом. В комнате стояло густое немое отчуждение.

Одевшись, Богдан мимоходом бросил к столу короткое «здрасьте». «Висячие бакенбарды» буркнули ответное «здрасьте», поворотили к окну длинное недовольное лицо.

Ноги хмурого незнакомца были укрыты зеленым пледом. Богдан понял, что к знахарю привезли лечить этого мужчину.

— Говорят, отмечаться надо, — оглянулся в дверях Богдан, уже одевшись на ходу.

В ответ «бакенбарды» лишь повторно, с громким всхлипом, потянули из стакана чай.

«Ну и хрен с вами», — чертыхнулся в душе Богдан, выйдя на морозный воздух. Поднял воротник. Скрипящий под ногами снег. Богдан повнимательней (в первый раз было желание скорей дотащиться до тепла) осмотрел дом. Невысокий сруб, как у старика. По периметру двора стоял невысокий забор, к воротам подчищена дорожка.

Дома на этом, как и на знахарском, холме стояли вразброд: ставили их, наверное, кому где нравилось.



Опускаясь к седловине, Богдан услышал за спиной скрип шагов. Сзади, осторожно ступая шаг за шагом, сходил соседка Богдана. Богдан сошел к седловине, оглянулся и вновь хотел было пойти дальше, но стало жаль боязливо спускавшуюся женщину.

— Решил на всякий случай подождать,— оправдался перед ней Богдан.

— На какой это всякий? — хмыкнула женщина.

— Вы так спускались, думаю, вот-вот покатится...

— Не покати́лась бы. Не впервой.

Медленно пошли по седловине.

— У вас, наверное, муж?.. — осторожно спросил Богдан ершистую спутницу.

— У меня, наверное, муж,— искоса взглянула она. Соседка еле доставала Богдану до плеча. — Информация небось по душе? Можно и к штурму приступить...

— Я не штурмовик.

— Все сначала не штурмовики. А стоит узнать, что у женщины муж болен, набрасываются, как на дармовой кусок.

Богдан посмотрел на сердитое красивое лицо, обрамленное белой пуховой шапочкой, невольно улыбнулся. Сердитая спутница в этой легкой с бубенцами на концах ушанке выглядела, как обиженная школьница.

— Что улыбаетесь?

— Вы в этой шапочке на одуванчик похожи,— улыбнулся Богдан.

Карие, раскосые глаза спутницы на всякий случай посмотрели с насмешкой:

— А говорите не штурмовик. Невинный ягненок...

— Я и вправду за женщинами не бегаю... Однолюб.

Глаза спутницы быстро втекли в Богданову душу, что-то там прощупав, раскрыли:

— Почему же?

Они встретились взглядами и вдруг рассмеялись ее вопросу. И оба в это мгновение почувствовали, как раскрылись друг другу.

— Просто вы такой сильный, красивый. Вроде самый раз женщин совращать,— оправдалась незнакомка.

Богдан пожал плечами.

Дорога пошла в гору. Женщина в белой шапочке, кроличьей шубке, осторожно, боясь скатиться вниз, передвигала замшевыми сапожками, расправив ворсистые от шубки локти, походила на белого медвежонка, еле удерживающего равновесие.

— Однолюб, хотя бы даме руку подали! — сердито произнесла незнакомка. — Помогать дамам не запрещается.

Богдан послушно подал руку. Подъем осилили дружно, познакомились.

Возле стариковского дома, как и утром, стояли унылые, замерзшие люди. От холода постукивали ногами. Человек пять-шесть. Богдан узнал среди них лица из автобуса. Снова подумалось о старике.

Тетрадки со списком ни у кого не было. В ожидании, что вдруг откуда-то появится хоть какая-нибудь весть о знахаре, ругали власти:

— Сами не лечат и людям не дают!

— Все загубили!

Недовольные разговоры кружили вокруг ареста знахаря.

Богдан с новой знакомой Тиной, с полчаса потоптавшись вокруг стариковского дома, решили возвращаться к себе на квартиру.

— Сегодня и завтра еще побуду здесь... Приехал все-таки,— озабоченно произнес Богдан, с болью вспоминая слова дочери: «Ты спасешь, папа!»

— Да,— выдохнула Тина. — Все потом на душе будет легче... А так... Ладно, пойдемте. Хоть и не хочется туда возвращаться...

Богдан понял, что «туда» относилось к ее мужу.

— Холодно! — бросила она. — Вообще, все холодно. И жить холодно...

Прежде чем вернуться домой, Тина показала Богдану хуторской магазин. Больше похожий на ферму, с забетонированным полом, с одним зарешеченным окном, он стоял на первом холме, метрах в пятидесяти от их дома.

Как и во многих сельских магазинах, здесь в одном длинном помещении рядом с продовольственными витринами были полки для хозтоваров, в торце на вешалках висели попеременно пальто, платья, костюмы, халаты. Под хлебной полкой валялись замасленные пилы, молотки, топоры, косы. На продуктовой витрине, точно красные шашки, на доске лежали консервы и с краю желтел кирпич старого пористого сыра.

Продавщица, женщина лет пятидесяти, в пуховом платке и черном рабочем ватнике, с любопытством посматривала на Богдана и Тину.

Сбоку от нее, на маленькой подставке для цветов, стояла бутылка водки.

— Самое главное есть,— усмехнулся Богдан.

Три банки консервов, картошку, хлеб, две бутылки водки уложил в купленную здесь же красную сетку.

— Зайдите после меня... Минут через пять,— попросила Тина. — Не замерзнете, надеюсь...

— Не замерзнем. А замерзнем — лекарство есть,— с улыбкой он показал на сетку, из отверстий которой вылезли два горлышка с желтой пробкой.

До вечера Богдан провалялся в постели. Лишь изредка выходил на воздух — перекурить. Муж Тины сидячим сторожем весь день прокараулил жену. Уткнувшись у окна в книгу, стоило той куда-то пойти, остановиться, искоса подслеживал за ее движениями.

Телевизора не было, лишь радиоточка — черный пластмассовый кирпич — издавала из крупной сетки динамика невнятное бормотание, которое нельзя было сделать ни громче, ни тише.

Вечером Богдан еще раз сбегал на знахарский холм. Все было так же: несколько человек топтались у плетня, поглядывали на дверь, на которой по-прежнему висел лист — сообщение об аресте старика.

Дома Богдана встретили вопросительные глаза Тины и ее мужа.

— Ничего хорошего! — глухо ответил он.

Богдан отварил картошку, открыл консервы, поставил на стол бутылку водки:

— Давайте за знакомство,— пригласил он.

— А разве мы знакомы? — «Бакенбарды» усмехнулись.

— Его зовут Викентюшка,— язвительно вставила Тина.

В ее сторону тут же ткнулся выразительный взгляд исподлобья.

— Богдан,— с неловкостью, когда невольно оказываешься свидетелем чьей-то ссоры, произнес Богдан.

— Тина. Вот и познакомились! — Она задвигала стульями, стала быстрой и вызывающе внимательной к Богдану.

— А это с нашей стороны,— она поставила на стол баночку красной икры, нарезала тонкие ломтики сала. — Пить будем, гулять будем! — Усевшись за стол напротив мужа, потерла аккуратными ладошками, словно в предвкушении давно желанного удовольствия.

— Я не узнаю тебя, Тина! — укорил Викентюшка.

— А ты вообще меня знал?! И давай, пожалуйста, не будем! Прошу тебя! — умоляюще произнесла она.

— Я не пью! — Викентюшка накрыл стакан пухлой ухоженной рукой.

Богдан пожал плечами: как знаешь, мол,— но рука его в растерянности замерла над столом. Он не знал, наливать Тине или нет.

— Что же вы? Лейте! Здесь... действительно, только и пить. А Викентию мы чайку нальем,— она сняла с раскаленной печки чайник, налила мужу хорошо заваренный, сверкающий под светом чай.

Сквозь рисунки морозного окна заглядывала в комнату ночь.

Богдан, плеснув Тине чуть меньше половины стакана, свой наполнил доверху:

— Ладно, за все хорошее,— на одном дыхании опорожнил стакан.

Тина с удивлением, чуть раскрыв маленький ротик, с одобрением проследила, как расправился Богдан с водкой, смачно крикнул.

Викентий многозначительно ухмыльнулся: вот, мол, они какие, алкаши,— и недовольно сверкнул глазами в лицо жены.

Тина, повертев стакан в руках, отодвинула в сторону.

— Знаете, это я просто так хорохорилась. Я не пью... тоже. Извините,— тихо произнесла она. Былого удальства как будто и не было.

— Я решительно удивлен! Человек меняется прямо на глазах! Что это у нас такое неровное настроение?! Хотя в общем все понятно! — съязвил Викентий.

— Что решительно? Что понятно?! — тихо, с закипающим гневом протянула Тина. — Что тебе от меня надо?! Что ты следишь за каждым моим шагом?! Сколько можно?! — сорвалась она на крик. — Я за тобой, как собачка, бегаю! Все эти четыре года я тебе отдавала всю себя! Я света белого не вижу! Ты неблагодарен! — припав лицом на лежавшие на столе руки, она заплакала.

Викентий отворотил лицо к ночному окну. По длинной щеке ползла разлохмаченная, с проседью бакенбарда.

Ткнувшись глазами в стол, Богдан машинально дожевывал кусок. В какое-то мгновение показалось, что сквозь всхлипывание Тины отчетливо послышался ритмичный звук его работающих челюстей. Богдан сглотнул, набросив на плечи дубленку, нахлобучил шапку и вышел на воздух.

Ночь. По огромному черному куполу неба, как светящиеся зерна, разбросаны звезды. Луна и снег освещали пространство — ясно были видны приплюснутые к небу голые макушки деревьев. На заснеженных крышах приземистых хуторских домов дымили трубы. От морозной безветренной ночи дым поднимался вертикальным лучом. До-

ма казались причудливыми избушками, в которых притаилась людская жизнь.

Как все казалось мирным, какое согласие между всем, что существует вокруг: темное небо — чтобы выделялись звезды и луна, звезды и луна — чтоб мирным светом были напоены заснеженные просторы. Даже дым из труб — как знак того, что теплится, не замерзла людская жизнь. Все казалось мудрым и вечным. Но сквозь дверь до Богдана все еще доносился бранящий мужской голос, следом слышался женский плач. Под этим же небом где-то в тюремной камере заперт старик-знахарь, арестованный за желание помочь людям. Далеко отсюда, в этой ночи, может быть, сейчас думает о нем Алла, ждет лекарство, которое, старик, наверное, уже никогда не приготовит, в своей времянке под этим же небом прислуживает картежникам бывший лучший Директор школ богдановского Города, под этим же звездным небом лежал раздавленный толпой ребенок и билась над ним молодая мать. Как же тогда смотреть на согласие мира? Да и в чем оно? Наверное, в том, чтобы красота высоких звезд, безграничных небес, и светлых заснеженных полей оттеняла уродство, беспомощность и горечь неустроенной, заброшенной человеческой жизни. Для того, чтобы величественное присутствие мира порождало страх, зло, растапывало неокрепшую душу, вселяло ужас непостижимости.

Богдану припомнился ясный день золотой осени, когда мир увиделся, как необъятный простор, полный одновременной осмысленной жизни: птицы в своих небесах, человек на своей земле, плоды на своих деревьях, рыбы в морях — везде и одновременно шла жизнь, одновременная и мудрая.

Но теперь в эту черно-звездную зимнюю ночь одновременность, казалось, была предназначена для горестей, изгнаний, болезней. Казалось, во всем мире не могло звучать радостного смеха, песни, а отовсюду — одновременно: тек горький стон, слезы и тоска.

Эту ночь Богдан почти не спал. В полухмельном состоянии, боясь лишней раз из-за скрипа пружин повернуться с боку на бок, изо всех сил пытался прикинуться спящим. Но тревога, боль, что, наверное, придется возвращаться ни с чем, не подпускали сон. Если старика завтра не будет, первый раз в жизни Богдан вернется домой ни с чем. Такого еще не было.

Долго засыпали Викентий и Тина. В лунном полумраке видны были ее матовые на простыне аккуратные ладони, падающие на плечи пряди волос. Пару раз Викентий и Ти-

на перебросились тихими фразами, в тишине прозвучал легкий звук поцелуя.

Утром все трое отчего-то избегали смотреть друг другу в глаза, словно за ночь узнали одну общую неприятную для всех тайну. Лишь за чаем, когда пообтерлись об эту «тайну», попривыкли к ней, стали забывать ее, казалось, даже раскрылись друг другу.

— Если Богдан будет так любезен отметитья за нас, я бы попросил тебя, Тина, минут десять побыть со мной на воздухе... Отметитесь, Богдан? — спешно попросил Викентий.

— Какой разговор,— пробасил тот.

...Если б даже старика-знахаря на глазах у людей под конвоем посадили в машину и увезли, то и тогда, наверное, осталась бы неизменная горсточка отчаявшихся, которая б долго еще стояла в ожидании какого-то чудесного возвращения старика.

Стоял морозный ясный день.

Возле знахарского плетня, от холода пряча носы в воротники и платки, собралось человек шесть-семь мужчин и женщин. Как обычно, хмурые, недовольные, бранили власти, которые «и сами не лечат, и другим не дают...»

Богдан спросил о тетрадке со списком.

— Какие уж тут списки! — в сердцах пробубнила одна из женщин. — Тут хоть бы его самого одним глазком увидеть.

— А может, и нет никакого старика? — настороженно предположила другая. — Может, все это сказки, что лечит, то да се... А на самом деле никого и нет?! — она таинственно обвела всех глазами.

— Скажут тоже! А вон то тогда что? — вступил в разговор стоявший за их спинами мужчина в черной кроличьей шапке. Он кивнул на дверь дома с листом об аресте старика.

Богдан закурил с «черной шапкой» по сигарете. Подошли еще двое. Обращало внимание, что, несмотря на большую разницу в возрасте (одному двадцать один или двадцать два, другому — лет сорок пять), разговаривали они приятельски, точно ровесники. Старший был хорошо одет — в норковой шапке, дубленке, белый шарф, выглядывавший из-под воротника, подчеркивал живые, цепкие глаза. Второй был одет в фуфайку, поношенную ушанку.

Стояли двумя группами: отдельно кружок мужчин, поодаль — горстка женщин. Разные люди, разные жизни: от

забитых, без выражения лиц, до интеллигентов. В лохмотьях и богато одетые. Но все они сейчас были равны перед неизвестностью и беспомощностью. Это была единая масса беды.

Богдану подумалось, что кто-то из них, а может быть, и все бежали сквозь лес в одной цепи. Вспомнился старик. Спросил. Но никто не встречал, не знал, да, наверное, и не хотел знать.

От холода пританцовывали на месте, стараясь согреть ноги.

— Холод собачий. Даже не верится, что когда-то было лето, люди ходили на сенокос,— мужчина в норковой шапке кивнул на косу, пристроенную на стене знахарского сарая.

Неожиданно в морозном воздухе послышалось натужное урчание автомашины. Через минуту-другую из-за заснеженного холма появился темно-зеленый приплюснутый нос «УАЗика».

Толпа разом притихла, потянулась глазами в сторону подъезжавшей машины с брезентовым верхом.

— Неужто старика освободили? — с боязливой надеждой выдохнул старческий голос.

За машиной, на пригорке, появились торопливые фигуры, бежали, как в атаке за танком.

Из домов поблизости, услышав шум мотора, высыпали возбужденные люди. Кто-то на ходу влезал в пальто, застегивал шубу, нахлобучивал шапку.

«УАЗик» остановился возле стариковской калитки и сразу же оказался в плотных тисках толпы. Томительную минуту из машины никто не выходил. Потом разом с одной стороны открылись обе двери, из машины выпрыгнул плотный, в синей милицейской шинели скуластый капитан.

— Дорогу, товарищи! Посторонитесь! — пророкотал он, отодвигая людей от машины.

По образовавшемуся коридору пришли к дому знахаря двое в штатском.

— Он? — спросили в напряженной толпе.

— Вроде бы нет.

— Какой там он?! Это из начальства. Вон какие расфуфыренные!

— Как будто никого и не видят! — глухо выползло из толпы.

«Начальство» тем временем быстро скрипело по снегу к дому.

— Где старик? — ударило им в спины.

Толпа (набежало человек пятьдесят) с угрозой поперла плетень. Послышался треск досок. Капитан, стоявший во дворе, властно придавил рукой калитку:

— Назад! Дом разнесете!

— Что сделали со стариком?! — с угрозой метнулось из толпы.

— Где лекарь?!

— Верните старика! — Гнев заждавшейся толпы накопал быстро, походил на валун, который угрожающе замер на склоне горы, и стоило только прикоснуться к нему — он тут же сорвался бы вниз, увлекая за собой яростную лавину.

Капитан быстрым прицельным взглядом метнул по напиравшей на плетень широкой, как волна, толпе.

— Назад! — скомандовал он.

Двое в штатском уже возились с замком на двери.

— Убийцы! Верните старика!

— Судить их самих! — взревела толпа.

— Остановитесь! — Капитан вскинул руку.

— Старика!

— Врача!

— Судить их!

— Судить!

— Дави нехристь!

— Бей их!

Калитка под напором толпы распахнулась, отшвырнула капитана.

Пожилая женщина со сползшим на затылок платком метнулась к домику. Капитан успел схватить ее за руку, но та вырвалась, отлетев в сторону, завалилась на спину. Толпа охнула, замерла, напряженно глядя на распластавшуюся на снегу женщину. Седые пряди, вылезшие из-под платка, сползли на примятый снег. Женщина, сев на ноги, как в молитве, подняла тяжелый взгляд.

— Сволочи! Все загубили! — глухо выдавила она. — Звери! Все изничтожили! Народ изничтожили! Все испоганили!

— Давай поднимайся... тут...! — с неприязнью отвернулся от нее капитан.

— Дави его!

— Бей гада! — накалялась толпа, втекая в калитку.

От нее отделился одетый в дубленку, с белым шарфом сорокапятiletний мужчина:

— На кого ты руку поднял, сволочь?! — Он пошел на капитана.

— Назад! — крикнул кто-то из штатских с крыльца.



— На кого руку поднял?! А ну, подними старуху! — Мужчина сделал еще шаг на милиционера.

— Стоять! — вскрикнул тот. — Стоять! Я тебе сделаю «подними»!

Мужчина бросил по сторонам быстрый ищущий взгляд, метнулся к сараю, на стене которого висела коса. Толпа громко выдохнула, словно прокатилась волна.

— Подними женщину, собака! — Мужчина выставил вперед лезвие косы.

— Кто теперь вылечит моего мальчика?! Кто?! — причитала женщина на коленях. — Все уничтожили!

— Подними старуху! Падла! Ну! — Коса приблизилась к милицейской фигуре.

— Дави его!

— Бей!

— Души гадов! — надвигалась раскаленная толпа.

— Назад! Стой, стрелять буду! — Капитан отшагнул, прижал руку к кобуре.

— Стреляй, собака! Стреляй! Ну! — Мужчина угрожающе, словно для удара отвел косу.

Капитан вырвал из кобуры пистолет, но в этот момент лезвие косы полоснуло по шее капитана, с хрустом прошло поверх серого форменного шарфа вдоль затылка. Из толпы вырвались женские вопли.

Подкошенная голова капитана клевком свесилась на грудь. Из рассеченной шеи с хрипом вырвался густой фонтан крови. Тело с опавшей на грудь головой сделало еще шаг назад, рухнуло на окровавившийся снег. Женские истошные крики разносились над Холмами. Чьи-то руки закрыли искривленные ужасом лица, замерли оглушенно десятки глаз.

Из рук застывшего в ужасе мужчины выпала и со звоном ударилась о мерзлую землю окровавленная коса. Секунду он стоял неподвижно, не в силах, точно не веря, отвести круглые в страхе и ужасе глаза. Обернулся на скрип шагов: двое штатских медленно подходили к нему.

Испуганная толпа, как стадо в загоне, заметалась по двору, круша плетень, рассыпалась в разные стороны.

Штатские уже были в нескольких шагах от убийцы, напряженно следили за каждым его движением. Тот лихо радочно бросил глазами по сторонам, увидев на снегу пистолет, бросился к нему, наставив его на штатских, попытался со двора, метнулся к машине. Молоденький шофер, сидевший в ней, сорвал уже урчавшую машину с места, на полном газу она рванулась вперед, не удержавшись на мерзлой дороге, бросилась в сторону, врезалась в чей-

то забор, проломив его, ударилась об угол дома. С заглушим мотором ударила тишина. В этой рухнувшей на Холмы тишине лишь дикими, рваными звуками билось надрывное рыгание: молодой мужчина в фуфайке от вида крови и отваленной головы милиционера, привалившись к стволу дерева, блевал в снег. И слышался удалявшийся топот убийцы. Изредка оглядываясь, с пистолетом в руке, он бежал в сторону первого холма.

Вдоль дороги несколько фигур боязливо жались к заборам.

Богдан, увидев в первые же минуты искаженные в злобе лица, накипающую с каждой секундой ярость толпы, выбрался из нее, отошел в сторону. Все произошло в несколько быстрых минут. На глазах мужчины с белым шарфом рванул косою, упала на грудь срезанная голова капитана, рассыпались в разные стороны люди; и вот теперь издали было видно, как скрылась за холмом фигура убийцы, потом появилась снова — карабкавшаяся на первый холм. В какой-то момент кукольная фигура, не удержав равновесие, вскинула руки, завалилась назад, покатилась, как бревно, к седловине. Потом снова, быстро, помогая руками, вскарабкалась на холм, растворилась меж домов. Двое в штатском орали на шофера, который никак не мог завести машину, метался к поднятому капоту, взобравшись на бампер, влезал с головой в мотор, потом снова бросался в кабину и через минуту вновь оказывался на бампере.

Взгляд Богдана невольно потянуло к телу капитана. Окровавленная голова неловко ткнулась в снег, в расщепленной шее, словно какая-то пасть, зияла щель.

По телу прошла дрожь. На память пришло плато Азора: человек, пожиривший человеческую руку...

Божий мир... Богдан взглянул на небо. Холодное солнце белым равнодушным глазом смотрело на землю: кинопроектор, который, как на огромный белый экран, светил на заснеженную землю, показывая на этом экране кровавый фильм, вечный кровавый фильм человеческой жизни. Холмы. Бесплезно дымящие в небо трубы домов. За далью заснеженных полей черная полоска леса. Сруб и двор старика с уже заваленным плетнем. Черное пятно крови. Труп капитана, еще, наверное, теплый, со скошенной головой. Ругань штатских у врезавшейся в дом автомашины. Радостное лицо ребенка в окне.

Богдану вдруг показалось, что его, Богдановыми, глазами смотрит какой-то незнакомый человек. Непривычным показался мир. Словно перед ним со старых знакомых де-

корацей сняли слой краски. Теперь те же декорации казались другими — вызывающими неприязнь. Богдан почувствовал в себе глаза старика, невольно протасил пальцами по заросшему щетиной лицу. Дня два не брился.

Ощущение иного взгляда погасло, старик-незнакомец как будто исчез, но какая-то новая мысль, с которой предстояло еще столкнуться, осталась в душе, как забытый до времени предмет. За эту минуту, казалось, пробежала вечность.

Усталый, сломленный увиденным, горечью, что лекарства для дочери уже не будет, ткнувшись глазами в землю, поплелся к дому. Впереди него, качаясь, как пьяный, по-прежнему надрывно блевал на дорогу тот же молодой парень.

Чтоб не видеть его, Богдан ускорил шаг, обогнал. Спуск со стариковского холма. Седловина.

Поднимаясь на первый холм, Богдан припомнил карабкавшуюся фигуру убийцы. Где-то здесь он опрокинулся на спину и покатился вниз. Богдан обернулся. Взгляд его, скользя вниз, наткнулся на черный предмет, торчавший из снега. Богдан присмотрелся. Пистолет. Во время падения пистолет, наверное, выскользнул из рук убийцы, отлетел в сторону, а может быть, и был выброшен специально.

Богдан спустился. Оглянувшись по сторонам, поднял пистолет. Холодный вороненный металл тяжело весил на ладони. Богдан посмотрел на знахарский холм, решил было отнести оружие тем двум штатским, но с невольным почтением, словно перед глазами было живое существо, осмотрел его и вложил в карман дубленки. Незнакомое чувство силы и одновременно опасности поднялось в душе. Богдан взошел на вершину.

Тина с мужем были во дворе. Викентий, откинувшись на стуле, сидел спиной к плетню. На нем была коричневая шуба, норковая шапка. Зажмурился от слепящего снега, подставил зимнему солнцу длинное, болезненно-белое лицо. Наверное, только что вышли: Тина, в своей белой шапочке и кроличьей шубке, как медвежонок, пригнувшись к его ногам, кутала их в зеленый плед, из-под которого на снегу выглядывали тупые носки валенок.

Богдан отворил низкую калитку, на секунду замер под вопросительными взглядами Тины и Викентия.

«Ну что там?! Что?!» — казалось, с нетерпением спрашивали глаза Викентия.

Хлестнула жалость, глядя под ноги, Богдан протопал мимо. Проходя, махнув рукой, глухо бросил:

— Уезжаю.

Через минуту следом за Богданом в дом вошла Тина. От дверей молча наблюдала за его сборами. Тот, словно и не видел ее, стоял над раскрытым «дипломатом», крутил в руках бутылку водки: положить ее — не положить, взять с собой — не взять. В «дипломате», так и оставшись нетронутыми, лежали две бутылки с морковным соком.

Богдан с горечью покивал, став у стола, распечатал бутылку водки, наполнил стакан до краев. Что-то пробормотав, выпил. Вытер ладонью губы. Опустился на стул. Только теперь, казалось, заметил Тину. Долгое мгновение смотрели глаза в глаза. В эти секунды, вдруг что-то узнав в себе, поняли, что стали дороги друг другу. Подкрадывалось откровение. Но, поняв это, оба сразу поторопились отойти от него, словно испугались. Тина сняла шапочку, шагнула к столу.

— Там милиционера убили, во дворе старика. Это... все... — выдохнул Богдан.

Тина немо, словно оглушенная, осела на стул. Долгое тяжелое молчание.

— Может, это и хорошо,— в раздумье с горечью выдохнула Тина.

Богдан понял, что она говорила о своем Викентии.

— Я устала уже. Я уже не человек. Если бы он хотя бы капельку был благодарным. Хотя бы на маленькую песчинку. Ты же видишь, Богдан. Я уже не могу! Не могу. Я иногда смотрю на него и хочу его смерти! Чтоб его не стало. Это страшно. Я никогда б не подумала, что смогу желать близкому смерти! А я желаю ее! Желаю! Мне страшно! Я боюсь сойти с ума! — Она заплакала, ткнувшись лицом в белую шапочку.

— Что я своей дочери скажу?! — словно сам с собой, глухо обронил Богдан.

Эта негромкая, сказанная с болью фраза вдруг обрушила на комнату тишину. Плач Тины оборвался. Она вскинула на Богдана внимательные заплаканные глаза. Долго всматривалась в усталое, заросшее седой щетиной, опущенное к полу лицо. В карих раскосых глазах влажно блеснула боль. Тина поднялась, стала над Богданом, секунду, видно, не смея прикоснуться к нему, боролась с собой, потом длинные пальцы потянулись к его голове, втекли в седые виски.

— Бедный мой! Милый! Прости! — Она прижала его к себе. — Прости меня! Я не знала, что говорила! Бедный мой! Господи, как жить нам?! Как жить в этом страшном мире?! Богдан, милый!

Он поднес к губам ее маленькую ладонь.

— Сейчас! Подожди! Сейчас! — Она сбросила с себя шубку, приподняв обеими руками лицо, заглянула сверху в усталые глаза, припала к ответившим губам, жадно целуя, выдыхала:

— Милый! Хороший мой! Люблю тебя! Возьми меня! Только ты!

Она вдруг выпрямилась, нервными пальцами торопливо расстегнула блузку, отстегнула бюстгальтер. Богдан припал раскрытым ртом к впадине между грудей, жадно заскользил губами к пухлым соскам. Тина прижалась к его лицу, целовала голову. Богдан подхватил на руки, перенес на кровать.

В вязкой тишине потянулся жалобный стон женщины, слился с долгим приглушенным мужским вскриком.

Тина устало разбросала по сторонам белые руки. Из закрытых глаз выкатились слезы. Подняв веки, она с улыбкой посмотрела Богдану в глаза, поцеловала их.

Неожиданно распахнулась дверь. Взглянув из-под плеча Богдана, Тина закричала, высвободившись, закрыла руками глаза.

В распахнувшейся двери клубил легкий морозный пар. Внизу на ступеньках лежала голова Викентия. Без шапки, разлохмаченная, с выпученными глазами, она казалась отрубленной и брошенной на крыльцо. В первые секунды Богдан оглушенно смотрел в эти выпученные кричащие глаза.

Глядя в комнату, голова застонала, приподнявшись над полом, сорвалась на вынырнувшую снизу руку.

Воя, как раненый волк, Викентий плакал, распластавшись на снегу. Подрагивала на ступеньках разлохмаченная голова.

Тина, словно лишенная сознания и мысли, опустошенно равнодушно оделась.

Богдан стал втаскивать Викентия в дом. Тот пытался упираться валенками, но больные ноги беспомощно скользили по утоптанной у крыльца дорожке, потом — по ступеням и уже в комнате — по стершимся половицам, как по скользкому льду.

Богдан дотащил его до печки, привалил спиной к ее теплому побеленному боку. Вывалявшийся в снегу, он походил на беспомощного большого ребенка. С теплом комнаты его душу, казалось, обдала жалость к себе. Он продолжал плакать, закрывая и открывая глаза, протягивал сквозь рывки плача:

— Как мне жить, Тина?! Скажи, как мне жить?! Убейте меня! Будьте людьми, убейте! Я не хочу, я не могу теперь жить! Тина!

Богдан надел шапку. В дверях остановился, вывел над плечом подбородок. Постоял секунду и, не обернувшись, вышел. В окно доносился стихающий звук его шагов.

Выйдя из калитки, Богдан огляделся. По-прежнему беспечно дымили в небо заснеженные крыши Холмов. Белое февральское солнце низко зависло над черной у горизонта полоской леса. Вокруг разлился покой. Но чем беспечней казалось все вокруг, тем сильнее чувствовалась хрупкость этого покоя, из которого незримо истекала человеческая горечь и безнадежность.

Приближалась черная лесная гряда. Где-то там, в ее сердцевине, Богдан расстался со стариком. Где сейчас он?..

Поначалу выветрившийся хмель от морозного воздуха и быстрого шага, казалось, вернулся вновь. Обрывки мыслей, воспоминаний проносились в затуманенной голове: то невольно виделся рухнувший на землю капитан, то, обжигая, вспоминалось жаркое, мятущееся тело Тины, то с горечью вспоминались верящие глаза Аллы: «Ты спасешь, папа...»

Разгоряченный, Богдан остановился. По хмельным глазам с головы протащил шапку, присел на черную пластмассовую коробку «дипломата». С блаженством вслушался, как в горячей голове растекалась бодрящая свежесть. Двугорбые Холмы со своими разбросанными срубам, то полями на вершинах сошли с глаз, стекли за горизонт.

Передохнув, Богдан двинулся дальше. Эта метровая среди полей дорога, еще в прошлсе утро так обещавшая надежду, теперь белой истоптанной полоской мертво стелилась под ногами.

Лес черным, словно обугленным, валом широко раскинулся перед глазами, впустил в прорубленный узкий коридор просеки. Стены этого коридора — вековые могучие деревья — поднимались высоко в небо. Какая-то державная сила немо таилась в этих черных плотных массивах, которые, как рваные тиски, сжимали узкую просеку.

Лесные стены находились далеко впереди, и белая дорога казалась стрелой, вонзившейся в черную стену. Где-то, уже, наверное, недалеко, было то место, где остался в ночи старик. Богдан пошел медленней. Минут пять-шесть ходьбы, но Богдановых следов, когда он сломал ветку, не попадалось. От этого прилегший в глубине сердца страх (вдруг старик не дошел) расстаял, подбодрил душу.

Но скоро взгляд упал на черный ком на белой кромке поля. Замерло сердце. Богдан с тревогой в мыслях приблизился.

— Де-ед! — вырвалось невольно с какой-то просьбой и неверием: старик, привалившись боком к снежной насыпи, согнув ноги, словно до самого последнего мгновения пытался встать, застыл с поднятым к небу уже синим лицом. Застекленевшие глаза, приоткрытый рот замерли в какой-то просьбе, словно старик в удушье, выпучив глаза, ловил ртом воздух. Прележал он здесь больше суток. Где-то, наверное, больной, близкий ему человек, с надеждой ожидал, что скоро, очень скоро дед вернется с лекарством. «Уломил войну на обе лопатки...» — вспомнился Богдану бодрый тон в той невозвратной ночи. Старик, прошедший не через одну беду, который отстрелялся не от одной смерти, вот так, в насмешку, был настигнут смертью на этой невоенной дороге.

Богдан закурил, глубоко затянулся. Нечаянно взглянув на застывшее тело, на оскал желтых старых зубов, дрогнул сердцем: жестокая откровенная мысль прожгла душу. Никогда еще человеческая жизнь не казалась ему такой уничтожающе ничтожной и заброшенной, как сейчас, когда под этим бескрайним небом, под далеким беспомощным солнцем, на мерзлой дороге, как сбитая собака, мертвенно скалился человек.

Богдан зашагал прочь. Пройдя метров тридцать, увидел, как вдали вытекала из леса пульсирующая змейка людских фигур. «К знахарю», — понял Богдан. На душе стало горько: эта спешившая сейчас навстречу толпа, не ведая того, что давно обманута, давно лишена спасения, напоминала о том, что у Богдана в «дипломате» вместо лекарства лежат нетронутые бутылки с соком.

Богдан остановился. Уступая дорогу толпе, предупредил:

— Старик арестован.

Первые, точно и не слышали его, пронеслись мимо.

— Старика арестовали, — еще раз предупредил Богдан.

Но никто не хотел слушать. Толпа упрямо стремилась вперед. Докатив до черневшего на краю дороги труп, как змея, ткнувшаяся в камень, стала обтекать его. Никто не остановился, никто не хотел и на одного человека оказаться сзади. И наоборот: если появлялась возможность, замешкавшегося неудачника тут же обгоняли, окатив ворчанием.

Последнюю женщину, которая торопливо тянула санки

с укутанным маленьким ребенком, Богдан все же предупредил:

— Старик арестован. Лучше не мучайтесь...

Женщина приостановилась, но, секунду подумав, махнула рукой: «А вдруг...»

Богдан понял, что ни он, ни еще десяток других не смогли бы остановить этих торопящихся, может, к своей последней надежде, людей. Как не остановил его самого тот наклеенный лист. Ведь и сам Богдан, и все остальные, прочитавшие в ту ночь об аресте старика, не поверили этому, и вот так же, с затаенной надеждой обгоняя друг друга, бросились даже в ночной путь. И, как стремилась к призрачному лекарству эта толпа, так же потом придет другая, третья... И никто не успокоится, никто не поверит ни в арест старика, ни в его смерть, пока, может быть, снова не рухнет на землю окровавленное тело еще одного капитана. В зной и холод, дождь и снег будут тянуться к этим Холмам жадные, жестокие, но и любящие толпы. И кто знает, когда прекратится этот поток, эта слава старика, которого обреченные на смерть, обманутые миром люди ищут, как Бога... Пусть к истине..

Ночью Богдан сел в поезд. Раздевшись, посмотрел в большое зеркало на двери купе. В первые секунды, ужаснувшись, не узнал себя: пятидесятилетний мужчина, с густой сединой, провалившимися усталыми глазами чуждо смотрел на него.

«Солнечный человек»,— с горечью усмехнулся Богдан, глядя на свое отражение.

В памяти, как огни поезда, невольно пронеслись прошедшие дни. Для чего? Для чего было все это? Столько горечи, столько боли. Столько потерь. Неужели для того, чтоб вместо надежды обрести оружие...

Стуча колесами, по ночному пути шел скорый поезд...

#### *Часть четвертая*

### **СОЛНЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК**

Каждое людское жилище имеет неповторимый запах. Наверное, он соответствует натуре обитателей дома — дух каждого человека вырабатывает свой собственный запах. Жилище злых людей пахнет резко, неспрятных — воняет, в домах добрых людей настоян приятный аромат. Но



жилище, где долгое время находится больной, наверное, имеет один — затхлый — дух.

В доме Богдана его уже не замечали. Может, потому, что появился он не сразу, не в одночасье, а день ото дня (состояние Аллы ухудшалось) растекался по комнате, обживал углы, пропитывал стены. В шумном обычно, хлебо-сольном доме все реже появлялись гости. Болезнь отчуждает.

Вместе с запахом больного человека в дом вселялось раздражение. Пока оно еще было малозаметным и даже как будто случайным, но все-таки уже изредка напоминало о себе.

Но к Алле, как всегда, относились с заботой, пониманием. Большая часть хлопот легла на Яну. Алла сама уже не ходила, немели и не слушались руки. Но рядом была Яна. Утром, перед школой, она выносила «утку», если нужно — меняла постель. Придя с занятий, почти не оставляла сестру.

Речь Аллы отказывала — обрывки слов давались с трудом, походили на гортанный прерывающийся сплошной звук. Понимать ее, а скорее — угадывать желания могла только Яна.

Стояла теплая, как никогда раньше, размашистая весна. Мартовское солнце светило в свободном небе, мир уютно согревался, словно из февраля окунулся сразу в май. Щедрый солнечный полдень стоял над городом.

Видя из окна сияющее голубое небо, Алла попросила вывести ее во двор. Яна одела сестру потеплее, поставила стул на солнышке, возле кирпичного забора. Богдан помог вывести Аллу, сам вернулся в дом, подошел к окну и незаметно, из-за шторы, стал наблюдать за дочерью.

Откинувшись на спинку стула, в легком белом платке, в пальто, Алла подняла к глубоко сияющему небу желтое болезненное лицо, подставила под теплое солнце. Сладко вздохнула. Долгую минуту, не шелохнувшись, держала под солнцем стосковавшееся по весеннему теплу умирающее лицо, словно, долгие годы проведя в каком-то подземелье, сейчас вырвалась к долгожданному ликующему свету. Богдан с болью наблюдал из окна за дочерью.

Распахнулась дверь. Андрей хмуро, не глядя на Богдана, прошел ко второму окну, ударил форточкой:

— Хоть сейчас дом проветрите! Дышать нечем!

Богдан вопросительно проследил за ним:

— Ты чего разорался?!

— Я не разорался! — Он скрылся в своей комнате.

В каком-то тревожном предчувствии заняло сердце: с сыном что-то происходило, стал отчужденным, скоро экзамены, но после школы его не застанешь. Однажды пришел пьяным. «Дышать нечем...» Откуда эта злоба? С беспокойными мыслями Богдан смотрел в окно и, казалось, несколько мгновений ничего не видел.

Качнулась за окном рука Аллы. Это вывело из раздумья.

Голова дочери была повернута в сторону: на фундаменте забора, очень близко — только протяни руку — росла тонкая ярко-зеленая травинка. Бог знает как выросшая на этом сером бетоне, она, казалось, храбро тянулась от безжизненного камня к синему теплему небу. Алла с улыбкой смотрела на нее, пыталась поднять к ней руку, но непослушная, словно свинцовая, рука бессильно падала вниз. Глаза Аллы в первую минуту с нежностью ласкали этот тонкий побег, эту неожиданную жизнь, словно травинка была какой-то ее младшей, маленькой сестрой, с такой же беззащитной и хрупкой, как у нее, жизнью. Рука Аллы вновь потянулась к зеленому росточку и вновь сорвалась вниз. Богдан растерянно и беспомощно смотрел из окна. Сжалось сердце. Вновь непослушная рука дочери потянулась к травинке, но в глазах теперь была немая борьба: дотянуться, во что бы то ни стало дотянуться. Тело Аллы вдруг накренилось, стало заваливаться на бок, за рукой. Богдан бросился во двор. Из времянки уже убежали Яна и Вера. Алла лежала на спине, взгляд с отчаянием убежал в синее опрокинувшееся небо, теплое и неприступное. Из глаз бежали слезы. Уже сидя на стуле, она пыталась что-то говорить, но лишь гортанные звуки вырывались из напряженно дергающегося от плача горла. Богдан с мольбой посмотрел на Яну.

— Ты домой хочешь? Домой? — Яна пристально смотрела в ее глаза, губы. — Сейчас. Папа, давай, заведем...

На ступеньках Богдан столкнулся взглядом с сыном. Тот шмыгнул глазами в сторону. «Дышать нечем...» — вспомнили оба. Один — с упреком, другой — виновато.

Завели Аллу в дом. Подрагивая, она плакала на софе уткнувшись лицом в плечо матери.

Богдан выскользнул из дома. Стал на крыльце. В глаза бросилось чистое весеннее небо с большим красным солнцем. Богдан глубоко вдохнул. Вдруг показалось, что все это однажды было. Точно так. Все казалось знакомым до мелочей: и то, как он вышел на крыльцо, как взгляд охватил все небо — бескрайнее, с красным солнцем. Знакомой показалась боль за дочь. Богдан закурил свою «беломо-

рину», думая об Алле, незаметно оказался в своем любимом саду. Как жить дальше? К кому обращаться за помощью? Богдан покружил под орешником, отшвырнул сопревшую за зиму опавшую листву. И снова ударило ощущение, что все это уже происходило с ним множество столетий назад. И теперь вот повторяется: слозно какой-то рисунок, переведенный под копирку.

На душе было тревожно и больно. Богдан поднял к небу грустные постаревшие глаза. Огромное солнце под непостижимо бескрайней синевой. В небе кружили голуби. Везде шла отогревшаяся после зимы напористая жизнь. И на земле, и в небе и под землей, как, наверное, сейчас под его башмаками где-нибудь в черноземе шевелится какой-нибудь червь. Всегда и везде жизнь. Из почек, как младенческие ноготки, уже выбились крохотные листочки. Идет новая жизнь. Скоро все зацветет, мир окунется в бело-розовую кипень. Природа могущественна и мудра.

Богдан вспомнил, как тянулась к травинке рука Аллы, как затуманились ее глаза, глядя в опрокинувшееся над ней это теплое, но не для нее, весеннее небо. Если мудрость природы в этом, значит, мудрость — в жестокости, беспощадности. Значит, мудрость — в смерти. Как принять это... Смерть... Отчего-то вспомнился ребенок на заснеженной площади — раздавленный толпой, бешеный бросок через ночной лес, подкошенная голова капитана, оскал стариковского лица, его нелепая смерть на мерзлой дороге. Смерть, такая же, как у передавленных, с хищным оскалом, дохлых животных. Чем лучше человеческая жизнь? Такая же заброшенная, передавленная бедами, и в конце концов — своей собственной смертью. Природа величественна...

Душу измазало тоской... Куда-нибудь пойти... Выпить...

Вечерние улицы были многолюдны. На одном из перекрестков собралась толпа наблюдателей: что-то оживленно обсуждали. Богдан приблизился. Шесть-семь мужчин и поодаль группа женщин с ухмылками, а порою смеясь, наблюдали за пьяной, растрепанной женщиной, которую милиция никак не могла затащить в свой крытый, с решеткой на окне «воронок».

— Вставай, проклятьем заклеяменный! — бунтарским тоном завела пьяная, вырываясь из рук двух милиционеров.

Один из них, пытаясь завести кисть ее за спину, то и дело поправлял съезжавшую набок фуражку. Пьяная была в легком платье из красного ситца, разорванном вдоль бедра. Худые руки торчали из широких рукавов,

словно жерди из красных ведер. Лицо ее было опухшим, а на заляпанный грязью лоб спадали две обесцвеченные спутанные пряди.

— Пугало в красном платье! — зло шикнула одна женщина из толпы.

— До чего людей довели,— неподдельно вздохнула другая.

— Народ! — хмельно выкрикнула пьяная, выпячивая красную тощую грудь, упрямо вырываясь из рук милиционеров: — Народ! Идет конец света! Вокруг землетрясения! Кайфуйте, кто может! Гуляйте напоследок! Пейте! Спешите, народ, пока на ваши бестолковки бомба не шваркнулась!.. Вставай, проклятьем заклейменный! Весь мир голодных и рабов... Долой пустые магазины! Давайте жратвы! — выкрикивала, перебивая себя. И, уже почти не сопротивляясь милиции, развязно-весело бросила: — Нормальные мужики бабу в кусты волокут, а эти — в милицию! Точно — конец света идет!

Толпа загоготала, смех мужчин и женщин смешивался с недовольными, осуждающими голосами и цыканьем плевков. Забыв про свои беды, непонимающе качнул головой Богдан. Пьяную в красном наконец впихнули в «воронку», но тут же в решетке окна появилось ее развязно-веселое опухшее лицо, напоследок послышался быстрый приглушенный речитатив:

Сахар я давно не ем!  
Сала, масла нет совсем!  
Яйца видим только в бане,  
Колбасу — у дяди Вани!

Это вконец рассмешило толпу, невольно рассмеялся и Богдан. Пьяная в машине прогорланила что-то еще, но надрывно заурчал, затарахтел мотор милицейского «воронка» и через минуту машина скрылась за поворотом.

Богдан купил бутылку водки, упрятав во внутренний карман кожаного плаща, направился к Фарсиду.

## 2

Домик Фарсида был небольшой, выложенный в полблока. Состоял он из прихожей-кухни и двух небольших смежных комнат. Работал Фарсид во второй: здесь стоял его письменный стол со старой пишущей машинкой, стул и у самого окна теснились две кровати. Фарсид просмотрел отпечатанные сегодня листы, небрежно бросил на ма-

шинку страницы нового романа. Хотя работа шла неплохо, писалось с интересом и уже была начата вторая часть, порой давило слякотное настроение. Все казалось вокруг лишенным смысла: мир и своя работа, все вокруг, что люди так любят называть реальностью. Наверное, эти минуты тоски находили от того, что эта реальность неизбежно порождала в душе такого настырного трудягу-червячка с довольно нудноватым именем — «Ну и что?» И тогда получалось: ну и что, что роман? Ну и что, что талант, ну и что?.. Ведь прекрасно известно, что какой бы гениальной ни была вещь — все равно... и ничего... и никогда... да и зачем... И этот червячок с годами поправляется и так хорошо осваивается в твоей душе, что не успеешь заметить — душа твоя выедена, как гнилое яблоко. И Бог знает, в чем спасение. Может быть, спасение в наивности. В смешной, наивной и загнанной в глубину души надеженке: а вдруг, может быть, когда ты закончишь работу, что-то будет найдено, какое-то спасение... Ведь надеется каждый из людей, пусть в самых тайных тайниках души, что он никогда не умрет, что он вечен, надо только признаться себе в этой наивной, запрятанной неизвестно где, далекой надеженке: ты будешь жить всегда, ты никогда не умрешь! Ты вечен! По крайней мере, пока светит это солнце, пока есть эти деревья, травы, камни, птицы и небеса. Но все это наивная, спрятанная за семью печатями, грустная надеженка, такая же, как и вера художника, что в этом мире можно что-то изменить и спасти. Ведь наперед известно — какую бы гениальную вещь ты ни создал, ничего в этом мире не изменится, мир все равно будет скапываться по своей разбитой дороге, а если что и придет к тебе, то это новое разрушение, опустошение души.

Фарсид подошел к окну. Сквозь белые, с цветочным орнаментом занавески просматривался кусок улицы. Разноликие прохожие, точно кадр фильма, пересекали это небольшое пространство. На противоположной стороне, словно тучные зрители, темными окнами смотрели приземистые с черепичными крышами одноэтажные дома. За ними, как сплюсненные гильзы, плоско лепились к небу трубы дальних зданий и такие же плоские на расстоянии, похожие на черные веера, оголенные кроны орешников.

В прихожей стукнула дверь, и через секунду позвал голос жены: неожиданным гостем стоял в дверях Богдан.

— Не ожидал? — с улыбкой спросил он, заметив в первые секунды удивление в глазах Фарсида.

— О чем разговор! Рад видеть тебя! — Он пригласил Богдана в свою комнату.

— Как Алла? — спросила жена Фарсида.

— Все так же, — приостановился Богдан, лицо его погрузнело, стало озабоченным. — Девчонка тает на глазах, — с откровенностью признался он, помня, что жена Фарсида и Вера были близкими подругами.

— Да поможет Бог! — неподдельно выдохнула Лена.

— Спасибо. — Богдан повел рукой: будем, мол, надеяться.

Пошли в комнату Фарсида.

— Вот, работаю, — кивнул он на письменный стол — весь пестро-белый от листов исписанной, исчерканной бумаги.

— Надо! — почтительно оценил Богдан. — Уважаю вашего брата. Столько трудов надо... — Он бережно взял с машинки отпечатанный лист, пробежал глазами по строчкам и так же бережно положил на машинку.

— Раздевайся, — показал Фарсид на плащ.

— Ага. Я вот тут пузырек прихватил. — Богдан осторожно, словно рядом могла быть милиция, приоткрыл борта: кожанки. Из-за пазухи выглянула головка «Столичной». — Ничего?

— Зачем беспокоился? — укорил Фарсид. — Что-нибудь бы придумали...

— Да-а, — ребячески отмахнулся Богдан и, раздеваясь, уже более свойски проговорил: — Думаю, загляну к Фарсиду. На душе тоска.

— Ну и отлично, — улыбнулся Фарсид и через паузу с неуверенностью произнес: — Я после того случая в горах... помнишь, когда тебе все свои деньги пришлось отдать... неловко себя чувствую перед тобой. Я твой должник.

— Я так и знал, что ты про это напомним. Поэтому сначала сомневался: заходить к тебе или не заходить? А потом думаю: специально зайду... Забудь про это. Что такое деньги, брат мой? Не деньги делают человека, а человек делает деньги. Так что давай забудем. Идет? — Богдан протянул свою широкую ладонь.

— Забыть-то, конечно, я не забуду, но напоминать, может быть... — Фарсид ответил на рукопожатие.

Исписанные листы сложили в одну стопку на краю стола, сверху легла книга в черном переплете с золотистыми буквами: «Пятикнижие», которая тоже лежала на столе. Лена принесла закуску, бокалы. Изредка в доме были слышны детские голоса, но в комнату к Фарсиду и Богдану никто не входил. Лишь однажды заглянула Лена, справляясь, что нужно принести.

— Моя Янка очень любит вашу семью,— заметил Богдан. — Я знаю, что она часто приходит к вам. Не замутила вас эта бандитка?

— Да нет,— улыбнулся Фарсид,— славная девчонка. — Но тут же припомнился вечер обручения в Богдановом доме, взгляд Яны, когда она танцевала с Зорей, и ухмылка Двушника: «Не пригласить пришла, а тебе на глаза показаться». — Да,— кивнул еще раз Фарсид и, желая увести разговор от Яны, наполнил бокалы: — Давай... за наших детей. Дай Бог, чтоб наши дети были счастливы! Дай Бог, чтоб твоя Алла, наша Алла, поскорее поправилась. Чтоб все у нее было хорошо! А мы, как говорит Директор, выполнив все свои дела на земле, могли напоследок посадить дерево!

— Добрая душа Директор,— тепло произнес Богдан. — Не везет ему только... Ну ладно... Давай — за сказанное. За детей! — Богдан выпил, хрустнув долькой соленого помидора, задумался и, казалось, весь ушел в свои мысли. — У меня не было дел на земле, а теперь есть,— в раздумье выговорил он.

Фарсид вопросительно посмотрел на Богдана.

— Да,— подтвердил Богдан. — Не было. Я просто жил, работал, соблюдал обычаи. Семью любил. Конечно, и сейчас люблю. Но все это не дела, все это жизнь. Все так должно быть. А вот такое с дочерью. Это теперь — дело. Я, конечно, все сделаю. Если понадобится — свое сердце вытащу. Только я не об этом говорю. Ты меня правильно поймешь,— с горечью произнес он. — И вот это,— кивнул он на пишущую машинку, рукописные листы,— тоже дело. Я же знаю твою жизнь, она, как на ладони, видна: ты и от себя, и от семьи многое отрываешь ради этого нужного дела. Писатель, извини за громкие слова, людскую душу лечит. Это самое важное дело,— он кивнул на Библию, высившуюся над стопкой бумаг.

— Не знаю... Я буквально перед твоим приходом как раз об этом думал... Наверное, литература, да и вообще искусство,— дело нужное, но при этом и бессильное... Со временем все больше и больше убеждаешься, что люди точно делятся на три группы. Первые — это те, которые не делают подлостей, потому что им это претит. И это настоящие люди. Вторые — это те, которые не делают подлостей, потому что боятся делать их. Это зверолюди, потому что рано или поздно они сделают подлость. Третьи — это те, которые просто-напросто делают подлости. Это тем более звери. И таких никакое искусство не способно излечить от подличания. Они могут прочитать хорошую книгу,

я минуту спустя оклеветать самого святого человека, они могут посмотреть трогательный фильм, а через минуту предать, они могут послушать самую светлую музыку, а через минуту расстреливать детей. Искусство перед злом бессильно. А настоящий человек и без Библии — человек. Единственное, может быть, это то, что искусство может помочь настоящему человеку выстоять в этом мире. Может быть, в этом и есть сила литературы.

— Ты как будто с Директором договорился. Он тоже говорил что люди — как змеи. И змеи тоже разные — гадюки, удавы, кобры и ужики.

После «ужиков» посмеялись. Богдану вспомнилась история с пьяной женщиной:

— Кайфуйте, говорит, пока на ваши бестолковки бомба не шваркнулась. — Рассказав, незло усмехнулся.

Фарсид скрестил руки на груди и, глядя в законную серую плоть неба, медленно проговорил:

— Миром правит безнадежность.

Помолчали.

— Один раз живем — говорит человек, — по-своему пояснил Богдан фразу Фарсида.

— Ты знаешь, чего люди хотели из века в век? — вопросительно посмотрел Фарсид. — Чего добивались тысячелетиями, для чего Библии написаны, заповеди, законы? Для чего придумали капитализмы, социализмы и еще всякие другие «измы»? А все для того, чтобы изменить свою звериную сущность, звериное начало. Разве ж у нормальных, чистых существ мог бы быть лозунг: человек человеку брат? Или заповеди: не убий, не укради... Чистые существа до этого бы просто-напросто не додумались...

— Все правильно, — вставил Богдан, — чистому существу и в голову не ползет убивать, воровать...

— Люди из века в век хотят изменить человеческую жизнь, но чтоб изменить человеческую жизнь, нужно изменить человеческую природу, его мозг. Но это невозможно. Люди решили, что это можно заменить какой-нибудь «справедливой» общественной системой. Заменить мозг социализмом или коммунизмом. Системой отношений. Но все это искусственно. Значит, в конце концов — мертво.

— Слава Богу, что есть хоть немного людей, которым не надо менять мозг на эти капитализмы, социализмы и коммунизмы, — улыбнулся Богдан, взял бутылку водки. — Давай еще... прибавим... За твой дом, за твою семью! — Он выпил, смачно крикнув, по своей давней привычке рванул над головой кулаком: — Э-э-эх!



За ним выпил и Фарсид.

— Пошла? — Богдан поднес ему дольку помидора.

— Э-э-эх! — в тон ему потряс кулаком Фарсид.

После застолья вышли пройтись по вечерней улице. Начинало смеркаться, но день еще был светел. Фарсид и Богдан, словно договорились, шли, сунув руки в карманы пальто.

Метрах в тридцати впереди, на краю тротуара, стояла группа мужчин.

— Не понимаю этот мир, — усмехнувшись, сказал один из них, показав глазами на приближающихся Богдана и Фарсида. — Говорят, этот писатель с его дочкой кайфует. С младшей.

— Да ну-у? — не поверил тот.

— А че ты думал? Сейчас такой мир пошел.

Но при подходе Богдана и Фарсида приумолкли, а кто-то приветственно вскинул руку:

— Как поживаете, братья мои?!

За разговорам выкурили по сигарете. Потом кто-то предложил выпить на «нейтральной территории», в пивном баре. Купили шашлыков, распили из кружек купленные в магазине несколько бутылок водки.

### 3

Домой Богдан вернулся часам к семи. Темнело. В комнатах горел свет. Вера с детьми смотрела телевизор.

— Богдановской бригаде привет! — чуть покашывая хмельными глазами, он протопал в зал и, не снимая плаща, осторожно присел на софу рядом с Аллой.

— Доченька моя!

Андрей и Яна с веселым любопытством наблюдали за отцом. Богдан тепло и с гордостью посмотрел на Андрея: стройный, крутоплечий, выглядит старше своих шестнадцати лет.

— Сын, знаешь пословицу: человек должен построить дом... — И хмельно сбился на другую фразу: — А я тебя очень уважаю. Ты настоящий мужчина! Точно такой, как я! Правильно говорю, жена? — он перевел взгляд на Веру.

Она сидела на краю софы, с укором покачивая головой:

— Как мы дальше жить будем? Работу бросил, денег нет. Другой работы не нашел... — Она опустила взгляд к полу, утопив в ладонях лицо.

— Ничего, жена, прорвемся. Богдан не даст свою семью в обиду. Никогда в жизни! Э-э-эх! Люблю я тебя! Хорошую я вам маму нашел, а?!

Он посмотрел на детей и, снова взглянув на Веру, поднялся, глаза его блеснули хмельным озорством. Богдан подхватил жену на руки. Вера, запричитав, стала вырываться, но большие, по-медвежьи сильные руки Богдана легко, словно куклу, удерживали ее на весу.

Видеть отца подвыпившим приходилось нечасто. Андрей и Яна оживились. Яна захлопала в ладоши и в такт хлопкам с улыбкой воскликнула:

— Горько! Горько! Горько! Горько!

— Отпусти! — вырвалась Вера. — Сильный, знаем! Только отпусти! — Но в голосе уже была улыбка.

Богдан поставил ее на ноги, взял за плечи. Глаза в глаза:

— Все будет хорошо, Вера! Не волнуйся! Я все сделаю! Богдан еще никогда и никого не подводил! Тем более — свою семью!

— А где Богдан так набрался? — незло усмехнулась Вера.

— Нет! — махнул он рукой. — Богдан не набрался! Богдан в культурном обществе был... Сначала... — признался он.

Все рассмеялись.

— А что? Я точно говорю. Я с нашим писателем разговаривал.

— У Ленки был, что ли? — недоуменно спросила Вера.

— Почему у Ленки? Лена — это по вашей части, по твоей и Янкиной. А я с Фарсидом сидел.

«С Фарсидом! — Янка вздрогнула сердцем. — С Фарсидом!» Все голоса, все движения в комнате исчезли, Яна притихла в уголке на стуле, потом, стараясь быть незамеченной, скользнула в прихожую.

— Ты куда это? — удивилась Вера, увидев дочь, поспешно влезавшую в свой плащ.

— Я сейчас, на секунду, к Лене, — застегиваясь на ходу, вырвалась на улицу.

Сумерки уже густо затянули город, улицы походили на длинные тоннели, тускло освещенные фонарями. Яна беспечно шагала по улице, без тревоги и забот. Да и почему должно быть по-иному? Шла ведь она ни к кому-нибудь другому, а именно к Лене. Она часто бывала у Лены, ей просто нравилось возиться с ее младшим Родиком, забавным трехлетним мальчуганом с черными, не по-детски внимательными глазенками. Когда Яна выйдет замуж...

Всякий раз, когда речь идет о замужестве, пусть в шутку; пусть всерьез, в душе ее далеким маячком всплывает имя Фарсида. Но это так далеко, да и Янка вроде бы и не замечает этого, не обращает внимания, как будто и не возникает это имя, а может быть, ничего подобного нет и вовсе. Но так или иначе — Яна очень любит белобрысого, с удивительными черными глазами трехлетнего Родика, любит Лену, самую лучшую подругу матери, и почему бы ей не наведываться в их дом.

Яна привычным движением открывает фарсидовскую калитку. Двор освещает большое занавешенное окно. Из темноты, сквозь занавески видна прихожая-кухня, в которой за столом сидят Фарсид и Лена.

— Всем привет! — свойски заявляет Янка в прихожей, с улыбкой глядя на удивленные в первую секунду лица.

— Ты, Яна? — невольно удивилась Лена.

— Собственной персоной. Дома скука, зайду, думаю, к вам.

— Ну и правильно! Как твой папаша? Мы тут с ним немного пофилософствовали, — хмельным тоном произнес Фарсид.

— Проходи, — пригласила Лена.

— Мой папаша с мамашей воркует, — отвечая Фарсиду, Янка уже набросила плащ на крюк вешалки, уже наполнила своим озорством и насмешливостью дом Фарсида, уже, как всегда, была своя, и уже черноглазый Родик успел прыгнуть к ней на руки.

— О-о! По-моему, он нашу бандитку любит больше, чем своих папу и маму, — одобрительно кивнул Фарсид на сынишку, который притих на руках Яны.

— А почему бы и нет! — Лена ставит на стол стакан чая. — Ничего. Дай Бог, выдадим скоро замуж, и свои будут.

«Замуж», — тут же повторяется в мыслях, и невольно в самых дальних далях души появляется знакомое имя. Но, может быть, и ничего подобного. Во всяком случае, она невозмутимо отмахивается:

— Мой жених еще на свет не родился.

Она садится за стол, пристраивает Родика на коленях, но Лена посылает мальчика в дом. За столом остаются Янка и Лена — с одной стороны, а на другой, с угла — Фарсид. Так что Янка оказывается в какой-то середине. И все хорошо: Яна чувствует себя полноправным членом этой семьи, ей нравится Лена, которая с ней — как с равной подругой, она любит маленького Родика, и вот ко всему — рядом... Имя Фарсида почти не звучит в душе, да

и она, кажется, не думает о нем вовсе, а то, что его присутствие ощутимо больше, чем присутствие Лены, которая сидит вроде и рядом,— это все просто кажется, а скорее всего — ничего и нет.

— Сейчас бы другого чего-нибудь, горяченького, того, что побелей,— нарочно не глядя на Фарсида, с напускной серьезностью произносит Яна.

— Издеваешься над стариком?

Фарсид смеется, взяв девичье округлое плечо, товарищески легко сдавливая. Ладонь ощущает, как в долю секунды прислушалось к его руке загоревшее Янкино тело. «Тебе на глаза показаться пришла»,— услышалась тут же ухмылка Двушника. Фарсид снял руку с теплого девичьего плеча и нарочито серьезно, словно и вправду ему было досадно, вздохнул:

— Действительно, уж если пить, так пить погорячее и побелее. Пойду лучше телевизор глядеть.

Он прошел в комнату, где на тумбочке уже светил мерцающим экраном черно-белый телевизор. Некоторое время смотрел на экран рассеянно, почти не вникая в то, что он показывал. Думалось о Яне, Богдане, проносились в памяти обрывки брошенных Двушником фраз: «...все любят зло! Кто же не любит зла?». Из прихожей долетал смех жены и Яны, доносился быстрый капризный лепет Родика.

Потом в дверях появилась Янка:

— Что-то писатели не в духе? — Черные глаза ее горели с вызовом, откровенным и обжигающим.

Взгляд Фарсида в секунду невольно отметил красивое овальное лицо, стройную открытую шею, под зеленым платьем — высокие острые девичьи груди.

— Писатели не в духе, но дух в писателях,— что-то сочинил Фарсид, хмельно-поучительным жестом вскинул указательный палец: во, мол, как!

— О да-а! — насмешливо протянула Янка, и ей, разумеется, было все равно, что Фарсид был рядом, да она и не думала об этом, просто перед ней сидел чужой женатый мужчина, которого ей хотелось позлить. И она выживала колкие насмешки, хлесткие и задиристые.

— Придется родителей в школу вызвать... Богдану пожалуюсь, что его дочь народ терроризирует... — отбивался Фарсид.

Дома, когда ночь вкралась в Янкины мысли, желания, в полусне грезилось ей, как, не отходя от постели раненого Фарсида, не смыкая глаз ни днем ни ночью, выхаживала

она его, и потом виделось, как благодарные губы Фарсида шептали ей слова любви...

#### 4

Синее апрельское небо легко колыхалось над ярким солнцем, над всем потеплевшим человеческим жильем. В отогревшемся вокруг мире грезилась какая-то мягкая улыбка, как у матери, кормящей грудного младенца. Эта незримая улыбка и теплота весенних чистых небес обогревали душу, боли и потери в какое-то мгновение смягчались, и сердце томила сладкая печаль.

В такой час Директор не усидел дома, выбрался в центр Города. Оттуда, побродив по проспекту, направился в парк — подышать свежим легким воздухом.

Кто-то его окликнул. Он не сразу понял, что обращались к нему — вокруг текла одетая по-весеннему людская толпа, говорливая, со своей суетой. В спину снова ударило его имя-отчество, но он не обращал внимания, словно и не слышал.

— Душа — это точки пересечения! — понеслось ему вслед.

Эта фраза была сказана громко и явно с улыбкой. Давняя фраза, которую он иногда произносил перед учениками.

«Душа — это точки пересечения». Директор дрогнул сердцем, обернулся. Ему улыбалось знакомое лицо мужчины лет тридцати. Одет аккуратно: строгий черный костюм, галстук, на груди блестел какой-то золотистый значок, похожий на кленовый листок.

— Саша! — Директор узнал своего бывшего ученика, машинально поправил узел галстука.

— Здравствуйте! — Саша тепло пожал ему руку. — Несколько раз окликал Вас... Наверное, задумались. Как поживаете? Рад Вас видеть!

Глаза Саши цепко прошлись по лицу своего бывшего учителя, в них мелькнула какая-то быстрая догадка, на ухоженное лицо легла еле заметная тень. От Директора это не ускользнуло. Года три назад он, наверное, был бы рад этой встрече, но теперь, со своим припухшим от алкоголя лицом, ужаснувшись, что отвык от своего имени-отчества — ведь не обернулся на него, искал момента, чтоб сунуть руку и поскорее сбежать.

На «Как дела?» он обреченно, по-детски махнул рукой:

— Дела были. — Директор, пряча глаза, смотрел на золотистый кленовый листок на Сашином пиджаке.

— Я вообще-то слышал,— понимающе покивал бывший ученик.

— Дело уже на принцип пошло. Я ведь не сдавался. А они подговорили ученицу, что я ей прохода не давал, приглашал в пустые классы... В общем, «...совращение малолетних...» Даже в каталажке пришлось посидеть. Три месяца... Вот такие дела, друг мой... Заходи. Дом мой, наверное, помнишь. Буду рад... У тебя, надеюсь, все нормально...

— Да ничего...

— Дай то Бог!

Директор поспешно сунул руку, затерялся в толпе. Шел быстро, словно старался убежать от стыда, который прожигал мозг, но с минутами стыд переходил в безразличие и слякотное «все равно».

Дома поставил на стол бутылку водки.

— Ты точно себя погубишь! — проворчала его жена Раиса.

— «...погубишь...», «...себя...», — передернул он. — Меня, оказывается, уже давно нет. Оказывается, я уже от своего имени-отчества отвык. А человек без имени — человек без достоинства, а человек без достоинства — прах... Я сегодня своего бывшего ученика встретил. Солидный такой. Он меня несколько раз по имени-отчеству окликнул, а я и не оглянулся. Вот так... Смешнее не придумаешь, — словно пожаловался он. Сидя за столом, утопил в ладонях усталое лицо.

В глазах Раисы выступила боль.

— Мало они над тобой поиздевались, сам себя не бережешь, — участливо проворчала она. — Всем назло надо держаться.

— Душа — это точки пересечения, — усмехнулся Директор. — Вот «обрыв» и еще в одной точке... «Кристаллик» разрушается... Зачем жить?..

Раиса опустилась на стул рядом. Ударила тишина. Лишь за окном, радуясь солнечному дню, щебетали птицы.

Вошел Азор. Белый шарф, как всегда, был обмотан вокруг шеи, над черным свитером. Прислонившись к дверному косяку, обратился к Раисе:

— Мама, а почему меня так все осматривают? Когда я иду по улице, все глаза — на меня? — как за помощью обратился он к матери.

— А как же! Ты ж у нас вон какой красивый! Вот и смотрят! — как можно беспечней протянула Раиса, поняв, что у сына сейчас была та из редких вспышек сознания, когда он узнавал мир.

— Небось каждый в свои зятя тебя метит! — в тон жене подхватил Директор.

Азор смотрел в раздумье, словно сомневался в искренности родительских слов:

— Удивительно как-то!

Он качнул головой, взгляд его убежал вдаль, замер, и скоро в нем появилось прежнее выражение какой-то оглушенности и заботы. Он тщательно стал расправлять свисающий с груди конец шарфа, сутуло вышел. Комнату настигла гнетущая тишина.

Директор выпил рюмку водки. Закурил.

Вспомнив, что еще не снял галстука, сначала расслабил, но через минуту стащил его с шеи.

Со двора донесся звук шагов. Вера, жена Богдана, с тревожным лицом появилась в кухне. В руках держала красную сумочку.

— Что-нибудь случилось? — Раиса поднялась навстречу, подала стул.

— Как Богдан? — быстро спросил Директор.

— Не знаю, что и делать. — Она положила сумку на стол. — Плохо с Богданом. Я боюсь за него. Вот...

Она раскрыла красную сумку, дрожащими, непослушными руками вытащила пистолет. Директор и Раиса ошарашенно переглянулись.

— Это тот самый, что он тогда привез? — вспомнил Директор рассказ Богдана о Холмах, найденном в снегу пистолете.

— Тот самый... Я вас очень прошу: спрячьте, пожалуйста. Только не говорите ему... Как мне жить? Как жить? — Она вытерла слезу.

Директор повертел в руках пистолет, положил на стол рядом с хлебницей. В раздумье, тяжело вздохнув, обронил:

— Потерявший надежду обретает оружие...

— В эти последние дни ходит — не узнаешь его, — плакала Вера. — Чуть что — не хочу, говорит, жить. Горе дочери убивает его... И еще... безденежье... Помогите ему, — обратилась она к Директору. — Может, если бы он снова свою работу начал, может, забывался бы хоть... Он вас очень любит. Поговорите с ним...

— Хорошо, хорошо, — успокоил ее Директор. — Я прямо сейчас и пойду. Он дома?

Вера, промакивая глаза платком, кивнула. Директор унес пистолет и скоро зашел за ней:

— Пойдем, доченька... ничего, все образуется...

Директор привел к себе Богдана, по пути захватили и Фарсида.

Сосед Директора напротив, готовившийся к строительству нового дома, уже снес старый, огораживал опустевший двор дощатым забором.

Возле бордюров был завален сбрубок ствола тополя. В середине его, словно обгрызенное яблоко, была снята еще осенью кора. Ствол в этом месте уже почернел. Богдан обратил на него внимание, невольно вспомнилсь слова Директора: «Человек в этом мире — как дерево без коры».

— Помнишь? — кивнул Директор. — Так и получилось. Дня три назад завалили. Одним ударом ковша. Кору-то на дереве не было. Высохло. И корни, конечно, усохли. Вот как, — он кивнул на коричневые безжизненные корни, похожие на разлохмаченную голову.

— Я часто вспоминал твои слова... Когда за лекарством ездил. Так оно и есть... «...как дерево без коры...», — в раздумье о чем-то своем произнес Богдан.

— Ладно, пошли, — поторопился Директор увести их от поваленного ствола тополя.

Разместились во времянке Директора, в этой его «штаб-квартире». Под невысокий уютный потолок тянулся ароматный дымок сигарет, тёк неторопливый разговор.

На столе высились две бутылки водки, минеральная вода, жаренное на сковородке мясо, длинные дольки парниковых огурцов. Одна бутылка, уже опустошенная, стояла возле ножки стола.

Разговор друзей кружил вокруг мирских дел, политики, знакомых людей, женщин, давнего и недавнего прошлого. Как и обычно, когда мужчины собираются вместе, чтоб опрокинуть рюмку-другую, обмануть на время тоску.

Богдан откинулся на спинку софы. Белый шнур, сползавший по стене от бра, коснулся уха. Поймав черный маленький переключатель, Богдан несколько раз щелкнул им: включил-выключил, включил-выключил. Под потолком, брызгая тусклым светом, то вспыхивало, то гасло похоже на два сдвинутых бокала, резное бра.

Директор и Фарсид, подняв глаза, с глуповато-хмельными улыбками следили за миганием бра: щелчок — свет, гаснет — тишина. Щелчок — свет — тишина.

— Понравилось, — добродушно усмехнулся Фарсид, кивнул на Богдана.

Директор взял бутылку.

— Эх, пить будем! Гулять будем! А смерть придет — помирать будем! За мой фирменный тост — чтоб каждый из нас посадил дерево!



Выпив, Директор налег на стол локтями, посмотрел на Богдана, помня, что нужно как-то растряссти его невеселость, громким фальцетом затянул:

— Казбулат удалой, бедна сакля твоя! Золотою казной я осыплю тебя-а!

— Дам коня, дам кинжал, дам винтовку свою! — подхватил Фарсид, и они с усердием прилежно загорланили:

— А за это за все ты отдай мне жену-у!

В этом месте, словно подчеркивая справедливость требования насчет жены, тянули с удвоенным усердием.

Директор вдруг прервал пение, резанул рукой по воздуху:

— Вот, говорят, конец света, атом... никто, мол, не выживет... Ничего мне не жалко! Черт с ним! Но вот как подумаю, что в мире уже никогда не будет звучать песня, музыка замолчит, слово умрет,— страшно становится! Понимаете, не столько человека жалко, как песню его, слово, его печаль. А как мир без песни, как без слова?! Это значит — мир будет без души! А как без души? — Помолчав, Директор тихо, с хмельным проникновением затянул: — Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь...

Фарсид, а потом и Богдан с той же приглушенностью и с чувством подхватили:

— И каждый вечер сразу станет удивительно хорошо, и ты поешь! — с выражением лица профессионалов тянули они. — Сердце, тебе не хочется покоя! Сердце, как хорошо на свете жить! Сердце, как хорошо, что ты такое! Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить!

Довольные, по достоинству оценив свое пение, перевели дух.

— Как же будет мир без песни? — подытожил Директор. — Представляете: все умерло — люди, зверушки, букашки... Сгорели травы, деревья... Все умерло. Мир — как кладбище. Повсюду страшная, холодная тишина. Ни одного слова, ни одного звука! — Директор смолк, но через паузу многозначительно блеснули его глаза: — Но вдруг в этой тишине, в этом бездушном холоде, вдруг песня... Или хотя бы одно слово... пусть без человека, как-то само собой, хотя бы вот это одно слово: «Люби-и». Ей-Богу, от одного этого слова, от одного куплетика весь мир бы волей-неволей снова стал душой наполняться. Снова бы жизнь пошла! Представляете, весь мир в страшной, холодной тишине, все мертво: ни травинки одной, ни муравьишки, и вдруг, сначала так тихо: «Любовь нечаянно нагрянет...» И мир потихоньку наполняется песней, словом, и вот из

черной земли травинка пошла, другая, третья, глядишь — и пчелка весело зазвенела! Смотришь — и жизнь пошла! Пошла себе потихоньку! Глядишь — черные развалины незаметно садами покрылись, птахи запели. А там — и Человек! — важно произнес Директор, но задумался и безнадежно махнул рукой: — Опять все испоганит человечина!

Фарсид и Богдан разом рассмеялись этой неожиданно обреченной концовке.

— Вот поэтому я и говорю! — как в оправдание, чуть смутившись, защитился Директор. — Не человека жалко, а его песню, его слово, душу... А в общем, как без человека? Хоть и неважные мы получились штуки, но что есть, то есть.

— «Есть» невеселое: резня, ненависть. Один другого с дерьмом готов сожрать! Только что на сковородке не жарят друг друга, — с неприязнью произнес Богдан.

— На сковородке хоть честнее — поймал, зажарил, — усмехнулся Фарсид. — Но люди сначала исподтишка друг другу душу выедят...

— Духовный каннибализм. — Взгляд Директора в раздумье убежал вдаль.

— Эх, как иногда в школу тянет! — после паузы выговорил он. — А какие у меня уроки были! О-о! Со всего Города учителя приходили! Эх, какой бы я сейчас урок провел! — с азартом бросил он. — А знаете о чем? Не знаете... О душе...

Богдан и Фарсид улыбнулись.

— Без всякой подготовки. Хотите? — Директор хмельно блеснул глазами.

— Хотим! — готовно ответил Фарсид.

Директор вопросительно посмотрел на обоих, решился и резанул рукой воздух:

— Гулять так гулять! — Он поднялся. — Тэ-эк, — для разгона сыронизировал он над собой и прошелся вдоль окна. — Тэ-эк. Пожалуй, начнем, господа, друзья мои. Итак — душа. Что же это такое, господа, душа? Тысячелетиями люди произносят это слово, но никто до сих пор не знает, что она такое и где она...

Богдан и Фарсид поначалу с улыбками наблюдали за марширующим по комнате Директором.

— Прежде всего, давайте согласимся с известной истиной, что есть так называемая мировая душа... Итак, есть одна мировая душа и параллельно ей — наши с вами души. — Директор окинул взглядом свою «многочисленную» аудиторию в лице улыбавшихся Богдана и Фарсида, снова зашагал по комнате. — Изменяется ли мировая ду-

ша? Становится ли добрей? Или с каждым поколением становится все более пустой, безразличной и жестокой? Можно привести сравнение: старики. Старость — это завершение человеческого образа. Злой человек к старости становится дьяволом, добрый — ангелом. Вы, наверное, замечали таких седовласых старичков, даже от взгляда на которых как-то смягчается сердце. Так и душа. Каким бы жестоким ни был этот мир, душа мировая не ожесточается, не черствеет. Она может просто погибнуть — если будет уничтожено все, что питает ее, — люди, если на земле останутся звери в человеческом облике. Мировая душа — это как море, которое питает множество рек — людские души. Душа или есть, или ее нет. — Директор шагнул: — Не в человеке душа, а человек в душе... Так что же такое душа? Это... — Директор взглянул в приземистое окно времянки, в которое втекал край синего апрельского неба. — Душа — это любовь, познавшая скорбь! — Директор торжествующим взглядом обвел влюбленную в него «публику».

— Значит, душа — это познание? — включился в «урок» Фарсид.

Директор, уткнувшись глазами в пол, снова походил по комнате.

— Да, и познание. Это завершенное познание.

— Но ведь познание бесконечно, — придрался Фарсид.

— Истина, что познание бесконечно, для души не срабатывает. Потому что итогом всякого познания является скорбь... А если говорить о любви, то как можно познавать любовь. Любовь она и есть любовь. Это не ремесло.

— Получается, что мир познан?

— И да, и нет. Душой познан, наукой нет. Но душа выше науки, потому что любовь выше всего.

— А что же такое любовь? — спросил Богдан.

— Любовь — это когда боишься потерять... Значит, где-то и скорбь... Вот и получается, что душа — это любовь, познавшая скорбь! — У Директора было довольное и по-детски важное лицо.

— Тогда получается, что душа — это просто скорбь, — снова придрался Фарсид.

Директор задымил сигаретой:

— Нет... Я ведь сказал «познавшая», значит, было и «до». А это и радость, и мечта, ну и... что там еще? Торжество...

Богдан сложил на столе локти, уткнулся глазами в хлебницу.

— Ты большую правду сказал, — пробасил он. — Я это

понимаю. Я это очень хорошо понимаю. Если бы видели, как кричала та женщина над своим раздавленным ребенком, если бы вы видели, как бежали через ночной лес люди, ту кровавую дыру в горле милиционера! Если бы вы видели, как Алка тянулась к этой зеленой травинке!

Он стиснул в руке бокал, на щеках пошли желваки. Кулак Богдана сжимался сильнее, рюмка хрустнула в руке. Не обращая на это внимания, он секунду-другую не разжимал кулака, потом, раскрыв дверь, выбросил осколки во двор. Руку не повредил, лишь несколько осколков торчали в подушках ладони.

Директор виновато засуетился, достал откуда-то одеколон. Протянул Богдану. Тот мягко обнял его за плечи, дружески подмигнул:

— Пока пьем водку.

Рассмеялись. Разом рассеялась тревога, стало легко, будто эта фраза отменяла грустное настроение...

Подбирались сумерки...

## 5

Богдан посмотрел на часы — десять вечера. Андрей не появлялся. Уйдя в школу к восьми, домой не вернулся. Молчаливо собрались во времянке: Яна, Вера, Богдан. Взгляды при малейшем звуке, похожем на скрип калитки, с надеждой обращались к темному ночному окну.

Вера в отчаянии ударила себя по коленям:

— Куда идти?! Что теперь я буду делать?!

Богдан прошелся по освещенной комнате, у дверей остановился:

— Обойду всех еще раз...

Янка пошла следом. «Лада» едва ползла по ночным улицам. Увидев случайную мужскую фигуру, Яна вглядывалась в темное стекло. Свет от щитка приборов тускло освещал озабоченное лицо Богдана, неотрывно следившего за притихшей ночной дорогой.

— А может, у него и вправду есть какая-нибудь «юбка»? — снова, чтоб как-то успокоить отца, спросила Яна.

Это и вправду подействовало. Он с благодарностью ощутил присутствие своей младшей дочери, своей Янки.

— Я никогда вас и пальцем не трогал, но если твой брат, дай Бог, заявится, то ему несдобровать.

Это прозвучало не как угроза, а, скорее, как молитва, чтоб с сыном ничего не случилось и он вернулся живым и невредимым.

Андрея ни у родственников, ни у друзей не было. В полночь в который раз обзвонили все специальные службы города.

Вера то и дело выходила на ночную улицу, с надеждой взглядываясь в черную ночную даль. До утра просидели во времянке, замирая от каждого ночного звука.

Андрей появился часов в десять, с мутными хмельными глазами, в измятой одежде. Вера с плачем бросилась к нему, долго не могла успокоиться, ничего не замечала: главное — сын жив и здоров.

Богдан, уставший от тревожных мыслей, бессонной ночи, увидев сына, лишь безвольно свесил на грудь большую с сильной проседью голову:

— Потом поговорим!

Может быть, все так и замялось бы, но Андрей развязно, с хмельными замутненными глазами прошелся по комнате:

— Я не сопляк какой-нибудь, чтоб искать меня! Живите спокойно,— пьяно наставил он.

— Иди проспись, потом решишь, как жить. — Богдан сдержал гнев.

— Решим, не решим,— передернулся Андрей. — Сам знаю... Тоже мне, деловые.

Богдан сорвался со стула, вlepил Андрею пощечину:

— Молчи, подонок!

Вера, вскрикнув, стала между ними:

— Богдан!

Андрей, схватившись за щеку, зло блеснул глазами:

— Мясник!

— Андрей! — умоляюще воскликнула Вера.

— Вон! Вон из дома! — Богдан пытался оттолкнуть жену, достать за ее спиной Андрея, но она стояла на пути, перехватив его руки.

— С удовольствием! Мне не нужен этот ваш вонючий дом! В ваш этот дом от вони нельзя зайти! — крикнул Андрей.

Во времянку на крик вошла Яна:

— Андрей, как тебе не стыдно?! Это же твоя сестра! Она же больная!

— А-а! Благородная! Горшочки выносит, за сестренкой ухаживает! Ты лучше со взрослыми мужиками не шатайся! Шлюха! Сопливая шлюха!

— Ты что? — тихо выговорила Яна.

— А то!

— Андрей! — оборвала его мать. — Люди услышат!

— Что Андрей?! Что услышат?! Люди уже мне всю

душу сожрали, весь город знает, что она с этим писателем снюхалась! Мне из-за нее стыдно по улицам ходить! Домом они упрекают! Ненавижу вас и весь этот вонючий дом!

От удара Богдана Андрей отлетел к стене, сполз на пол. Яна выбежала из временки. Богдан зло посмотрел на Веру. Та безвольно опустилась на стул.

— Кто-то оклеветал девочку... Мне уже намекали... Погибли мы полностью.

Яна закрылась в маленькой комнате, которая была ее с сестрой спальней. Сидела на полу, прислонившись спиной к стенке. Покачивала головой, сдерживая слезы. «Сопливая шлюха!» Память как будто специально подставила несколько мгновений, когда Янка заметила насмешливое за спиной шушуканье. Это было однажды в школе и несколько раз на улицах. Недавно. Тогда она не придавала этому значения, но теперь с ужасом поняла, что это значило.

В комнату несколько раз входили отец и мать. Пытались успокоить. Яна из спальни не выходила. Одни и те же мысли, обрывки воспоминаний томили мозг, опустошали душу.

Яна вышла в зал. Алла лежала на софе, пристально на нее посмотрела, губы не шевелились, напряглись глаза. Яна достала из серванта книгу Фарсида, раскрыла на фотографии. В черных глазах угадывалась еле заметная улыбка.

«Сопливая шлюха»... На душе вдруг стало мертво-спокойно, ко всему проявилось безразличие: если говорят, то пусть... теперь все равно...

Яна оглянулась на Аллу. Та улыбнулась ей какой-то виноватой улыбкой. Минуту подумав, Яна достала из серванта красную шкатулку. Под паспортами, стопкой других документов лежали запасные ключи от машины. Руку с ключами Яна завела за спину, склонившись над софой, поцеловала сестру в лоб.

Машина Богдана весь прошедший день и ночь из-за Андрея не заезжала во двор и сейчас стояла перед домом, сверкая красным кузовом под ярким апрельским солнцем. Яна села за руль, из-под задравшегося платья выглянули мягкие овалы коленей. На круглом циферблате часов ритмично скакала тонкая секундная стрелка — без десяти двенадцать. Яна мягко тронула машину с места.

На улицах в ее сторону неизменно поворачивались любопытные лица. «Назло! Всем назло!» Ей казалось, что вслед летят сплетни. «Назло!» Она вызывающе спокойно

откинулась на спинку кресла, небрежно поддерживая руль снизу, словно ей в этом мире на всё наплевать. И машину вести не стоит никаких трудов.

...Фарсид сидел за рукописью в своей дальней комнате. Из прихожей донесся громкий голос Янки. Она разговаривала с его женой.

— Наш писатель хотел на машине покататься.

— Ну и хорошо,— покровительственно сказала Лена. — Хотя ты его на улицу вытащи. А то он от своего стола ни на шаг не отходит. Только не сломает он вашу машину?

— Не дадим!

В дверях появилась стройная фигура Яны в легком светлом платье. Насмешливо, хотя Фарсиду показалось — нарочито насмешливо, окатила:

— Ну что, товарищ писатель, машина подана. Посмотрим, на что мы способны. Прошу.

Она протянула руку. На раскрывшейся аккуратной ладони лежали два вдетых в кольцо серебристых ключа.

...Богдан увидел Яну издалека: она с Фарсидом уже садилась в машину. Хотел было крикнуть, но вокруг были знакомые, которые, как уже показалось, успели что-то подметить. До Богдана долетел приглушенный хлопок дверей, машина красным пятном растворилась далеко в конце улицы...

— Смелее, товарищ писатель,— подзадорила Яна, когда они проезжали через шумный перекресток. Светофор не работал, мигал один желтый свет.

Петляли по городу. Яна смотрела на Фарсида. Его близость, та клевета, переданная Андреем, казалось, соединяли ее с Фарсидом какой-то невидимой, страшной и сладкой связью.

— Мороженое хочу,— кокетливо приказала Яна. — Если найдешь мне мороженое, поцелую... В щеку.

Фарсид взглянул. Красивая головка — короткие каштановые волосы, резкие, уголком, черные брови, аккуратный прямой нос, чуть припухлые губы, нецелованный еще ротик. Захолонуло.

— Мороженое детям не рекомендуется,— с хрипотцой произнес Фарсид.

— А я не для себя,— шпильнула Яна и через минуту махнула рукой: — Черт с ним, с этим мороженым... поехали лучше на трассу. По городу не поездишь.

Красная «Лада» выскользнула из последних кварталов окраины, позади остались серые, скученные под солнцем

жалкие многоэтажки. Маслянисто-черная лента широкого двустороннего шоссе выбросилась из-под колес далеко вперед.

Проезжали мимо стеклянного, на высоте, поста ГАИ.

— Зацапают. У меня даже свидетельства о рождении нет,— усмехнулся Фарсид, не отрывая глаз от дороги.

— Не волнуйтесь, товарищ писатель. Здесь все папины знакомые.

Машину не остановили, только из стеклянного «скворечника» внимательно проследило за автомобилем вопрошающе лицо под красной фуражкой.

Насмешливая еще пять минут назад, на трассе Янка притихла, обхватив колени руками, молчаливо смотрела на пробегающие за окном поля — огромные ярко-зеленые прямоугольники с молодыми, еще невысокими побегам.

— А про нас говорят... — неожиданно выронила Янка.

— Про кого — про нас? — быстро взглянул Фарсид.

— Вернее, про меня...

Фарсид прижал машину к обочине, остановился:

— Что «вернее, про меня»?

Яна смотрела с такой мольбой, секунду помедлила и, словно пересилив себя, выпалила:

— Что я гуляю с тобой! — Она отвернулась к окну.

Взгляд Фарсида медленно стек с замершей ее фигуры, глядя на дорогу. Он облокотился на руль. Салон придавила тишина. С резким шелестом, точно вихри, обходили машину стремительные на трассе автомобили. На часах в черном щитке приборов торопливо бегала нервная секундная стрелка.

— Это Двушник... — в раздумье выдавил Фарсид. Память выудила из своих глубин гнусную ухмылку: «Она, кажется, к писателям неравнодушна...», «...тебе на глаза показаться...» — Мрази! Родную мать оклеветают! — с ненавистью выговорил Фарсид. — Поганка.

— Двушник — это который папин товарищ? — спросила Яна.

— «Товарищ»... А твои дома знают?

Яна, глядя в окно, молчаливо кивнула.

— И что они?..

— Что, что? — взорвалась Яна. — Что ты меня допрашиваешь? Что, испугался уже? Пи-са-тель! Не бойся. Мой папа тебя не тронет! Вы все трусы! Вы не мужчины! Только за свою шкуру трясетесь! — Янка вырвалась из машины, зло хлопнула дверь. — Я еще любила его! — Плача она пошла вдоль обочины.

Фарсид медленно повел машину следом. Из проносив-



шихся мимо автомобилей с веселым любопытством озирались быстрые лица. Обогнав Яну, Фарсид вышел из машины навстречу ей.

— Ты меня не так поняла! — Он взял ее руку.

— Не прикасайся! Я ненавижу вас!

Она вырвалась и быстро пошла вперед. Ей вслед проигналила какая-то машина. Фарсид в растерянности оглянулся, сел за руль, догнал. Яна ускорила шаг. Фарсид газанул, обойдя ее метров на сто, остановился. Через заднее стекло была видна хрупкая, распрямленная фигурка в белом платье.

Снова припомнилась ухмылка Двухника. Фарсид невольно сжал руками руль, припал к нему грудью. Как все теперь будет? Надо разобраться! Но кто признавался в своей клевете?! Теперь эти звери девчонку добьют.

Фарсид еще раз посмотрел на заднее стекло: Яна голосовала. Первая машина пронеслась мимо... Вторая... Третья... Четвертая... Синяя «Лада», притормозив, съехала к обочине, остановилась метрах в пяти впереди Яны. Из дверей выглянула мужская голова, тут же открылась задняя дверца. Янка подбежала, пригнувшись, исчезла в машине. Фарсид уже шел навстречу, вскинул руку:

— Стой!

Синяя «Лада», быстро набирая скорость, пронеслась мимо, обдав струей воздуха. Сквозь лобовое стекло Фарсид увидел два мужских лица. Хохотали. На заднем сиденье мелькнула белая одинокая фигура Яны. Фарсид бросился к машине, неумело загазовав, дернул машину.

Напряженно впившись в руль, так же неумело, на большом расстоянии, едва не срываясь на зеленую бровку к встречной полосе, обгонял настороженные лица водителей.

Некоторые из шоферов, не желая ступать дорогу, прибавляли скорость.

Синяя «Лада» скрылась за красным автобусом, который начал ее обходить. И легко обошел. Фарсид пристроился в хвосте машины, увидев в заднем стекле обернувшееся на мгновение лицо Яны, легко вздохнул. Выдавлив длинный, долгий сигнал. Машины мчались уже далеко от города — километрах в тридцати. Синяя «Лада», качнув прогнувшимся прутиком антенны, резко пошла вперед, стала нагонять обошедший ее автобус. Фарсид выдвинул педаль акселератора. Несколько секунд ехали рядом позади автобуса, бок о бок. Фарсид мельком увидел усмехавшееся лицо водителя. Рядом виднелся острый мужской профиль. Фарсид сбросил скорость, снова пристроился в хвосте.

В заднем окне вновь показалось лицо Яны, но уже с тревожными глазами.

Фарсид еще раз выдавил длинный сигнал. Из шоферского окна вылезла разлохматившаяся голова, обернувшись, зверино усмехнулась.

Вдоль обочины быстро мелькала длинная шеренга тополей. Синяя «Лада» скрывалась из виду. Фарсид снова нажал на газ. Между синим, пружинящим в езде багажником и красным капотом его машины уже было метров пятнадцать. Фарсид пошел на обгон. Синяя «Лада» подпустив его ближе, вдруг неожиданно клюнула влево, заслоня дорогу. Фарсид ударил по тормозам, резко вывернул руль; визжа тормозами, его машина рванулась влево, скрежеща по асфальту металлом, несколько раз перевернулась и, все еще скрипя смятым железом, стала колесами вверх.

В заднем стекле синей «Лады» застыло кричащее лицо Яны.

Шофер и сидевший рядом с ним мужчина переглянулись.

— Не останавливайся, жми! — бросил второй.

— Остановись! — Яна содрогалась всем телом. — Остановите!

Она рванулась к двери, но тут же второй перелез к ней на заднее сиденье, схватив за волосы, опрокинул себе на колени. Борясь с Яной, защелкнул кнопку двери.

Яна пыталась высвободить волосы, но мужская рука цепко впилась в них.

— Лежать!

— Что будем делать? — Из зеркала обзора смотрело тревожное лицо шофера.

— Лежать! — Костлявые руки удерживали Яну на коленях. — Ах, какая свеженькая! — Он рванул на ее шее платье, обнажив грудь.

— В лес! — С горящими глазами, удерживая одной рукой волосы Яны, другой борясь с ее телом, заскользил жадным ртом по обнажившейся груди.

Машина свернула с обочины, петляя по кочкам между деревьев, углубилась в лес.

...Ударил пронзительный девичий крик и, словно подстреленный, резко исчез.

## 6

Глубокая ночь. Богдан, не помня себя от гнева, скорым шагом летел по темным улицам. Мир, погруженный

в мрак, тускло освещен далекими звездами. Как миллионы гнойничков, звезды вкраплены в черную, словно разложившуюся, плоть неба.

Разгоряченный мозг Богдана с каждым новым шагом, казалось, раскалялся больше.

«Уйди!» Вера никогда еще не кричала на него так, как в ту секунду, когда он во второй раз вошел в спальню к дочери. Яна лежала на кровати, обратив какое-то постаревшее лицо к потолку. Ее глаза. Он никогда не видел таких глаз — пустых и бессмысленных. Разодрано платье... Девчонке всего лишь четырнадцать лет.

Ночные улицы тихо затаились. Но в них не было тишины, они гудели от боли и криков. «Твой друг Двушник...»

«Как же мы будем жить, Богдан?!» Этот отчаянный возглас Веры сверлил мозг. Через квартал дом этой мрази. На лбу выступил холодный пот. Тело било в ознобе, как в болезни: «Убить!»

Вот эти ворота. Богдан забил кулаками по калитке. Где-то рядом мгновенно тявкнула собака, тут же, следом, взорвав ночную тишину, по всей округе поднялся истошный беспорядочный собачий лай.

Богдан беспрерывно бил по воротам, загромыхал кольцом засова. Из форточки уличного окна высунулся черный кочан головы:

— Богдан, ты?! — сквозь нестихающий лай возник встревоженный голос Двушника.

— Да!

— Сейчас!

В окне загорелся свет, через минуту заклацали замки дома, задвинули ворот. Кутаясь в халат, из калитки вышел Двушник.

— Что-то случилось?! — В ночи блеснули белки глаз.

— Случилось?! — Богдан за борта халата притянул его к себе. — За что ты девчонку оклеветал, сука?!

К испуганному лицу Двушника угрожающе подступило дыхание Богдана.

— Ты что, Богдан?! Какую девчонку?! Кто тебе сказал?! — напуганно пролепетал тот.

— Свидетели нужны?! Мразь! — Ожесточенно сверкнули глаза Богдана, он прилепил Двушника к забору, вновь стянул ворот под его горлом.

— Ты что, Богдан?! Ты что?! Это не я! — умоляюще лепетал Двушник.

В долю секунды они оба вдруг осознали, что имели одну и ту же мысль. Ослабленные в то мгновение руки Богдана впились в горло Двушника.

— Мразь! Я знал твою душу...

Двушник впился в его крепкие руки, стараясь оторвать их от горла, но напряженные, как натянутые канаты, они сильнее перекрывали дыхание. Силясь одной рукой разжать пальцы Богдана, другой, ткнув в его лицо, стал выдавливать глаза.

Богдан рванул головой, сильнее сжал пальцы вокруг хрипнувшего горла Двушника.

В какую-то секунду вдруг схлынула с сердца ярость, душа прояснилась какой-то внезапно остудившейся мыслью, что он должен быть выше этого жалкого зверька, выше и, значит, не действовать его методами — уничтожать.

Руки Богдана отпустили судорожное холодное горло.

— Живи, падла! — глухо бросил он.

Двушник бессильно опустился на асфальт, тяжело дыша, ткнулся головой в подогнутые колени.

Богдан брезгливо потер ладонями, глядя на ссутулившийся в ночи, похожий на пса возле забора, человеческий ком, с неприязнью расставил:

— Даю тебе двадцать четыре часа... Чтоб духа твоего в Городе не было! Понял?

В освещенном окне из форточки выглянуло встревоженное лицо жены Двушника:

— Кто там?

— Понял? — повторил Богдан.

Тот молчал.

— Я тебе говорю! — Богдан ударом ступни поддел его ногу, завалил на бок.

— Понял, понял! — Припав на руки, Двушник спиной отполз к калитке, юркнул в нее, загромыхал засовом.

Устало привалился спиной к забору. Ноги бессильно дрожали, гнулись в коленях, и казалось, вот-вот тело рухнет на землю. В ночи был слышен тяжелый удалявшийся шаг Богдана.

Тяжело дыша, Двушник оттолкнулся ватной спиной от забора. Открылась дверь дома, на крыльцо упал сноп света и словно выманил из дверей белую в ночной рубашке фигуру Камы:

— Что случилось?

Она шагнула по крыльцу в полоске света. Двушник без ответа, хватаясь за перила, тяжело поднялся по ступенькам крыльца, протесался мимо жены.

— Закрой двери, — вяло приказал он.

На кухне за белым столом опустился на табурет, припал спиной к панели кафеля. Руки свесились к полу, как подвешенные чулки.

— Где там водка?!

Жена открыла холодильник, поставила на стол коньяк.

— Водку!

Распечатанная бутылка водки стала на место коньяка. На плите загромыхали кастрюли.

— Ничего не надо. стакан!

Двушник наполнил его наполовину, потом, поразмыслив, плеснул еще и, вновь прикинув на глаз, подлил водки до золотистых ободков.

— Маленько не рассчитал! — повеселел он после выпитого. — Не столкнулись «люди». Неисчислимая случайность. — И усмехнулся: — Даун опасен прежде всего для самого себя. Это — да!

Кама, скрестив на груди пухлые, с черными штрихами волос руки, сидя напротив на стуле, безмолвно уставилась в сверкающий паркет кухни.

— Да, столкнуть не получилось, — с усмешкой продолжил он. — Спичечка подождла не то... А как хорошо получилось! Все отгадал! Эх, как бы они столкнулись, — смачно проговорил он и представил, как схлестнулись бы Богдан и Фарсид.

Борта его халата распахнулись, обнажив черный от волос живот. Двушник, как за струны, легко подергал за волосинки.

— Срок мне дал — двадцать четыре часа, — хмыкнул он. — Из Города меня выселяет. Меня — а? Дурашка! Со-ол-нечный человек! — криво усмехнулся он.

Кама пристально, злыми глазами стрельнула из-под высокого лба. Взгляд показался долгим, пронзающим ненавистью.

— Вот так глаза! Что-то этого мы за собой не замечали! Что это с нами? Ы-ы? Хорошо живется, наверное? — пьяно иронизировал он.

— Слишком.

— Что?! — с презрением протянул он.

— Ничего.

— Иди в постель!

Кама поднялась.

— Стой! Садись!

Кама послушно села, дрогнули под белой рубашкой широкие груди.

— Спать! — снова скомандовал Двушник.

Кама поднялась, шагнула к двери.

— Сидеть!

Кама остановила взгляд на перекосившемся в злобе лице. В ее затуманившиеся глаза влажно вплыла боль, две слезинки покатали к губам:

— Как я тебя ненавижу! — Смахнув пальцами слезы, Кама облокотилась о стенку.

Двушник посмотрел расширенными зрачками.

Сквозь белые узорные занавески дырявыми пятнами просвечивала ночь. Урчанье холодильника показалось громче обычного.

— Что еще надо? Говори, я хочу спать, — сглотнув слезу, с мольбой попросила она.

От этой неожиданной покорности он в секунду изменился в лице, словно вдруг что-то переиначило его душу. Он припал перед Камой на колени, обхватив ее ноги, целовал сквозь белую длинную рубашку, быстро выговаривал:

— Не уходи! Я знаю! Я все знаю! Я ненавижу себя сам! Прости меня! Если бы ты знала, как хочется чистоты! Я бы все отдал за кусочек чистой души! Я не виноват! Я не виноват, что мир дал другим все — талант, а у меня все отобрал! Кама! Я ненавижу этот мир! Только ты у меня! Только ты!

Она безразлично смотрела вниз — на скользящую по ее ногам голову, с возникшей неприязнью высвободилась из его цепляющихся за платье рук, ушла в сумрачное нутро дома.

— Звери! Все звери! — Оставшись на коленях, он зло вlepил кулаком по сверкающим плиткам кафеля.

— Звери! — Он припал на обе ладони.

Оказавшись на четвереньках, в свисающем как шкура халате, с горящими глазами, уткнулся головой в стенку.

## 7

Черная «Волга», сверкая под свежим утренним солнцем, скользила по весенней зеленой улице. Двушник с небрежностью выбросил руку из окна, правой рукой удерживал тугой руль. Взгляды людей, как прицелы, сопровождали его машину. Он внутренне снисходительно ликовал: «Волга» его хорошо вписывалась в это ясное утро под синим чистым небом на этих, с цветущими деревьями, уютных улицах города.

Ночные страхи, ползанье по асфальту в ногах Богдана как будто и не тревожили нутро, а если как-то напоми-

нали о себе, то чтоб вызвать усмешку: все еще впереди, кто кого — время покажет.

Машину припарковал на стоянке для служебных машин напротив пятиэтажного серого здания с гербом на фасаде.

У его давнего приятеля Степана — светлый небольшой кабинет: два столика буквой «Т», телефон, горшочки цветов на стенах. Степан раскрыл объятия, вышел из-за стола:

— О-о! Кто к нам пожаловал! — Выдвинул два стула.

В дверь сунулась женская голова с красными, пухлыми, как слива, губами:

— Степан...

— Занят, занят! — опередив ее, он вскинул обе ладони и снова с сочувствием стал слушать Двушника. Из глаз выпирало усердное аханье: что, мол, творится на белом свете, — и покачивалась голова: — Да-а!

Двушник, видя это льстивое внимание, внутренне усмехнулся: учуял, шакал, что пахнет вкусненьким.

— Двадцать четыре часа мне дал! — хмыкнул Двушник, откинувшись на спинку стула. — Со мною силенками вздумал потягаться!

— Богдан... Богдан... — Усиленно ковыряясь в памяти, Степан почесал макушку большой тыквистой головы.

— Да ты слышал о нем... Вот вспомни-ка: вечер, моя машина, эта шлюшка Настенька... А до нас ее посадил один мясник: «Ты мне в дочери годишься...»

— А-а! — Степан радостно хлопнул себя по колену. — Я тогда еще одну штуку выдал: «Женщина не согрешит — и Бог не родится». Я эту фразу здесь своим рассказал. Уссыкались от смеха! — Степан был весел и счастлив. Но через минуту снова принял озабоченно-деловое лицо: — Да, конечно, я тебя понимаю. Таких мясников лучше сразу... Но задачка, прямо скажем, не из простых! — Степан в раздумье зашагал по своему небольшому кабинету.

«Стратег! Рисуется», — усмехнулся про себя Двушник, но подсластил:

— Я понимаю, Степан, что дело непростое, но ты тоже голова что надо. Да и авторитет у тебя вон какой! А там... сам знаешь: устроим пир на весь мир! Разумеется, и остальное...

— Да, все это так... — Степан в раздумье взялся за телефон.

В кабинете встала на цыпочки тишина.

— Макар Федорович?! — приветливо-сладко защебетал Степан в трубку. — Добрый день! Да, это я! — Он ши-

роко улыбался невидимому Макару Федоровичу, и казалось, что, окажись тот рядом — тут же начал бы смахивать с него пылинки. — Есть один заинтересованный разговор! — Степан нажал на «заинтересованный» и, уже договорившись, словно в смущении затеребил черный шнур телефона...

— Ага, ага. Есть! Есть! — Положив трубку, с достоинством поправил черный узел галстука: — Через свое начальство я не стал... Сам понимаешь... А это секретарь райкома Города... Едем!

От Макара Федоровича Двушник возвращался с большим чувством собственной значимости. Подбросив Степана к месту его работы, поразмыслив, направил машину к Директору. Включил магнитофон.

Солнечное утро... Всего десять часов, а дел выполнено на все пятьдесят процентов... Музыка... Хорошее настроение, а впереди еще наслаждение от мести и другие радости. Что еще надо человеку в этом мире! От удовольствия Двушник даже заерзал за рулем. Что, интересно, сейчас делает этот мясничка? Богда-ша. Что-то натворила его маленькая ссыкушка с этим писателем. Тот на грани... Выживет — черт с ним, не выживет — еще лучше... Мошкара...

Директор сидел за сараем в тенечке, глядя на свой засохший сад, курил. Среди омертвевших деревьев робкое цветение маленьких побегов напоминало плесень или паутину среди горелой декорации.

Увидев Двушника, приветливо поднялся на встречу. Поговорили о жизни, которая «с каждым днем все хуже»: Мир трещит по швам: кругом страшные землетрясения, бушуют вулканы, наводнения, одним словом — звереет мир, а следом, точно беря с него пример, звереют и люди.

— Вызверятся! — с самодовольной ухмылкой подкрасил Двушник и расшифровал: — Просто сейчас, как никогда раньше, выявляется наша людская звериная сущность. — Он тактично подчеркнул «наша» и, подумав, многозначительно выдавил: — Век откровения!

— Правда, правда, — поддержал Директор. — Говорят, век атома, космоса и еще чего-то там, но точно — век откровения. Все вылезает наружу.

Двушник еще с первых минут с удовольствием отметил, что Богдан у Директора не появлялся, и, значит, о вчерашнем... никто ничего не знает. Но для успокоения души (все-таки затем и приехал сюда) как бы мимоходом, невзначай спросил:

— Богдана сегодня не видел?

Директор в раздумье покачал головой:



— Богдану сейчас ни до чего... Такое горе...

— Что сделаешь? Дай Бог ему помощи! — «взгрустнул» Двушник.

— Лишь бы человек не сломался! Лишь бы душа не сгорела!

— Ничего! Мы его в беде не оставим! — твердо пообещал Двушник.

— Надо! Надо! Много раз вместе хлеб-соль делили.

Послышалось шарканье шагов. Из-за сарая выплыла сутулая фигура Азора: потертые джинсы, поверх светлой рубашки белый шарф вокруг шеи.

— Я вас приветствую, господин художник! — Двушник почтительно пожал узкую прохладную руку. — Жених! — кивнул он Директору и невольно сам залюбовался красивым лицом парня: выписанный крутой лоб, резкие брови и губы. С горбинкой нос, приятные, на первый взгляд, и без следов болезни черные глаза. Лишь двух- или трехдневная щетина придавала его лицу несколько неопрятный вид.

— Жених! — Директор сам невольно залюбовался сыном.

— Если хочешь — поездим сегодня со мной! — Двушнику захотелось показаться перед Директором великодушным и добрым.

В глазах отца мелькнули радостные искорки, но он с неуверенностью спросил:

— А не будет там... мешать...

— Да нет, наоборот! Поехали, брат мой! — Он обнял парня за сутулые плечи.

Азор сидел на переднем кресле, молчаливо смотрел на летящую под колеса серую дорогу.

«Что сейчас делает этот мясничка?» — с усмешкой победителя в который уже раз подумал Двушник о Богдане.

И весь этот день был пронизан нитями невидимой меж ними связи...

Богдан быстро шел к центру Города. Решать свои вопросы без машины было непривычно, пешая жизнь казалась неприятно-удивительной и в чем-то унижающей. И несколько знакомых, видно, еще не знавших об аварии, увидев Богдана, улыбались одной, схожей улыбкой:

— А че... без машины?

— Так, ударился. — Богдан торопился уйти и, уже поднакопивший опыта, шел по улицам с оглядкой: только бы снова не повстречать кого-нибудь из знакомых.

Душный полдень стоял над городом. Конец апреля, казалось, подзаянял у лета жары и усердно жарил обмякшие людские фигуры.

Богдан, воровски оглядываясь, повертелся у доски объявлений «Продаю. Меняю». Представив, как на одном из таких приклепленных листков будет напечатано «Продается дом...», а дальше его адрес, дрогнув душой, «открестился» от застекленного щита и, словно кто-то подсматривал его душу, торопливо зашагал прочь. Мозг постыдно горел.

Но все дальше отходя от доски объявлений, остывая душой, он с болью думал о Яне: «Все равно ее нужно увезти из этого города, как можно скорее спасти девчонку от людской клеветы и — кто знает — откровенного зла». Все мысли Богдана были обращены к Яне, точно и не было другой беды — болезни Аллы, словно не было унижений безденежьем, людских плевков — только забота о Яне. В какие-то минуты казалось, что стоит только продать дом — все вдруг изменится, все залечится и забудется, и после стольких бед — снова в другом, новом, доме поселится с ними новая, радостная, жизнь. В эти секунды жаркое, душное небо казалось светлым, мудрым и надежным. И хотелось жить.

Сновали по улицам шустрые автомашины, размеренно властно мигал на перекрестке трехглазый светофор. Богдан вернулся к небольшому киоску возле щита объявлений и, все еще преодолевая неловкость, склонился к окошечку:

— Объявление можно дать?

— Какое вам?

Богдан хотел сказать, что продает дом, но, словно поперхнувшись на этом слове, неловко буркнул:

— Насчет дома...

— Продаете, что ли? — Пожилая женщина пристально глянула поверх очков.

— Да.

— Зайдите.

Богдан стал в дверях тесной клетушки: маленький столик, телефон, пухлые книги. Женщина раскрыла толстую тетрадь:

— Значит... продается дом... из скольких комнат?

— Три. Кухня. Ванная.

— Земельный участок есть?

— Есть... Сад...

Вдруг после «сада» Богдану ясно увиделось, как покидает он свой родной двор, дом, который построил сам,

в который вложил все последние копейки, бросает свой сад, который был его душой, выращенный собственным трудом, покидает все. И в эти секунды, как никогда раньше, он понял, что такое для человека родной Город, что такое — Родина.

— Нет! Извините!

Богдан быстро вышел из этой клетушки. Разминая по дороге папиросу, куда-то торопливо шел, словно плутал в безвыходных лабиринтах.

Неожиданно упали на асфальт крупные редкие капли дождя. Через несколько мгновений мощным, шумным потоком на Город обрушился ливень.

Люди разом ринулись в подъезды домов, магазины, жались друг к другу на маленьких сухих пяточках под деревьями, и все, убегая от дождя, улыбались одной стандартной улыбкой. Богдан был неподалеку от какого-то кафе. У его входа на ступеньках, как промокшие воробьи, теснились люди.

Богдан протиснулся сквозь толпу вовнутрь — средних размеров зал: семь-восемь столиков и три-четыре круглых, как грибки, высоких стойки. У витрин выстроилась длинная очередь с подносами, кафель пола, выложенный как шашечная доска, от дождя был уже мокрым и грязным. Людской гул в кафе сливался с шумом бьющегося о толстые окна крупного дождя, и казалось, это было нутро огромной паровой машины. Сквозь затуманенные от стекающей воды стекла были видны расплывчатые силуэты деревьев, набухшее от дождевых потоков серое брюхо асфальта.

Богдан, чтоб не выглядеть «бесплатным» посетителем, купил кофе, пирожков, примостившись за стойкой, делал вид, что занят едой.

На глаза попался худощавый старик в нищенской оборванной одежде. Заляпанная выцветшая рубашка вылезла из мятых, истертых на коленях, засаленных брюк. Старые, когда-то черные ботинки без шнурков с вывалившимися наружу языками были обуты на босу ногу и при ходьбе то и дело спадали, шлепали по мокрому с грязными полосками полу. Отрешенное лицо старика, словно он и не видел окружающее, обросло неопрятной седой щетиной. Старик вяло шлепал меж столов, собирая грязную посуду, сносил в мойку. Зараз он мог унести лишь по одному предмету в каждой руке, так и двигался, выставив вперед две тарелки или тарелку и стакан.

Грязный и, наверное, бездомный, старик помогал посудомойщикам, вот так негласно зарабатывая свою кот-

лету, а если потрудится получше, то, может быть и тарелку борща.

Пораженный увиденным, Богдан чуть не смахнул со стойки свой стакан с кофе. Старик молчаливо шлепал по грязному полу, на секунду замер, глядя на дальний стол, за которым полный мужчина лет пятидесяти пяти с наслаждением уминал тарелку борща. Старик пристально, голодными глазами следил за этим таявшим на глазах варевом, на тонкой шее старика дернулся кадык, потом еще раз дернулось голодно сглотнувшее слюну морщинистое горло. Полный мужчина поднял на него глаза, на секунду перестав жевать, встретился с пристальным голодным взглядом, потом, чуть двинув стулом и повернувшись боком, снова уткнулся в свою тарелку. И уже через секунду с прежним азартом заплясала алюминиевая ложка: вверх — вниз, вверх — вниз, от борща — ко рту, от борща — ко рту. Старик свесил голову, прошлепал к ближнему, только что оставленному столу, поднял грязный, с остатками кофе, стакан, неторопливо выпил. С этим же стаканом, взяв еще пустую тарелку, повернул к посудомойке.

Богдан достал из кармана единственную десятку, которая и для дома была единственной, уставил для старика стол едой и подозвал его.

— Ешь, батя,— он свойски похлопал его по плечу: ничего, мол, брат мой, не беда.

Старик ответил подавленным взглядом, отрешенно уселся за уставленный дымящимися блюдами стол.

Из-за своей стойки Богдан смотрел, как медленно двигались заросшие щетиной челюсти старика. Безучастно, словно перед ним было не то, ради чего весь день таскал грязную посуду, а что-то второстепенное, он машинально, блуждая по каким-то далям отрешенными глазами, медленно ел. Кто был этот человек? И зачем пришел в этот мир? Неужели ради того, чтоб в свои последние дни допивать из грязных стаканов, облизывать чужие тарелки. Для чего и для кого была создана эта жизнь — непостижимо единственная и оскорбленная. Кому, какому Богу было необходимо видеть все это? Кто был этот оборванный человек, и кто был тот Бог, смотревший на все это? Но, может быть, этот старик и не стоил жалости, может, за всю свою жизнь он не раз клеветал, продавал, может, и убивал. И эти его грязные последние дни были заслуженной карой. Но подонки по-другому доживают свои последние дни...

Глаза старика на секунду ожили, в них поселилась печаль, словно вспомнил он что-то самое дорогое, безвозвратно утерянное. Эта неожиданная печаль изменила его

лицо, и оно стало как-то непонятно близким и красивым. Отчего в печали человек кажется человечней и чище?..

Неожиданно над столом старика выросла полная женская фигура в белом халате.

— Что? Стащил? — рявкнула она на старика.

Тот виновато вскинул глаза, замер с ложкой в руке.

— Обнаглели! Посади свинью за стол, так она и ноги на стол! — с неприязнью отчитывала она. — А ну, давай отсюда! — Женщина в белом, с пятнами жира халате безглаголиво, двумя пальцами потащила старика за полинялую рубаху.

Старик послушно поднялся, свесив голову, шагнул к выходу. Сделав три шага, оглянулся на свою еду.

Шумела очередь, осторожно вышагивали люди с подносами.

— Это я ему купил! — зло бросил Богдан женщине в белом, подвел старика на его место. — Что, последний кусок доедаешь?!

— А ты тут мне не выступай, тоже добряк нашелся... Он купил... — Недовольно пробурчав, она покатила к своим кастрюлям и термосам.

— Садись, батя, ешь.

Старик послушно сел, взялся за ложку.

— Кто-нибудь у тебя есть? — спросил Богдан.

Старик снизу внимательно посмотрел на Богдана, секунду молчал, словно раскладывал в уме этот вопрос, как сложную задачу. Потом несколько раз молчаливо кивнул седой растрепанной головой.

— Ладно, ешь. А это тебе на всякий случай. — Богдан сунул в помятый карман рубашки три рубля из оставшейся десятки. — Ешь, ешь! — Он хлопнул по костлявому плечу и быстро пошел к выходу.

Дождь перестал. Перед глазами распахнулось синее праздничное небо, под которым сверкала ярко-зеленая листва деревьев, сиял светлый, словно омытый дождем, весенний мир.

На долю секунды мир вокруг показался мудрым, спокойным и прекрасным. Но это было всего лишь на долю секунды. Уткнувшись в землю, Богдан снова быстро шел по улице. Его душили тяжелые мысли о Яне. Но нужно было выстоять, нужно было найти какой-то выход. Невольно вспоминая Двухника, Богдан, словно с обожженной душой, торопился по шумным улицам, издевался над своим вчерашним благородством: «Не убий...»

Непроизвольно сжимая кулаки, разгоряченно мечтал о мести, поворачивал было к дому Двухника, но знал, что

никогда не сможет убить, снова, не помня себя, метался по городу, как в захлопнувшейся ловушке.

Двушник уже «во всеоружии» готовился принимать нужных людей, на краю города, почти у самого леса. На вечер снял сауну, завез спиртного, фруктов, замаринованную на шашлыки баранину. С Азором набрали в мебельном цехе сухих чинарных болванок для костра.

Сауна — аккуратный с виду, сработанный под теремок деревянный домик с красной черепичной крышей. В небольшой гостиной был уже накрыт стол, за которым в ожидании гостей лениво покуривали уже помывшиеся для начала, обмотанные простынями Настенька и еще две девицы. Двушник нашел ее дома, она зевала от скуки перед вечерним «стартом». Быстро согласилась провести вечерок в сауне и добыть еще пару девиц.

Увидев Азора, его белый шарф вокруг шеи, она вспомнила давний вечер в директорской времянке, свой испуг, а потом смех с Шафиром и Михеем: «Я не могу любить вас!» — и уже в их машине неподдельный выдох Шафира: «Жалко парня. Что-то его сломало». В этот вечер, теперь уже зная о болезни Азора, она мягко обняла его за плечи, тепло, с участием поинтересовалась:

— Ну, как твоя любовь?

Азор, опустив голову, только развел руками:

— Пока еще неизвестно.

— О-о! Тут уже свои секреты! — нарочито льстиво воскликнул Двушник. — Ну, давайте, давайте!

Часам к семи на своей «Волге» он привез в сауну гостей. С небрежными, словно все повидавшими на свете глазами, Макар Федорович и высокий, лет сорока пяти, с прямой осанкой Никита Ильич мельком глянули на внешний вид деревянного домика.

— А здесь ниче-ево-о! — оценил Степан близость леса и свежий воздух.

— Прошу к нашему шалашу! — Двушник пригласил их в домик, по дороге бросил Азору спички: — Зажигай! — Метрах в пяти от входа стояла мангал с заготовленными дровами. — Это наш будущий художник! Свой парень, — многозначительно пояснил он гостям.

Настенька, узнав среди трех вошедших в гостиную мужчин Степана, придерживая одной рукой на груди простыню, другой свойски покачала ладошкой:

— О-о! Старые знакомые! Сегодня просто вечер встречи выпускников! Там художника встретила, тут — начальство!

— Здравствуй, Настенька! — польщенно ответил Степан.

— Какое приятное общество! — покровительственно пропел Никита Ильич, оглядывая трех девиц, обернувшихся по грудь простынями.

— Здравствуйте, красавицы! — пропел Макар Федорович. — Что-то мы, кажется, заскучали, но ничего, сейчас все поправим! — осмотрел он длинный стол, уставленный коньяком, водкой, отборной закуской.

Стали знакомиться.

В форточку влетел треск сухих веток. Азор разводил костер.

— Молодец парень! — похвалил Макар Федорович Двушника.

— А как же! Мы только так! Так что давайте, располагайтесь! Хозяева здесь вы! — отрапортовал тот.

— Наши красавицы уже по разочку попарились. — Никита Ильич глянул на влажные пряди женщин, язычками прилипшие к голым плечам, шеям. — Ну и как парок?

— Нормально, — свойски бросила одна из них — Вика, спустив простыню до сосков маленьких круглых грудей, осмотрела их. — Все тело было красное. Сейчас поостыло.

— Ну и что, господа? — Макар Федорович стянул с себя рубашку. — Пойдем и мы по разочку. Неудобно-то от барышень отставать.

Взяв пакеты с простынями, все ушли в раздевалку, и через минут десять в гостиную донеслись возгласы бултыхающихся в холодную воду мужчин, фыркание, побрякивание. Приняв после пара и бассейна душ, обмотавшись простынями, все трое — большеголовый Степан, полный Макар Федорович и осанистый Никита Ильич — с блаженными лицами вышли в гостиную к девицам. Пропустили по первой рюмочке за знакомство, хороший пар и все такое. По комнате поплыл легкий дым сигарет.

С шашлыками подоспел Двушник.

— А где тот парень? — спросил Никита Ильич.

— За углями приглядывает. Пускай! — выразительно махнул Двушник.

Раздав шампуры, он нырнул в парную, обмывшись и тоже обкрутившись простыней, сел в углу стола, за которым пировала уже веселая полуголая компания. Сверкали волосатые животы и руки, попеременно у какой-нибудь из девиц спадала простынь, обнажая груди, и под смех, уже не заботясь об этом, девицы просто перекидывали простыню через плечо.

— Есть один тост! — повеселевший Двушник поднял рюмку и, обращаясь к мужчинам, то повышая, то понижая в нужных местах голос, видно, и сам испытывая удовольствие от своей речи, произнес фирменный тост Директора.

— ...Так дай же Бог, чтоб каждый из вас прожил хорошую жизнь и, насладившись этим миром, посадил дерево! — на свой лад переиначил он окончание тоста.

— Философ! — насмешливо протянул Никита Ильич, дескать, посмотрите-ка на него. — И не скажешь, что он, как себя называет, «небольшой делец», — с иронией продолжил он, все время чувствуя важность своего присутствия, и что ради него Двушник и затеял всю эту пирушку.

— Ну что, «небольшой делец», за это дерево, — снисходительно поддержал он тост Двушника.

Все выпили. Потом шумной гурьбой бросились в парную, были слышны шлепки по голому телу, бултыханье в воду, женский визг и мужское криканье.

Выбрав момент, Двушник подмигнул Макару Федоровичу, тот что-то шепнул Никите Ильичу и громко всех остальных с шутками погнал под душ. В дверях многозначительно обернулся:

— Так что давайте, решайте.

Двушник плотнее обкрутил вокруг бедер простыню, подсев поближе к Никите Ильичу, для начала плеснул в рюмки коньяка.

Выслушав, тот отпил из рюмки, усмехнулся.

Двушник понял насмешку по-своему и поспешил ограться:

— Я бы мог, конечно, нанять пару человечков и пришить этого мясника, но жалко его детей... А так посидит немного, поостынет, и не до того уже.

— Посадить кого угодно можно, если очень хочется — то даже нужно, — по своему опыту милицейского начальника произнес Никита Ильич. — Но, — он сделал паузу, лениво-тщательно размял сигарету, прикурил, небрежными слабыми взмахами погасил спичку, со вкусом выпустил медленную струю дыма и так же небрежно произнес: — Все зависит, как говорят, от спонсора.

— Спонсор готов! — наострился Двушник.

— Все в этом мире, товарищ «небольшой делец», имеет свою цену. Тебе это хорошо известно. И каждый годочек, а тем более — когда на гособеспечении...

— Говорите сколько? — приготовился Двушник.

— А ты мне нравишься! — Никита Ильич свойски хлопнул его по голому плечу. — Договоримся... Иди, пришли



мне одну матрену... Ту, что посбитее... Джульетта... кажется.

— А у нас вкус на уровне! — польстил Двушник, шлепая босыми ногами по деревянному полу, послушно затрусил за девицей.

Через минуту ее влажное, с налипшими на лоб прядями лицо кокетливо выглянуло из дверей предбанника:

— Меня кто-то звал?

— Еще как звал, моя свежесть! Беги сюда! Ну-ну!

Джульетта, придерживая на груди простыню, присела рядом на стуле. Никита Ильич сжал обнаженное плечо, с загоревшимися глазами налил ей и себе коньяка:

— Ну что, моя свежесть, за нас!

— За нас, — она подвела рюмку к глазам, словно прицелилась. — Горяченького шашлычка бы...

Никита Ильич высунул голову из домика, окликнул сидевшего на камне возле мангала Азора. На мангале слабым умирающим пламенем догорал маленький костерок.

— Слышь, парень, на-ка, подогрей и занеси, — он протянул Азору шампур с нанизанными остывшими кусками мяса.

Азор повертел шашлык над огнем, вошел в гостиную:

— Вот...

Никита Ильич взял шампур, вопросительно оглядел замершего на месте парня, налил ему полный стакан водки:

— Подойди-ка сюда. Выпей за наше здоровье! Давай-давай.

Азор послушно взял стакан, но пить не решался.

В гостиную с простыней на маленькой, почти плоской груди, вошла Вика:

— А почему без меня? Наш милый мальчик тоже здесь? — покашивая хмельными глазами, она подъюлила к Азору. — А со мной выпьешь?

Она поискала глазами по столу. Никита Ильич протянул ей свою рюмку, налил себе.

— Ну, симпатюля, давай! — Вика, взяв руку Азора, в которой был зажат стакан, приподняла ее. — Правда, какой красавчик? — Она взглянула на Джульетту и Никиту Ильича. — Только не побрился, хулиган. — Она тыльной стороной ладони ласкающим движением провела по заросшему лицу Азора. — Колюченький! Но ничего! Сейчас мы будем лучше всех! И побреемся, и попаримся. Ну, давай, лапочка! — Она выше подняла руку Азора.

Тот опустил голову.

— Ну давай, парень! Пьем и по местам! — нетерпеливо вставил Никита Ильич.

Азор вопросительными глазами повел по лицам, взглянув на стакан, стал пить большими глотками, словно воду. — Пей до дна! Пей до дна! — восклицали девицы.

— Ну и парень! — качнул головой Никита Ильич.

Азор выпил весь стакан, вытер пальцами стекшие на подбородок мокрые дорожки. Вика поднесла к его рту красную дольку помидора, приготовила кусок шашлыка. Азор, медленно разжевал, улыбнулся Вике.

— Вот и отлично! А теперь я! — Она быстро опрокинула рюмку коньяка, потряхнув головой, лихо выдохнула: — Ху-у-у!

— А теперь забирай своего зайчика! — Никите Ильичу не терпелось поскорей остаться наедине с Джульеттой.

— Очень они нам нужны! Правда, лапуля? — кокетливо обиделась Вика и за руку повела за собой уже опьяневшего, улыбающегося Азора. — Сейчас наведем марафет. Начальник! — окликнула она Двушника.

Тот выглянул из душевой, откуда сквозь шум падающей на кафель воды доносились причмокивания и смешки.

— Найди нам что-нибудь побриться! — хмельноскомандовала Вика, раскрутила вокруг шеи Азора его шарф, начала растегивать рубашку.

— Какой ты стеснительный! — Она повесила рубашку на свободный крюк вешалки, где уже висели рубашки и платья всей компании. Закинула на длинную палку вешалки шарф.

Двушник с глуповатой улыбкой наблюдал за ними.

— Свежачка захотелось? — хмыкнул он Вике.

— Давай, давай! — прикрикнула она. — Ищи бритву!

Двушник вытер ладонью мокрое лицо, обмотавшись простыней до подбородка, вышел в коридорчик и направился к кабинету заведующего сауной.

Вернулся с круглым настольным зеркалом и бритвенным станком.

Под струями душа Вика обнимала Азора, жалась к его голому телу, стекавшая по лицам вода слепляла веки, топила целующие губы Вики, хлюпала меж двух слипшихся тел.

Азор, заглатывая стекавшую к губам теплую воду, пьяно вырвался из объятий Вики, как ребенок, прыгая то на одной, то на другой ноге, закружил по мокрому кафелю душевой комнаты. Остановившись, разбросал по сторонам руки, громко запел. Через двери в бассейн были видны на поверхности воды круглые мокрые смеющиеся головы Двушника и Степана. Из парной высунулись распаренные лица Макара Федоровича и Настеньки. Джульет-

та и Никита Ильич из любопытства прибежала в душевую на громкое, подозрительное пение.

Азор уже держал одной рукой зеркало, другой пробрил правую щеку, оглянувшись на стоявших вокруг смеющихся людей, вдруг сбрил одну бровь, потом, снова окинув всех взглядом, точно чувствовал себя веселившим публику клоуном, сбрил и вторую бровь.

Лицо Азора, наполовину выбритое, словно состоявшее теперь из двух черно-белых половинок, и исчезнувшими бровями стало страшным. Безобразный лоб, казалось, теперь уродливо сливался с лицом, а вместо бровей — два белых припухших следа, словно два червя, сходились к переносице.

Азор положил бритву и зеркало на каменную лавку, снова громко запел, разбрызгивая босыми пятками воду, зашлепал по мокрому кафелю, круг за кругом.

В какое-то мгновение вдруг изменился в лице, схватившись за голову, вяло поплелся в раздевалку, опустился на красном коврик на колени.

Остальные, словно испугнутые пингвины, в простынях зашлепали следом, стали за ним. Азор, обхватив голову, с искривленным в боли безбровым лицом покачивался на коленях из стороны в сторону. Застонав, вытянулся на ковровой дорожке. Все настороженно переглянулись. Двушник испуганно склонился над ним:

— Зоря! Зоря! — взял его за подбородок.

— Хочу спать! — Азор свернулся калачиком, отбросив его руку.

— Фу-у-ух! — облегченно вздохнул тот, враз протрезвев, устало повел по лицу ладонью.

Настенька накрыла Азора простыней.

— Он что, выпил? Ему же нельзя! Он же больной, — выдохнула она.

— Так надо ж было предупредить. Что-то ты сплеховал, «небольшой делец». Мы-то все думали, что ты его для obsługi... а он — вишь как... — обвинил Никита Ильич.

— Да ничего страшного! Проспится! Ничего страшного! Это свой парень! — растерянно выгораживался Двушник, боясь, что все его старания могут быть враз перечеркнуты. — Ничего страшного! Проспится! — бодрился он.

— А Директор знает? — спросила Настенька.

— Что еще за Директор? — насторожился Макар Федорович.

— Да-а, это кличка такая. Это так его отца называют. Он когда-то директором школы был. Потом его за что-то турнули...

— Как фамилия?! — точно выстрелил Макар Федорович и, услышав ответ Двушника, невольно оторопел: — Вот так встреча! Вот так да-а! Да-а, мир уже тесен! — все еще удивляясь, протянул он.

— Что? Знакомые? — спросил Никита Ильич.

— Да уж, знакомы. Было одно дельце с его отцом... Директором. Как-нибудь расскажу.

— Ну ладно, пускай он высыпается! Ничего... пройдет! По-моему, пора и по рюмочке! А? Пора, пора! — Двушник поскорее пытался заглушить эту историю.

С подвядшим настроением зашлепали в гостиную, но минут через двадцать уже горланили душевные песни, потом снова ныряли под душ, разбившись на парочки, разбрелись по комнатам.

Не заметили, как исчез Азор. Кинулись его искать, когда разбирали с вешалки свою одежду: не было сорочки Макара Федоровича, лишь висела подвешенная за воротник светлая рубашка Азора.

— Что с него взять? Он, наверное, не только рубашку — себя не помнил. Вон и шарф оставил, — кивнула Настенька на белый шарф Азора, заброшенный на полку вешалки.

Все были одеты, лишь Макар Федорович в брюках, выпятив волосатый живот, бушевал в поисках рубашки, заглядывая во все углы, расшвыривая все, что попадалось под руку.

— Черт с ней, с этой рубашкой, и деньгами! Записная книжка!.. Все телефоны, все адреса... связи!

— Да найдется все! Интуиция сыщика, — успокаивал его Никита Ильич. — А денег много было?

— Что там деньги! Рублей сто... Там все связи...

На дворе уже было темно. Искать Азора поблизости было невозможно. Покричав вокруг тускло освещенного фонарями домика, решили ехать. Может, по дороге найдется...

Макар Федорович с брезгливостью влез в маловатую рубашку Азора, сел на переднем кресле «Волги», рядом с Двушником. Сзади, дыхание к дыханию, плотно уместились остальные. Вику, самую худую, пристроили на коленях.

Огни Города светились рядом: сауна стояла метрах в ста от трассы. Проносились редкие автомашины. Ехали медленно, внимательно всматриваясь в сумрачную обочину. Азора не было. На одной из остановок высадили девиц, подъехали к дому Макара Федоровича — он передел ру-

башку. Снова покружили по ночным затихающим улицам Города.

— Давай к его дому! Все это бессмысленно! — скомандовал Макар Федорович.

Черная «Волга» остановилась перед окнами директорского дома. С улицы светились прямоугольники двух зашторенных окон.

— Давай! — секретарь райкома похлопал Двушника по плечу. В тускло освещенном салоне сверкнули его круглые глаза. — Надежда на тебя.

Тот долгую минуту не решался выходить.

— И дернул его черт рожу брить! — раздраженно бросил он. — Как теперь на их глаза показаться?!

— Твоя судьба, как говорится, в твоих руках, — предупреждающе намекнул Макар Федорович. Мол, хочешь, чтоб тебе помогли, — действуй. — А так мы можем и Никиту Ильича попросить. Как раз это по его части: пропали, мол, деньги, документы...

Двушник нехотя выбрался из машины, под светом фонарей было видно, как исчезла его сутулая фигура в темном провале директорской калитки.

Вышел он с Директором. Тот пристально всматривался в темное стекло машины, словно пытался отгадать затененные в ней лица.

— Уж видно судьба... повстречаться! — усмехнулся Макар Федорович, выбрался из машины.

Взглянув по сторонам, не видит ли кто, с ухмылкой стал напротив:

— Ну что, коллега, не узнаем? — Он не решился подать руки.

— Узнаем, — нехотя ответил Директор.

Двушник развел руками: никаких новостей.

— Давненько не беседовали... Давненько... Я тебя вспоминал. Наверное, и ты тоже... — двусмысленно произнес он, глядя на матовое в свете уличного фонаря, хмурое лицо Директора.

— Приходилось...

— Что поделаешь? Всякое бывает в жизни... Может, пригласишь в дом? Видишь, как напрашиваюсь в гости.

— Напрашивается... — Директор распахнул калитку. — Входите.

Макар Федорович махнул в окошко машины, в котором тускло виднелось лицо Никиты Ильича.

— У тебя там вроде коньячок оставался, — полувопросом скомандовал он Двушнику.

— Это есть. — Тот направился к багажнику.

Во времянке Директора нашли место каждый по себе: Макар Федорович и Никита Ильич вытянулись в креслах, стоявших по обе стороны темного, приземистого окна. Степан сел на софу. Двушник хлопотал у стола: спиртное, закуска, рюмки. Между делом, стараясь подмаслить одновременно и Директора, и Макара Федоровича, подбрасывали что-нибудь сладенькое:

— О-о, Макар Федорович, если бы вы знали, какую картину нарисовал наш Зоря! То, что говорят про разные современные штуки,— чепуха перед ней!

— Посмотрел бы с удовольствием,— благодушно ответил тот.

— Принеси, да жить тебе сто лет! — взмолился Двушник на Директора.

Тот пожал плечами, нехотя поднялся со стула. Пока он шел с картиной, Двушник уже справился со своей работой: на столике, играя шоколадным цветом, стояла бутылка марочного коньяка, на тарелке, как уменьшенные ломтики арбузов, сочно краснели аккуратно нарезанные дольки помидоров. Была открыта маленькая банка зернистой икры. Хлеб. Все уже сидели за столом.

Директор развернул серую бортовочную ткань, отбросив ее на софу, посмотрел вокруг, ища места, куда бы пристроить картину. Вспомнив, как показывал ее когда-то Богдану и Фарсиду, приставил на кресло к стене. Картина оказалась напротив софы и столика — можно было смотреть, не оборачиваясь. Рассматривали с глуповатыми полуулыбками. Директор сидел на софе рядом со Степаном и Двушником, с убежавшим вдаль взором думал о Зоре: где он сейчас?..

— Ну и как? — Макар Федорович посмотрел на сидевшего за столом напротив Никиту Ильича. — Что скажут наши «органы»?

— Да-а... трудно жить без пистолета... — усмехнувшись, оценили «органы».

Директору невольно вспомнился пистолет Богдана.

— Ну, ладно, без заправки здесь не разберешься,— сострил секретарь, подняв рюмку. — За все... хорошее... — Почмокивая помидорной долькой, он кивнул на картину: — Все же хотелось бы понять — что хотел сказать художник этим произведением.

Директор повертел в руках рюмку, в раздумье, глядя на ее сверкающие грани, хмуро расставил:

— Художник этой картиной хотел сказать, что есть люди, а есть звери в человеческом облике. Звери с чело-

веческим обликом с улыбкой смотрят на свою жертву, как этот сфинкс на распятого человека.

— Сфинкс — это у которого знаменитая загадочная улыбка, — полувопросом показал свои знания секретарь. — Понятно.

— Я теперь понял, чего он так улыбается, — откусив хлеб с икрой, воодушевленно промычал Двушник. — Пригвоздил человека и усмехается: вот так, мол, человечешка, ты против меня никто!

— Надо ж было соединить их на одной картине! — хмыкнул Макар Федорович — Как будто они и вправду друг для друга созданы. Теперь мне врозь их и не представить. — Что-то подметив, он приподнялся, пригнувшись, всмотрелся в картину. — Клянусь, этот Христос похож на самого Азора.

— А это не Христос, и не сфинкс. Это человек, распятый человекообразным зверем. Христос — это особый разговор. — Директор смотрел в ночное окно времянки.

— Честно говоря, античеловечностью попахивает, — резюмировал секретарь. — Вон человек человека пожирает, как тот змей, — кивнул он на картину.

— И будет пожирать. Пока вы держите его в голоде и нищете, — бросил Директор в сторону секретаря. — Человек не должен быть нищим и голодным. И не из каких-нибудь там высоких гуманных принципов, а просто, чтоб не набрасываться на себя подобных. Я не обо всех говорю. О человекоподобных зверях... Даун должен быть сыт. И под контролем. Кто бы он ни был — нищий или правитель. А вы расплодили даунов. Значит, и зло.

— Во-от, теперь можно перейти к проблеме добра и зла, можно и к вере, и к чему еще там? К душе. Да. Теперь мы скажем, что у людей отобрали веру, а заодно и душу.

— Не скажем, — не обращая внимания на ухмылку, заметил Директор. — Душа от веры независима. Душа выше веры. У кого душа есть, у того она и будет всегда, а у кого ее не было, тому и никакая вера не поможет. — Директор взял со стола краюху хлеба. — А проблемы добра и зла для меня нет. Есть люди, и есть звери. И отсюда все. И вы это всегда использовали. Во всех революциях. Вы дурачили озверелый народ, что все это ради него, а сами захватывали власть. И не ради него, а в расчете на него. В расчете на зверей в человеческом облике. На зверей могут рассчитывать только звери... Это страшный расчет. Даже для самого зверя. Даун без контроля прежде всего опасен для самого себя! И вы просчитались!

Двушнику с дрогнувшим сердцем вспомнилась, что почти это же самое он вчера еще говорил Каме. Он вопросительно посмотрел на Директора.

— А кто это «вы»? — с еле заметной угрозой спросил секретарь.

— Вы — которые довели народ до нищеты, до грани войны...

— Д-а, узнаю тебя! Каким был, таким и остался. А потом еще кто-то и обижается...

Директору вспомнилось, как в кабинете Макара Федоровича, и тогда первого секретаря, ему откровенно пригрозили: «Не освободишь свое место, уволим с позором!»

— Ладно... «душа от веры независима»... Когда же этот художник появится? — донесся до Директора неприязненный голос Макара.

Директор с ненавистью взглянул на него. Тот кружил глазами по картине. Некоторое время сидели молча. Степан с любопытством вертелся возле картины.

— Может, проскочишь по Городу? — с мольбой посмотрел Директор на Двушника.

— А и вправду, — взбодрился Макар Федорович. — Покружи где-нибудь поблизости. За компанию Степана возьми.

Они вышли, но минут через пять за ночным окном снова послышались их приглушенные голоса. Директор насторожился. Открылась дверь, во времянку нерешительно ступил Азор, подтолкнув его в спину, перешагнули порожек Двушник и Степан.

— У самого дома встретились, — виновато произнес Двушник.

Макар Федорович и Директор почти одновременно приподнялись. Первый сразу же прощупал взглядом нагрудные карманы: они были плоско-пустыми, треугольный клапан расстегнут. Он в тревоге шагнул к Азору.

Директор с оборвавшимся сердцем испуганно выронил:

— Сыно-ок?!

Наполовину выбритое лицо Азора казалось черно-белой безбровой маской. Директор бросился к сыну, но Макар Федорович тут же отстранил его, прощупал пустые карманы измятой и испачканной рубашки:

— Где книжка? Где записная книжка?

Азор испуганно скользил взглядом по лицам.

— Где книжка?! — заорал Макар Федорович, вцепившись в грудь Азора.

Тот бросил молящий взгляд на отца, словно просил о помощи.



— Не трогай его! Он же больной! Разве ты не видишь, что он больной?!

Директор пытался разжать его руки, но от удара плечом отлетел к стене.

— Вспомни, где ты был? — Макар Федорович заглянул в глаза Азора.

Мутные от выпитого и придавленные болезнью, они смотрели виновато и с какой-то мольбой. Директор снова было потянулся к сыну, но вставший из-за стола Никита Ильич отбросил его в кресло, схватил сзади за шею.

— Где ты валялся?! Шизофреник хренов! Где?! — Макар Федорович отшвырнул Азора к двери.

Наткнувшись на порожек, Азор вывалился из комнаты. Громко стукнула о стенку распахнувшаяся дверь. Азор поднялся, посмотрел из темноты в освещенную комнату, глаза его изменились, словно ожили. Азор ясно увидел, как, остолбенев, стояли рядом Двужник и Степан, как зло дышал Макар Федорович, как, прижатый к креслу, порывался освободиться жалкий, беспомощный отец, на кресле виднелась его картина.

Губы Азора что-то тихо вымолвили, в глазах мелькнуло какое-то согласие, словно он что-то принял в себе и в мире. Азор растворился в темноте. Дверь осталась открытой — черный прямоугольник в белой плоскости стены.

— Звери!

Директор вырвался из ослабшей руки на затылке, метнулся к секретарю, впился в горло. Никита Ильич легко разжал руки Директора, схватив за волосы, ударил лицом о поднятое колено. На мгновение потеряв сознание, Директор упал на руку. На потертые половицы закапала кровь из носа.

Прижав ладонь к лицу, Директор поплелся к дверям, прислонившись к косяку, постоял минуту, перешагнул порожек.

— Зоря! — крикнул он в темноту, выйдя из временки. — Сынок!

За спиной закрылась дверь и словно затянула вовнутрь язык света. В ослепившем вдруг ночном мраке прорезались тонкие полоски света, выбивавшиеся из щелистых стен сарая. Директор опустил ладонь, на припухших губах был металлический привкус крови. В тяжелом предчувствии Директор прислушался, осторожно потянул заскрипевшую дверь. Обвешенное веревками нутро сарая ярко освещала большая лампочка, свисавшая с черного шнура. Возле колоды для рубки мяса завалилось набок тело Азора. Из живота торчала деревянная ручка ножа. Колени

обтекала густая красная лужа. К свету была повернута одна половина лица с глазом, застекленевшим, точно выкатившимся из желтой безбровой глазной впадины.

— Что? — Раиса замерла в прихожей, глядя на опустошенное лицо мужа. — Где Зоря? — испугалась она.

Директор, словно не видя ее, скользнул мимо. Раиса потерянно следила за ним, вышла из дома. Подходя к времянке, Директор отрешенным сознанием услышал крик Раисы, следом прошла холодная и безразличная мысль: все, что нужно было ему в этой жизни,— это, казалось, уметь стрелять. С Макаром Федоровичем он столкнулся в дверях. Настороженно блеснули его глаза. Директор выстрелил в упор. Потом рухнуло на пол тело Никиты Ильича, завалился на спину Степан.

Машина Двухника летела по ночной улице.

В доме Директора ударил последний одинокий выстрел...

## 8

...Все произошло в мгновение: озверевшие от нищеты, бесправия и ненависти друг к другу люди, словно только и ждали выстрелов в ту ночь, стали громить дома друг друга, насиловать, убивать. Над Городом вместе с дымом пожара стелился невиданный еще, казалось, плач.

Город захлестнули зверства. Он теперь весь оказался в руках разъяренной и неожиданно вооруженной толпы.

Ревущие людские потоки осадили Дом Правительства. Город оккупировали войска, вошли танки...

Каждый день над Городом разносились выстрелы, рвали воздух пронзительные женские крики, лязгали, сотрясали землю гусеницы танков.

Мир рушился.

...Погромы не коснулись двора Богдана. Пять или шесть домов на улице были сожжены, но его дом оставался нетронутым.

Несмотря на опасность, Богдан ловил себя на мысли, что душа его, в чем-то важном потерявшая покой, вновь обрела ту утерянную уверенность и, казалось, по-новому раскрылась миру: в эти несколько дней, в которые был изуродован Город, казалось, была прожита вечность, и несчастье, случившееся до этого с Яной, позор Богдана как-то ушли, сгладились, остались незримыми за той кровью, той бедой, что обрушилась в эти дни на Город. Рухнувший мир вдруг неожиданно (только бы кончилась эта резня) обещал новую, хорошую жизнь, и все человеческие

радости казались, как никогда раньше, особенно доступными. Ценность цветущего дерева, солнца, теплой небесной синевы, казалось, раньше была принижена, но теперь, после общей беды, возросла и стала бесценной и до сладкой тоски дорогой.

Но эти ощущения вспыхивали всего лишь на несколько мгновений, и Богдан, ловя себя на этой радости, которая была связана с крушением мира, смертью близких людей — Азора, Директора, в больнице умер Фарсид,— с укором себе видел всю хрупкость и скорбь этого радостного будущего. И еще надо было выжить в этой начинавшейся войне. Говорили, что это именно война, хотя и не верилось, потому что не было врага извне...

Во многих семьях стаяли запасы еды.

В прошедшую ночь над Городом буйствовала майская гроза, пролилась свежим ливнем, и новый день, как омытая, спасенная икона, казалось, снова утверждал прочность и чистоту мира.

...Руки просили работы. Богдан прошелся по саду с секатором, обрезал сухие ветки, с Янкой, которая после беды, казалось, уже возвращалась в мир, улыбалась чаще и щедрее, побелили стволы нескольких яблонь, возле совсем еще молодой, вытянувшейся в эту весну метровой веточки черешни вбили кол, подвязали к нему хрупкий стебелек. Снова рухнувший мир раскрывал под своими развалинами будущие радости.

Богдан закурил, с горечью вспомнилась встреча с женой Фарсида после его смерти. Надо сейчас добыть что-нибудь из еды для детей Фарсида. Но что? Дома все продукты закончились. Он решил было пойти без ничего — может, вместе с Леной что-нибудь да придумается, но потом, подумав о Двушнике, направился к нему.

Подходя к воротам Двушника, Богдан невольно замедлил шаг, но, пересилив себя, толкнул калитку. Заперта.

Несколько отрывистых громких ударов по железному высокому забору. Со двора грянул грубый, тяжеловесный лай собаки. И следом мужской незнакомый голос:

— Кто?

— Свои!

— Кто свои?

— Хозяин дома?

— Открой! — со двора послышалась команда Двушника и окрик на собаку.

Задвигались, загромыхали замки, засовы.

Широкоплечий, с охотничьим ружьем парень, впустил Богдана, снова задвигал затворами калитки. Под виноградником, за столом, пили еще трое вооруженных мужчин.

«Охрану завел»,— с неприязнью подумалось о Двушнике. Тот, широко разведя руками, с деланной радостью спустился с крыльца навстречу.

— А это мои друзья,— кивнул он на жующих мужчин, на стульях которых за ремни были подвешены ружья.

Богдан кивнул.

— Есть разговор,— он пристально взглянул на Двушника.

— Ну и хорошо! Пошли в дом. Извините, ребята, я сейчас. — Он первым шагнул на крыльцо.

Вошли в зал. Двушник показал на кресла:

— Садись.

— Нет. Сидеть не буду. Я вот зачем пришел... Фарсида нет... Надо помочь его семье, детям...

— Да-а! В наши такие времена! — пошел было вздыхать Двушник, но, увидев зло вспыхнувшие глаза, быстро согласился. — Надо, конечно, надо...

— И пока не закончится эта заваруха,— перебил Богдан,— я бы к тебе не пришел... но приходится... Сам я тоже постараюсь что-нибудь...

— Да, вы были друзьями... — старательно-горестно выронил Двушник.

— Сегодня же... Понял? — снова перебил Богдан.

— Понял. Чего тут уж не понять... Но если я к ним домой... там его жена... Люди могут не так понять... Потом разговоры пойдут.

— Ничего. Принеси ко мне, я через Веру передам... Целомудренный...

— Ладно...

Проводив Богдана, Двушник вернулся в зал, вытянувшись в кресле, крикнул Каме — в сторону открытых дверей ванной:

— Ты даже не поинтересуешься, зачем пришел этот зверь. — Он с усмешкой приударил каблуками по паркету.

Ответа не было.

— Иди сюда! — не выдержав, рявкнул он.

В дверях встала фигура жены. Он с ненавистью любовался: красивые волосы ниспадали на маленькие, аккуратные округлые плечи; из-под распахнувшегося халата виднелась глубокая впадинка груди. Красивые большие глаза под долгими изогнутыми бровями — словно два черных солнца под черными высокими дугами.

Но глаза сейчас смотрели Двушнику под ноги. Из глаз текла усталость и что-то еще, от чего хотелось сейчас броситься на нее и растоптать. Двушник сдержал в себе злость и, поворотив глаза к зарешеченному, как соты, окну, с неприязнью, словно речь идет о подачке, проплевал:

— Вытащи из запасов что-нибудь для фарсидовских оборванцев. А то, говорят, они с голоду подыхают.

Кама резанула из-подо лба острым взглядом, молчаливо повернулась. Эта покорность подожгла мозг. Двушник метнулся к Каме, рванув за плечо, схватил за подбородок, вскинул его:

— Ты и своих детей голодными оставишь ради этих мерзких своих фарсидов и богданов! Это не ты — я тебя ненавижу! Сучка! Пошла-а! — Он оттолкнул ее за подбородок.

Кама отшатнулась, но, удержавшись на ногах, зная, что это молчание душит Двушника, молча шагнула в зал.

— Давай, давай! — Он пнул ее ногой в поясницу, расшвырял, вырвался из дома.

Четверо телохранителей, оторвавшись от питья, вопросительно вскинули головы.

— Изничтожить! Всех уничтожить! До одного! — Зло шипя, Двушник быстро сошел со ступенек. — Любые деньги отдам! — горели его круглые рысьи глаза. — За каждую душу! — негромко, но зло расставлял он; назвал адрес Богдана.

Четверо мужчин, разделившись по разным сторонам улицы, приближались к дому Богдана. Вошли в его двор.

Пронзительный девичий крик взметнулся над цветущим Городом, резко оборвался. Следом ударило оборванное мальчишеское «Ма-ма!»; к синему небу потянулся дым горящего дома Богдана.

## 9

Ни с каким человеческим горем не останавливался этот мир. Люди умирали на войнах, но неизменно приходили новые зимы и лета, люди гибли в эпидемиях, но неизменно цвели по весне деревья, люди сгорали в разверзшейся в землетрясении земной плоти, но приходящая осень снова золотила мир. И мир неизменно вершил свою красоту, не замечая, что есть неутраченная боль и скорбь осмеянной человеческой жизни.

Люди с любовью произносят: наш мир. И поэтому, наверное, он старается быть сильным, вечным, непостижимым. И никакое человеческое горе не растопит новой зи-

мы, не высушит свежих весенних соков, не разорвет летнего солнца и не затмит золотых и багровых красок новой неизбежной осени.

Щедрой была она и в разрушенном Городе. Среди сожженных обугленных домов, словно всем людским бедам назло, в пышных, багрово-золотистых нарядах стояли деревья на улицах и в садах. Ранний октябрь подкрасил красным округлые, налитые солнцем бока яблок, напитал соками увесистые виноградные гроздья. Осень вершила свое. У нее был свой долгий опыт: она знала, что развороченные взрывами улицы снова будут вымощены человечками. На месте разрушенных домов вырастут новые, и даже когда-нибудь на месте свежих кладбищ через положенный срок пролягут новые улицы и будут зеленеть сады. Город разрушен, Город сожжен, но все это на время.

Одинокие безучастные фигуры копались в руинах, извлекая какие-то пожитки. Запах трупов стоял под октябрьским бесконечно синим небом.

Человек в лохмотьях, с обросшей головой, беспорядочной пепельной бородой вышел на крыльцо своего обгоревшего дома. Богдан. Стены дома были черны от копоти, с разбитыми окнами, черным провалом зияла обвалившаяся крыша.

Глаза Богдана под беспорядочно свисавшими седыми прядями, казалось, не видели ни этого неба, ни этого солнца, ни этого мира. В них было одно постоянное выражение. словно они видели одну какую-то успокоенную мысль.

Он сошел с крыльца, выйдя из калитки, сутуло поплелся по пустынной разрушенной улице. В одном окне отошла занавеска, показалось грустное лицо женщины под черным платком. Через минуту из этого же дома выбежал мальчуган, окликнул Богдана, протянул половину кочана жареной кукурузы.

Богдан опустился на бордюр, стал неторопливо, словно в раздумье, есть. Мальчик пристально смотрел на косматого жующего человека, лицо которого до самых глаз все заросло пепельной бородой. На бороду осыпались белые крохи кукурузных зерен. Глаза Богдана бездумно смотрели в одну точку, словно по-прежнему видели свою, одну и ту же успокоенную мысль.

Почувствовав пристальный взгляд мальчика, он вскинул обросшую седую голову, перестав жевать, словно в благодарность за поднесенную еду, с детской услужливостью предложил:

— Хочешь, покажу, как мне не больно? Когда убили моего Андрейку, а потом убили Веру, потом убили Яну, они втыкали в меня ножи и смеялись, а мне не было больно.

Он искал глазами по земле, найдя невдалеке осколок стекла, снова сел на бордюр, положив рядом огрызок кукурузы, распахнул рубашку. Острием осколка Богдан с силой повел по матовой груди. Пунктиром выступила тонкая кровяная нитка. Раскрытыми, по-детски беспечными глазами он посмотрел на удивленное лицо мальчика и, чтобы тот смог убедиться сам, протянул ему осколок стекла.

Мальчик испуганно убежал.

Богдан поднял с бордюра огрызок кукурузы и, уже забыв обо всем, снова поплелся по улице.

Остановился напротив дома Двушника.

Секунду постояв у калитки, вошел во двор. Под виноградником за столом сидели Двушник и его два сына — мальчики десяти и трех лет.

— О-о! Солнечный человек пришел! — привычным приветствием вскинул руки Двушник. — Проходи, садись!

Кама вышла на крыльцо дома, но, увидев Богдана, с оборвавшимся сердцем быстро повернула к дверям. Из прихожей настороженно слушала голоса во дворе.

После погрома Богдан изредка заглядывал к ним во двор. Что подсказывало ему раздавленное сознание? От чего приходил он в этот дом, принесший ему столько горя? Может, в погасшей душе порой поднималась неясная теперь уже месть...

Со временем незаметно боль Богдана стала болью Камы, он стал как-то дорог ей.

Облокотившись о дверь, Кама слушала долетавшую в прихожую речь Двушника. Если бы была возможность уйти отсюда, из этих страшных комнат. Но сейчас, с тремя детьми, в такое время, когда люди не знают, как добыть хотя бы щепотку черной муки...

— Давай, брат мой! — доносился в прихожую бодрый голос Двушника. — Выпьем, как в старые хорошие времена... Помнишь, во времянке Директора?

Кама слышала, как полилась в рюмки водка. Может, нужно было увести Богдана? Но как выпроводить пришедшего в твой дом человека?

— Да, жалко Директора! — говорил Двушник, но в голосе его была неприятная бодрость — с Богданом можно теперь разговаривать не таясь, как с самим собой: — А какой фирменный тост у него был!.. Человек должен выра-

тить сына, построить дом и посадить дерево... Благословить мир! Да-а... не пришлось тебе посадить дерево!

В прихожую втекло молчанье.

— О! — вдруг воскликнул Двушник, видно, что-то придумав. — Посадишь и дерево! Как раз перед моим домом есть место.

Кама ушла в пустой зал.

...За сожженным домом Богдана раскинулся молодой сад. По обе стороны дорожки разбежались невысокие, но раскидистые яблони и вишни. Почти на всех были обломаны ветки, оборваны плоды. Люди устраивают погромы и садов.

Человеческие беды не останавливают время, оно властно течет, вершит свое. Обросла поседевшими враз волосами голова Богдана, густо обтекла состарившееся лицо старчески пепельная борода, и выросла черешня. Время на полпути не останавливается.

Двушник, расшвыривая ногами опавшую листву, хозяйски бродил по богдановскому саду, выискивая подходящее деревце. Глаз наткнулся на зеленый стебелек черешни.

— Самый раз! — кивнул он Богдану, сунул ему в руки лопату. — Копай осторожно, корни не повреди.

Богдан долго, словно что-то припоминая, смотрел на ветку, перевел успокоенные глаза на Двушника. Тот невольно быстро увел взгляд в сторону: показалось, что глаза Богдана втекли в душу, разглядели ее. Пристальный взгляд больного человека.

Двушник развязал тряпицу, тонкий ствол качнулся и снова замер. В несколько штыков Двушник выкопал ветку, хозяйски подал Богдану:

— Неси.

Перед окнами своего дома, выбрав подходящее место, протянул Богдану лопату:

— Выкопай здесь.

Пока Богдан возился с ямкой, сходил за ведром воды.

Двушник придерживал саженец, довольным взглядом смотрел, как Богдан присыпает ямку. Любуясь стройным стебельком, вдруг почувствовал на себе пристальный взгляд, поднял голову. В окне, за стеклами, перечеркнутое прутьями решетки, замерло лицо жены. Долгое мгновение смотрели глаза в глаза. Двушник вдруг что-то понял в ужаснувшихся глазах Камы, ткнув руки в бока, расхохотался и тут же, снисходительно похлопав Богдана по плечу, снова вскинул взгляд в окно.



Камы уже не было.

Она порывисто вышла из калитки, ухватившись за посаженную ветку, согнула было, чтобы сломать, но в последнюю секунду что-то разжало ее ладонь, она быстро взглянула на Богдана, со слезами выдавила:

— Ну уходи! Уходи от этого звериного дома!

Двушник расхохотался.

В окне на противоположной стороне улицы отдернулась занавеска.

Кама вбежала в калитку, со двора вырвался ее отрывистый надсадный плач.

— Ну ладно, давай топай! — Двушник брезгливо бросил ладонь в сторону Богдана. — Давай-давай!

И снова открытый, по-детски пристальный взгляд Богдана втек в душу и словно припер ее к стене. Двушник зло пихнул в его сторону пустое ведро, оно ударилось о ногу Богдана и, откатившись к дороге, зияя пустым цинковым нутром, качнулось из стороны в сторону.

Двушник исчез во дворе, зло захлопнув за собой калитку.

Старческая сутулая фигура Богдана медленно уходила в осенний день. К еще одной одинокой своей ночи.

Вечером, когда октябрьская ночь, рано затопив Город, скрасила черноту развороченной снарядами земли, когда слились с темнотой черные обугленные крыши домов и стены, Богдан пришел в свой выгоревший дом, устроился на полу, в углу.

Он лежал на лохмотьях, по-детски положив под бородатую щеку обе ладони. В выбитых окнах, как на черном экране, подрагивали редкие далекие звезды. Они не тревожили, не манили. Богдан, казалось, и не видел их и словно не был чем-то иным, а слился со звездами, со всем миром в одну бесконечную массу. Ничто не тревожило, не отвлекало его растекшийся по всей душе покой. Он не шелохнулся на отчетливый звук шагов по двору, лежал, по-прежнему глядя в далекое небо. И лишь когда в ночную комнату вплыл маленький язычок свечи, осветив ее обнаженное нутро и внимательное лицо Камы, он обратил к ней спокойные тихие глаза. Она присела у изголовья, установив на полу свечу, развернула белую тряпицу, в которой была еда. Безучастно, с замершим взглядом, смотрел он на робкое, колышущееся пламя свечи...

Но, может быть, ему все это грезилось: это трепещущее, как мотылек, пламя свечи: Кама, севшая близко, у самой груди, ее теплые пальцы, втекшие в седые пряди у виска, ее тихий ласковый голос:

— Я спасу тебя, Богдан!

...Может, все это грезилось ему, как, возможно, грежится кому-то наша людская насмешливая заброшенная жизнь в этом неправдоподобном мире; хрупкая, как ветка черешни, посаженная в осенний день в разрушенном Городе. Хрупкая ветка, которую, может, нужно было надломить навсегда, но которую чья-то рука не посмела уничтожить, оставив ей эту бесполезную жизнь: чтоб, поднявшись над землей, однажды сгореть под солнцем и ветрами и рухнуть на ту же землю омертвевшим стволом.

Но отчего так вдруг воспротивилась душа и, как никогда раньше, стал дорог этот незамысловатый шелест ветерка в благодушной листве деревьев, это трепетное пламя свечи, бьющееся в обожженном непостижимой скорбью человеческом доме: хрупкое и затерянное в необъятном мире, как и хрупкая, беззащитная человеческая душа, но которая до последней секунды пытается обогреть бесконечно мерзлый и, может быть, пустынный без нее, неизбежный мир.

## СОДЕРЖАНИЕ

А. Гутов. Об авторе	. . . . .	3
Исчерпанный человек ( <i>роман</i> )		
<i>Часть первая.</i> Обрубьш	. . . . .	6
<i>Часть вторая.</i> Оксана	. . . . .	41
<i>Часть третья.</i> Месть	. . . . .	89
<i>Часть четвертая.</i> Матрешка	. . . . .	130
Век откровения ( <i>роман</i> )		
<i>Часть первая.</i> Ярмарка	. . . . .	154
<i>Часть вторая.</i> ...Как дерево без коры	. . . . .	203
<i>Часть третья.</i> Путь	. . . . .	249
<i>Часть четвертая.</i> Солнечный человек	. . . . .	284

*Литературно-художественное издание*

**Иосиф Александрович Мигиров**

**ИСЧЕРПАННЫЙ ЧЕЛОВЕК**

**ВЕК ОТКРОВЕНИЯ**

**Романы**

Заведующий редакцией *В. Н. Котляров*

Художник *Н. Н. Решетникова*

Технический редактор *Л. И. Прокопенко*

Корректор *Л. Б. Куржиева*

ЛР № 010238 от 27.02.94.

Сдано в набор 16.02.95. Подписано к печати 22.05.95.

Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага офсетная № 2.

Гарнитура литературная. Печать высокая.

Усл. печ. л. 18,06. Уч.-изд. л. 16,53.

Тираж 300 экз. Заказ № 282

Издательский центр «Эль-Фа»  
при полиграфкомбинате им. Революции 1905 г.

Полиграфкомбинат им. Революции 1905 г.  
Мининформпечати КБР  
360000, КБР, Нальчик, проспект Ленина, 33





